Мой любимый гений

Лу Саломе

Мой Ницше, мой Фрейд...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом… Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам». Кто же она? Кем были для нее Ницше, Рильке и Фрейд? Об этом она поведает вам сама.

- Лу Саломе
  - ○
  - ○ Прожито и пережито
    - ■ Переживание Бога
    - ■ Переживание любви
    - ■ Переживания в семье
    - ■ Переживание России
    - ■ Переживание дружбы
    - ■ Среди людей
    - ■ С Райнером
    - ■ Добавление. 1914 год
    - ■ Переживание Фрейда
    - ■ Воспоминание о Фрейде
    - ■ Перед мировой войной и с тех пор
    - ■ Ф. К. Андреас
    - ■ О том, чего нет в «Воспоминаниях» (1933)
  - ○ Фридрих Ницше в зеркале его творчества
  - ○ Мысли о проблемах любви
  - ○ Amor
  - ○ Моя благодарность Фрейду

Лу Саломе
Мой Ницше, мой Фрейд…

© ООО «ТД Алгоритм», 2016

* * *

Прожито и пережито

Переживание Бога

Примечательно, что о самом первом нашем переживании мы ничего не помним. Только что мы были всем, чем-то единым, неотделимым от чьей-то жизни – но вот что-то заставило нас появиться на свет, стать крохотной частичкой бытия, которая будет отныне стремиться к тому, чтобы не попасть в набирающий силу водоворот уничтожения, утвердить себя во все шире открывающемся перед ней мире, куда она сорвалась из своей переполненности, как в жаждущую поживиться за ее счет пустоту.

Точно так же воспринимаешь поначалу и прошлое: настоящее не хочет впускать в себя воспоминания о былом; первое «воспоминание» – так мы назовем это немного позднее – это одновременно и шок, разочарование, вызванное утратой того, чего больше нет, и нечто от живущего в нас знания, уверенности, что это еще могло бы быть.

В этом – проблема самого раннего детства, прадетства. Но в этом же и проблема всего первобытного человечества: в нем, как стойкое предание о неизбывной сопричастности всемогущему началу, продолжает жить – наряду с набирающим силу осознанием житейского опыта – чувство единородства с мировым целым. Первобытное человечество умело с такой убедительностью поддерживать в себе эту веру, что весь видимый мир казался подчиненным доступной человеку магии. Люди издавна хранят это неверие во всесилие внешнего мира, который они когда-то отождествляли с собственным существованием; они издавна перекрывали возникшую в их сознании пропасть с помощью фантазии – уподоблять этому все больше и больше осваиваемому внешнему миру. Этот мир над собой и рядом с собой, эту рожденную фантазией копию, призванную затушевать сомнительность земного существования, человек назвал своей религией.

Поэтому может случиться так, что ребенок и сегодняшнего, и завтрашнего дня – если он растет в непринужденной религиозной атмосфере родительского дома – будет непроизвольно вбирать в себя как религиозные верования, так и то, что объективно воспринимается органами чувств. Именно в раннем детстве, когда только начинает складываться способность дифференцированно воспринимать мир, для ребенка нет ничего невозможного, самое невероятное он может принимать за действительность; любые преувеличения назначают себе магическое свидание в голове человека и кажутся вполне естественными предположениями, пока он окончательно не

привыкнет к посредственности и неадекватности реальной жизни.

Не следует думать, что ребенок, лишенный религиозного воспитания, избежит подобных переживаний раннего детства; в этом возрасте он всегда реагирует, исходя из своих преувеличенных представлений о мире, это происходит вследствие еще недостаточного дара различения и оттого неконтролируемых желаний. Ведь чувство единородства со всем сущим не исчезает в детстве из наших представлений о мире бесследно, от него на наших первых привязанностях и первых возмущениях остается как бы флер просветленности, искаженной связи со сверхъестественным, еще сохранившейся абсолютной всеохватности. Можно даже сказать так: когда обстоятельства нашей жизни – сегодняшней или, например, завтрашней – лишают ребенка этого чувства и неизбежно сопутствующих ему разочарований, то опасаться следует, скорее, того, что естественная склонность к фантазированию, которая значительно опережает пробуждение рассудительности, разрастется до неестественно больших размеров и когда-нибудь обернется пугающими искажениями реальной действительности, и что она тем самым, под таким дополнительным напором, напрочь лишится объективных критериев оценки.

К этому, однако, следует добавить, что у нормального ребенка чрезмерное «религиозное» воспитание естественным образом уступает место растущему физическому восприятию действительности – точно так же как вера в существование сказочного мира уступает место жгучему интересу к проблемам мира реального. Если этого не происходит, то чаще всего имеет место задержка в развитии, несоответствие между тем, что сближает человека с жизнью, и тем, что стоит на пути этого сближения…

С нашим рождением возникает трещина между двумя мирами, разделяющая два вида существования, и это делает весьма желательным наличие посреднической инстанции. В моем случае то и дело возникавшие детские конфликты говорили, должно быть, о своего рода соскальзывании из уже усвоенной манеры судить о мире обратно в фантазирование, когда родители и родительский взгляд на мир, так сказать, отбрасываются (почти предаются) ради куда более всеобъемлющей защищенности, ради того, что не только давало ощущение принадлежности к еще более могущественной силе, но и наделяло частью своего всевластия, даже всемогущества.

Образно говоря, ты как бы пересаживаешься с колен родителей, откуда время от времени приходится соскальзывать, на колени Бога – словно на колени к дедушке, который еще

больше тебя балует и ни в чем тебе не перечит, который осыпает тебя подарками, и оттого кажешься себе такой же всесильной, как и он сам, хотя и не такой «доброй»; в нем как бы соединяются оба родителя: тепло материнского лона и полнота отцовской власти. (Отделять и отличать одно от другого как сферу власти и сферу любви означает уже появление громадной трещины в благополучии, так сказать, безмятежно-допотопного существования.)

Но что же вообще вызывает в человеке эту способность принимать фантазии за действительность? Да только все еще сохраняющаяся неспособность ограничиваться внешним миром, лежащим вне нашего «Мы» (с прописной буквы!), миром, наличие которого мы и не предполагали, неспособность признать вполне реальным то, что не включает в себя нас.

Наверняка это одна из главных причин того, почему меня на удивление мало волновало полнейшее отсутствие этой третьей силы, превосходящей все остальные, у родителей, которые в конечном счете тоже воспринимают все только благодаря ей. Так происходит со всеми истинно верующими, принимающими вымысел за реальность. В моем случае к этому добавлялось еще одно побочное обстоятельство: странная история с нашими зеркалами. Когда я гляделась в них, меня приводило в некоторое замешательство то, что в них я была только тем, что я видела: чем-то строго очерченным, сдавленным со всех сторон, готовым раствориться среди других предметов, даже лежащих рядом. Если я не смотрелась в зеркало, это впечатление не было столь навязчивым, но меня каким-то образом не покидало чувство, что я уже не частичка всего и вся, что я, лишившись этой сопричастности целому, стала бездомной. Это выглядит довольно ненормальным, так как мне кажется, что я и позже как будто бы сталкивалась временами с ощущением, когда отражение в зеркале выражает заинтересованное отношение к собственному образу. Во всяком случае, детские представления такого рода привели к тому, что как вездесущность, так и невидимость Бога не вызывали во мне абсолютно никакого возмущения.

Ясно, однако, что образ Бога, составленный из столь ранних впечатлений, довольно быстро забывается, гораздо быстрее, чем возникший при содействии разума, рассудка; так наши дедушки умирают, как правило, раньше более жизнеспособных родителей.

Один маленький эпизод детства делает понятным метод, которым я пользовалась, чтобы избежать сомнений: я внушила себе, что в шикарном пакете-хлопушке, который папа принес мне с какого-то придворного празднества, находятся золотые платьица; когда же мне объяснили, что там всего лишь платьица

из папиросной бумаги с позолоченными краями, я не стала его открывать. Таким образом для меня в хлопушке остались золотые платьица.

Подарки моего бога – дедушки – тоже не было нужды осматривать, они казались мне бесконечно дорогими и щедрыми, в этом я была не просто уверена, я была абсолютно уверена, потому что получала их не за хорошее поведение, как прочие подарки, которые в день моего рождения красиво раскладывали на столе в знак того, что я хорошо себя вела или должна была так себя вести. Мне случалось часто бывать «плохим» ребенком, приходилось даже отведать березовой каши – и я не упускала случая демонстративно пожаловаться доброму Боженьке. Он был целиком на моей стороне и приходил в такую ярость, что я иногда в приступе великодушия (такое бывало не так уж часто) уговаривала его угостить этой самой «кашей» моих родителей.

Разумеется, моя страсть к выдумкам затрагивала и ближайшее окружение, нередко к реальным событиям я присочиняла фантастические истории, которые мне чаще всего прощали со снисходительной улыбкой. Но однажды летом, когда мы с родственницей, которая была чуть старше меня, вернулись с прогулки и нас спросили: «Ну-ка, путешественницы, рассказывайте, что видели?», я, недолго думая, сочинила настоящую драму. Моя простодушная спутница, по-детски искренняя и правдивая, была поражена, смотрела на меня ничего не понимающими глазами и время от времени громко и испуганно вскрикивала: «Но ты же врешь!».

Мне кажется, с тех пор я старалась быть в своих рассказах как можно точнее, то есть не присочиняла ничего лишнего, хотя эта вынужденная скупость огорчала меня до крайности.

Однако по ночам, в темноте, я рассказывала доброму Боженьке не только о себе, я, не чинясь, рассказывала ему целые истории, хотя меня об этом никто не просил. Эти истории – особая статья. Они были следствием жившей во мне потребности мысленно представлять рядом с Богом и весь тот мир, который существовал наряду с нашим тайным миром; это отвлекало меня от действительности, я как бы забывала, что сама являюсь ее частью. Не случайно материал для своих историй я черпала из реальных встреч с людьми, животными или предметами; сказочный элемент был уже в достаточной мере обеспечен «присутствием» Бога-слушателя, лишний раз подчеркивать это не имело смысла. Напротив, речь именно о том и шла, чтобы убедить себя в существовании этого реального мира. Правда, я вряд ли могла рассказать о чем-нибудь таком, что было бы неизвестно всеведущему и всемогущему Богу; но именно это

придавало моим рассказам несомненную достоверность, и я не без удовлетворения начинала каждую историю словами: «Как Ты уже знаешь…».

О внезапном конце этой моей рискованной склонности к фантазиям я снова вспомнила во всех подробностях значительно позже, уже почти в пожилом возрасте; он описан в небольшом рассказе «Час без Бога». Рассказ этот ослаблен тем обстоятельством, что ребенок в нем помещен в чужую среду, в условия, отличные от существовавших в действительности – потому, должно быть, что для изображения сокровеннейших сторон жизни мне все еще была нужна небольшая внешняя дистанция. На самом же деле произошло вот что. Батрак, который зимой доставлял из нашей деревенской усадьбы в городскую квартиру свежие яйца, рассказал мне, что у маленькой избушки посреди сада, которая принадлежала мне одной, стояла «парочка» и просила разрешения войти туда, но он не позволил. Когда батрак снова появился у нас, я тотчас же спросила его о парочке, так как я беспокоилась, что все это время она мерзла и голодала. «Куда эти люди делись?» – спросила я. «Они никуда не ушли», – ответил он. «Значит, все еще стоят возле избушки?» – «Не совсем так: они постепенно изменялись, становились все тоньше и меньше, пока не исчезли совершенно; когда я однажды утром подметал около избушки, то нашел только черные пуговицы от белого пальто женщины, а от мужчины осталась только помятая шляпа, но место, где они стояли, было усеяно их слезами, превратившимися в ледышки».

Непостижимым и мучительным в этой страшной сказке было для меня не сострадание к парочке, а загадка бренности бесспорно сущего, его готовности бесследно растаять: словно что-то не давало мне приблизиться к бесхитростной, лежащей на поверхности разгадке, хотя все во мне настойчиво и страстно требовало ответа. По всей вероятности, той же ночью я обратилась со своим вопросом к Богу.

Обычно я не призывала его к ответу, он только выслушивал от меня то, что уже было ему известно. Я и на этот раз просила у него совсем о малости: невидимые уста должны были произнести только несколько слов: «Снежный человек и снежная баба». То, что он не согласился сделать даже этого, было для меня катастрофой. И это была не только моя личная катастрофа: она как бы раздвинула занавес и показала нечто невообразимо жуткое, притаившееся за этим занавесом. Бог, нарисованный на занавесе, скрылся не только от меня одной – он вообще исчез из Вселенной.

Когда с живым человеком происходит нечто подобное, то, что

его разочаровывает и заставляет по-новому взглянуть на мир, когда мы чувствуем себя покинутыми и обманутыми, остается возможность каким-нибудь образом сориентироваться в той же самой реальности, исправить дефект зрения, искажавший картину мира. Нечто подобное позже или раньше происходит с каждым человеком, с каждым ребенком, возникает трещина между желаемым и сущим – зловредная или целительная, на опыте это различие несущественное. Но в случае с Богом оно становится существенным и проявляется в том, например, что с исчезновением веры в Бога ни в коей мере не рушится вытекающая из нее способность веры как таковая, веры в ирреальные силы вообще. Мне вспоминается момент, имевший место во время обычного у нас в доме молебна, когда упоминалось имя дьявола или дьявольского наваждения. Это буквально вырывало меня из сонного состояния: а существует ли он еще? Он ли виноват в том, что я выпала из Божьего лона, где мне было так хорошо и уютно? И если виноват он, то почему я совсем не сопротивлялась? Не оказала ли я тем самым ему содействие?

Пытаясь подобным образом истолковать мимолетный и в то же время крепко засевший в моей памяти миг, я хочу, чтобы в нем зазвучала одна нота – не совиновности в утрате Бога, а своего рода соучастия, предчувствия того, что должно было произойти. Поразительная незначительность повода, заставившего меня подвергнуть испытанию Господа Бога, делала просто невероятным, что я сама не дошла до разгадки, сама не догадалась, что речь шла о снежных фигурах, которые так любят лепить именно детские руки.

Открывшееся мне представление об ужасной пустоте не сыграло сколько-нибудь заметной роли в моем детстве: оно лишь несколько мешало освоиться в «обезвоженном» реальном мире.

Довольно странным образом утрата веры в Бога дала неожиданный результат морального свойства: я стала во многом послушнее, воспитаннее; безбожие не сделало меня хуже – потому, вероятно, что подавленное состояние угнетающе действует на всякого рода непокорность. Но это произошло и по другой, положительной причине: из неизбежного сочувствия моим родителям, которым, видимо, не только я одна доставляла неприятности нравственного характера, после того как они, подобно мне, тоже потерпели поражение – и они утратили Бога, только не знали об этом…

Правда, одно время я пыталась изменить положение дел, пыталась подражать верующим родителям, ведь все, что я до сих пор знала, было воспринято от них, через них я убеждалась в

реальности сущего. По вечерам я робко складывала на груди руки и, словно сиротка, безутешно и смиренно взывала из своего крайнего одиночества к тем, кто был от меня невообразимо далеко. Однако мне так и не удалось сблизиться с этими вроде бы далекими от меня людьми благодаря непосредственно испытанной, привычной близости к Богу; при всем своем смирении я ощущала мощное притяжение к чему-то иному, безучастному, чужому, и эта подмена только усиливала одиночество и вызывала стыдливое чувство, что я заблуждаюсь и отягощаю своими проблемами непосвященных.

Между тем я снова начала рассказывать себе по ночам свои истории. Как и прежде, я брала их из обыденной жизни, из повседневных встреч и событий, хотя и в них произошла решительная перемена из-за отсутствия слушателя. Как я ни старалась разукрасить их как можно ярче или найти наилучший поворот в судьбах персонажей, они все хуже удавались мне. Было видно, что они, перед тем как я их рассказывала, не побывали в ласковых Божьих руках, не вручались мне как подарок из его больших карманов – санкционированные и легитимные. Да и вообще, уверена ли я была в их правдивости с тех пор, как перестала начинать их исключающими любые сомнения словами: «Как Ты уже знаешь…»? Они стали беспокоить меня, в чем я никому не признавалась, казались мне беззащитными, брошенными в полную непредвиденных опасностей жизнь, откуда я их и позаимствовала. Я припоминаю – к тому же мне об этом рассказывали, – как во время тяжелого заболевания корью меня в горячке мучили кошмарные видения: будто я предала множество персонажей своих историй, оставила их без крова и куска хлеба. Ведь об их существовании никто, кроме меня, не знал, ничто не могло избавить их от беспомощных блужданий, вернуть домой, туда, где они могли спокойно обитать, все без исключения, во множестве своих неповторимых обличий, количество которых могло еще многократно возрастать, пока – я в этом не сомневалась – на свете не осталось бы ничего, что не стремилось бы домой, к Богу. Должно быть, это настраивало меня на столь легкомысленный лад, что я нередко опиралась одновременно на самые разные внешние впечатления: таким способом я могла соединить в одной личности встретившихся мне школьника и старика, пробивающийся росток и раскидистое дерево, как будто все они были частями единого целого. Так продолжалось и дальше, хотя подобное суммирование разнообразного материала постепенно начало изрядно отягощать мою память, и я научилась ориентироваться в этой пустой сети взаимосвязанных нитей с помощью подчеркиваний, узелков на память, ключевых слов.

(Должно быть, позже, когда я работала над книгами своих рассказов, что-то от этой привычки появлялось снова, как попытка временно удержать то, что выходило далеко за пределы непосредственного содержания, то есть действительно как паллиатив).

Заботливое отношение к персонажам моих историй ни в поем случае нельзя воспринимать так, будто это было нечто похожее на материнскую заботу, вполне естественную для маленькой девочки. Не я, а мой брат, который был на три года старше меня, укладывал после наших игр кукол в постель и отводил игрушечных животных в их стойла. Мне они уже были неинтересны, поскольку свое дело сделали, послужили поводом для игры. Странным образом мне при этом казалось, что фантазия у моего брата значительно богаче, нежели у меня.

О своем «переживании Бога» я старалась не особенно распространяться даже с подружками-сверстницами, так как не была до конца уверена, что и они могут вспомнить о чем-нибудь подобном (среди них была одна моя родственница, тоже, подобно нам, французско-немецкого происхождения, только по материнской линии, ее сестра позже вышла замуж за моего второго брата). Но с годами об этих «встречах» забыла и я. И, помнится, очень удивилась, наткнувшись однажды случайно на листок старой, потрескавшейся бумаги со стихами, которые я нацарапала когда-то в Финляндии, в белые ночи, залитые магическим светом, в пору летнего солнцестояния:

О всеблагих небес шатер,
Избави от напасти
Пускай не омрачат мой взор
Вовек земные страсти.
Собой ты волен укрывать
Весь мир, подвластный Богу.
О, как найти к тебе опять
Заветную дорогу?
Я не зову желаний рой
И не страшусь борений;
Лишь место дай, чтоб под тобой
Мне преклонить колени.

Когда я перечитала стихотворение, оно показалось мне чужим, я даже с тщеславной деловитостью оценила его достоинства и недостатки. Однако с тех пор точно такое же настроение присутствовало во всех моих переживаниях и поступках, и вытекало оно отнюдь не из постепенного

становления личности, не из обычного радостного или печального опыта; казалось, будто оно возникает из самого раннего недетского знания, из переживания заново того первоначального шока, который испытывают все люди на пороге сознательной жизни, и который накладывает глубокий отпечаток на все последующие годы.

Объяснить это только честным изложением автобиографических фактов нелегко. Может быть, тут лучше прибегнуть к помощи какой-нибудь конкретной детали. Как-то во время болезни я получила в подарок ларец с изречениями из Библии, по одному на каждую неделю, и они в течение года сменяли друг друга; когда пришла очередь изречения из Первого послания к Фессалоникийцам святого апостола Павла, я надолго запомнила эти слова: «Умоляем же вас, братия, более преуспевать. И усердно стараться потом, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками». Почему так случилось, я тогда вряд ли могла бы объяснить, должно быть, тут сыграло свою роль запоздалое воспоминание о том самом детском чувстве сиротства, раз ларчик до сих пор висит у меня только из-за этого изречения. Это совсем не по-детски звучащее изречение пережило все годы моего отчуждения от Бога не потому, что я не смогла избавиться от ларчика из-за родителей, а потому, что оно накрепко вошло в мое сердце. Последнее доказательство этому было дано уже после моего отъезда за границу, куда мне вместе с другими вещами переслали и ларец с изречениями; тогда же было отвергнуто и то изменение, которое, прослышав о ларце, предложил Ницше – заменить библейское изречение на гётевское: «Станем цельны мы сердцами, добрыми пойдем путями к верному спасенью!».

Его написанный от руки вариант и сегодня хранится за пожелтевшим печатным текстом изречения.

Слишком ранние детские впечатления, о которых я рассказала, могут показаться необычными и удивительными, так как они, вероятнее всего, связаны со сползанием в крайний инфантилизм или с желанием задержаться в нем; чересчур рано начавшееся общение с Богом так сильно противостояло одухотворенности этого процесса, что и распалось оно резче, с более разрушительными для духа последствиями, чем обычно бывает, – такое ощущение, будто ты снова народилась на свет и начинаешь заново, раз и навсегда, усваивать его трезвую реальность.

Когда мне исполнилось семнадцать лет, я в первый раз с живой непосредственностью вспомнила о ранних, прежних творениях веры под влиянием извне на занятиях у готовившего

меня к конфирмации Германа Дальтона из реформаторской евангелической церкви. Что-то заставило меня встать на сторону давно поблекшего детского Бога, защитить его доказательства и поучения, в которых он тогда не нуждался.

Какое-то тайное благоговейное возмущение отвергало доказательства его существования, его прав, его ни с чем не сравнимого могущества и доброты; мне даже в какой-то мере было стыдно, что он вынужден удивленно и отчужденно выслушивать все это, затаившись в глубинах моего детства; тем самым я как бы выступала его представительницей.

Вопрос с конфирмацией разрешился следующим образом: заболел отец, и я, чтобы не волновать его своим выходом из лона церкви, поддалась на уговоры Дальтона и согласилась еще год готовиться к конфирмации. Но выход все же состоялся. И поступила я так вопреки голосу собственного рассудка, говорившего, что я совершаю куда большее зло, чем если бы мне пришлось чисто формально пройти обряд конфирмации: это не принесло бы нашей благочестивой семье горя и скорби. Решающую роль в этом сыграло не фанатическое правдолюбие, а инстинктивное, упрямое чувство, что я должна это сделать…

В моей жизни занятия наукой и другие поводы не раз приводили меня к философским и даже теологическим областям знания, которые привлекали меня сами по себе. Это никак не было связано с моим первоначально благочестивым складом характера или с последующим отходом от веры. Никогда интеллект не тревожил во мне прежнюю, старую набожность – она словно не решалась войти в мое «взрослое мышление». Поэтому все области философского знания, в том числе и теология, оставались для меня на уровне простого интеллектуального интереса; о соприкосновении или тем более смешении с тем, что входило в сферу душевной жизни, не могло быть и речи; я бы даже сказала, что это немедленно произвело бы на меня точно такое же впечатление, как и занятия с конфирмующимися. Я, правда, нередко одобряла то, как это делали другие, и даже восхищалась теми, кто подобными интеллектуальными путями приходил к такого рода замене – очень, очень взвешенной, одухотворенной – своего благочестивого прошлого и таким образом ухитрялся соединить это прошлое с порой духовной зрелости. Наверняка таким способом им удавалось усилием мысли лучше постигать самих себя, прочнее усваивать уроки жизни, чем это удалось мне; я никогда не могла говорить об этих уроках без замешательства. Мне это было настолько чуждо, что казалось, будто мы говорим о совершенно разных вещах и материях.

Тем не менее, сильнейшей притягательной силой, влекшей меня к людям, без остатка посвятившим себя подобным философским материям, были сами эти люди, неважно, живые или умершие. Как бы ни скрывали они свои воззрения, по ним было видно, что в каком-то глубинном смысле Бог остался их первым и последним переживанием во всем, что им пришлось испытать в жизни. Что еще могло сравниться с этим в качестве содержания жизни? Я никогда не переставала любить их – любовью, проникающей в самое сердце человека, туда, где, собственно, и решаются наши судьбоносные проблемы.

Но если бы кто-нибудь спросил меня – раз уж мне не удалось добиться равновесия между желанием и истиной, между сферой чувств и духовным познанием, равновесия, которое постепенно устанавливается в процессе развития как бы само собой, – как же и в чем тогда проявлялись во мне те самые ранние представления о вере, я бы совершенно искренне ответила на этот вопрос так: только в факте исчезновения Бога, и ни в чем другом. Как бы ни менялось все в мире и в жизни, в глубине глубин оставался неизменным факт богооставленности самой Вселенной. Именно чрезмерной детскостью предыдущих представлений о Боге, вероятно, объясняется то, что они не были заменены, восстановлены более поздними представлениями.

Но наряду с негативным результатом детского восприятия богооставленности был в этом и положительный момент: я решительно и бесповоротно столкнулась с окружавшей меня реальной жизнью. Я уверена, что проникшие в мир моих чувств ложные представления о Боге только помешали бы этому, отвлекли в сторону, нанесли мне ущерб. Вся моя жизнь дает мне право утверждать это… При этом я готова признать, что многие в этой ситуации поступали совсем по-другому и добивались значительно большего, чем добилась я.

Следствием этого для меня было самое позитивное, что довелось испытать в жизни: проснувшееся в ту пору и никогда больше не покидавшее меня смутное ощущение безмерной и судьбоносной сопричастности всему, что существует. Именно ощущение, а не направленное на определенный объект «чувство»: не вызывающее сомнений ощущение равенства в вопросах судьбы; и касается оно не только людей, а готово объять собой даже космическую пыль. Поэтому оно навряд ли подвержено изменениям в масштабах, заданных человеческой жизнью, или же в масштабах оценочных критериев: будто и не существует больше ничего, что следовало бы оправдать, возвысить или принизить, кроме самого факта существования, его наличия – точно так же как невозможно умалить значение каждого через убийство, через

уничтожение; можно только отказать ему в том последнем благоговении перед несокрушимостью собственного существования, которое он разделяет с нами, потому что, подобно нам, «существует».

Вот у меня и вырвалось слово, в котором при желании легко можно обнаружить остаток того запаса душевных сил, который сложился на основе ранних представлений о Боге. Потому что всю свою жизнь я не знала более естественного, непроизвольно возникающего желания, чем проявлять благоговение, казалось, любое другое отношение к чему-то или кому-то следовало лишь в некотором отдалении за благоговением. Для меня это слово – всего лишь другое название все той же судьбоносной взаимосвязанности всего сущего, на равных правах включающей в себя и самое великое, и самое малое. Или, другими словами: если что-то есть, оно несет в себе несокрушимость всего существования, представляя всю целокупность бытия. Разве мыслимо чувство пылкой сопричастности всему сущему без благоговения – пусть даже затаившегося в самых сокровенных, неведомых глубинах нашей внутренней жизни?

Но и то, о чем я здесь рассказываю, уже содержит в себе благоговение. Быть может, я только об этом и рассказываю, несмотря на множество других слов, которые говорят о самых разных вещах, нас окружающих, тогда как единственное и самое простое невысказанным затаилось глубоко внутри.

Противореча логике, я должна признать: лишись человечество благоговения, его место должна бы занять любая, даже самая абсурдная разновидность религиозного чувства.

Переживание любви

В жизни каждого наступает момент, когда он пытается начать все сначала, как бы родиться заново: недаром период полового созревания называют вторым рождением. После уже достигнутого приспособления к действительности, к ее порядкам и оценочным критериям, которые легко подчиняют себе наш еще маленький интеллект, вдруг, с приближением телесной зрелости, в нас поднимается против всего этого такой яростный протест, что кажется, будто мир, в котором очутился ребенок – несведущий, никому не подчиняющийся, обуреваемый своими желаниями, – только-только начинает складываться.

Даже самое спокойное переживание способно породить волшебное чувство, будто мир возникает заново, а все, что мешает этому, кажется невероятным заблуждением. Поскольку мы не можем настоять на этом безумно смелом утверждении и в конце концов все же подчиняемся такому миру, каков он есть, то позже вся эта «романтика» застилает наш обращенный в прошлое взгляд меланхолической пеленой. Это напоминает лесное озеро в лунном сиянии или призрачно манящие руины, и тогда мы путаем то, что пульсирует в нашей душе, с излияниями чувства, сопряженного с каким-либо отрезком времени, непропорциональным и непродуктивным. На деле, однако, то, что мы несправедливо назвали «романтикой», вытекает из неразрушимого в нас, здорового, первобытного, из жизненной силы, которая одна способна тягаться с бытием вне нас, потому что составляет сердцевину ядра, в котором внешнее и внутреннее опираются на одно и то же основание.

Переходный период, ведущий к телесной зрелости и тем самым призванный вынести на себе основные конфликты и брожение, в то же время лучше всего приспособлен для того, чтобы в очередной раз уравновесить возникающие осложнения или трудности.

То же самое произошло и со мной, позволившей детским фантазиям и мечтательности излишне далеко вторгнуться в реальную жизнь. Их место занял человек во плоти: он – само воплощение реальности – встал не рядом с ними, а вобрал их в себя. Для вызванного им потрясения не существует более короткого обозначения, чем то, в котором соединилось для меня самое удивительное, казавшееся абсолютно невозможным, с изначально известным и давно ожидаемым, – «человек!» Ибо таким же изначально известным, потому что исполненным удивительных свойств, был для ребенка только добрый Боженька,

в противоположность всему, что окружает и ограничивает нас, и именно поэтому он, собственно, не выступал «въяве». Здесь та же всеохватность и то же абсолютное превосходство были свойственны человеку. Но этот богочеловек был, кроме того, противником любых фантазий; как воспитатель, он настаивал на неограниченном и строгом развитии интеллекта, и я повиновалась ему с тем большей страстью, чем тяжелее давалась мне эта новая установка: ведь с помощью любовного дурмана, который придавал мне силы, я должна была освоиться в реальной жизни, которую он воплощал в себе, и с которой я до сих пор не могла справиться в одиночку.

Этот воспитатель и наставник, к которому я сначала наведывалась тайком, а затем ввела в дом, помог мне, наряду с прочим, настоять, чтобы именно он готовил меня для продолжения учебы в Цюрихе. Таким образом он, вопреки внешней строгости, стал для меня таким же великодушным дарителем, каким был когда-то мой божественный «дедушка», исполнявший все мои желания: повелителем и орудием в одно и то же время, руководителем и совратителем, исполнявшим мои сокровеннейшие желания. Как много было в нем от копии, двойника, тени Бога, выяснилось только тогда, когда я не смогла реально, по-человечески привести к завершению наши любовные отношения.

Во всяком случае, многое меня при этом оправдывало; не в последнюю очередь разница в возрасте, почти равная дистанции от последней одержимости до первого пробуждения, а также то обстоятельство, что мой друг был женат и имел двоих детей примерно моего возраста (это меня не волновало отчасти только потому, что ведь Богу свойственно принадлежать всем людям, и это не мешает питать к нему очень личное чувство исключительной близости). Кроме того, моя детская непосредственность – результат свойственного уроженцам севера позднего физического развития – поначалу вынуждала его скрывать от меня, что он уже начал готовить заключение семейных уз между нами. Когда в решающий момент от меня потребовалось спуститься с небес на землю, я отказалась повиноваться. То, чему я поклонялась, разом ушло из сердца и головы, стало чужим. Нечто, выдвинувшее собственные требования, нечто, не только принесшее исполнение моих требований, но, напротив, им угрожавшее, возжелавшее обойти стороной намеченный им же прямой путь, ведущий ко мне самой, и заставить меня служить сути другого, молниеносно устранило для меня этого другого. На деле за всем этим стоял другой человек, которого за пеленой обожествления я не смогла узнать

как следует. И все же это мое обожествление сослужило мне хорошую службу, так как до этого момента он был тем человеком, которого мне недоставало для того, чтобы я могла разобраться в самой себе. Это в принципе с самого начала имевшее место двойственное отношение к нему выразилось в забавном факте: я, несмотря на наши нежные отношения, до последнего момента обращалась к нему на «вы», хотя он говорил мне «ты»; с тех пор в моем обращении на «вы» звучала интимная нота, а обращению на «ты» я придавала куда меньшее значение.

Мой друг служил в голландской миссии; со времен Петра Великого имелась большая голландская колония, и так как надо было приводить к присяге матросов, при миссии держали и священнослужителя; в часовне на Невском проспекте велись проповеди не только для немцев, но и для голландцев. Поскольку занятия со мной отнимали у моего друга очень много времени, иногда случалось так, что проповедь для него приходилось составлять мне; тогда-то уж я обязательно шла в церковь, горя нетерпением узнать, в достаточной ли мере были захвачены слушатели (мой друг был первоклассным оратором). Вскоре это прекратилось, так как однажды я настолько увлеклась творчеством, что вместо библейского изречения выбрала в качестве эпиграфа слова «имя – звук пустой» из «Фауста» Гёте; друг получил выговор от посланника и не преминул выразить мне свое недовольство.

Как симпатичная страна, в которой церковь полностью отделена от государства, Голландия позволила мне еще и по-другому воспользоваться теологическими полномочиями моего друга. Перед моим отъездом в Цюрих я из-за своего выхода из церкви не могла получить у русских властей паспорт. Тогда он предложил выхлопотать свидетельство о конфирмации в голландской деревушке, где служил пастором его приятель. Мы оба разволновались во время этого странного торжества, которое было устроено точно по моим указаниям и произошло в чудеснейшем месяце мае, в обычный воскресный день, в присутствии окрестных крестьян: ведь нам предстояла разлука, которой я смертельно боялась. Мама, которая ездила туда с нами, к счастью, не понимала ни слова в богохульном голландском и не уразумела заключительных слов благословения, очень напоминавших слова, которые произносят при бракосочетании: «Не бойся, я выбрал тебя, я позвал тебя по имени; ты принадлежишь мне». (Мое имя – Лу – и в самом деле дал мне он, так как был не в состоянии произнести русское «Леля» или «Ляля»).

Неожиданный оборот, который приняла тогда моя первая

любовная история, был десять лет спустя использован мной в рассказе «Руфь», который в известной степени был искажен тем обстоятельством, что у него отсутствовала предпосылка: благочестивая предыстория, тайные остатки идентичности между отношением к Богу и любовью. Любимый человек исчез из сферы обожания так же быстро, как бесследно исчез и Господь Бог. Из-за того, что отсутствовало это сопоставление, а вместе с ним и более глубокий фон, образ Руфи окрасился в романтические тона, вместо того чтобы основываться на характере девушки с не совсем нормальным, заторможенным развитием. Но именно вследствие этой задержки в развитии так и не доведенная до логического завершения любовная история сохранила для меня неповторимое, ни с чем не сравнимое очарование, неопровержимость, не нуждавшуюся в испытании жизнью. Поэтому внезапный разрыв, в противоположность горю и унынию после сходной утраты Бога в детстве, стал шагом к радости и свободе – и одновременно к сохранению внутренней связи с этим первым человеком из реальной жизни, чьи воля и наставления помогли мне обрести себя, научиться жить полноценной жизнью.

Если исход этих событий содержит уже достаточно признаков отступления от нормального развития, связанных с не совсем обычным созреванием в пору детства, то в еще большей степени это касается физического развития, не всегда совпадавшего с духовным. Тело откликнулось на возникший в нем эротический импульс, но душа не вобрала его в себя, не уравновесила. Предоставленное самому себе, тело не устояло перед болезнью (легочное кровотечение), из-за чего меня из Цюриха отправили на юг; позже я увидела тут аналогию с поведением животных, когда, например, собака подыхает с голоду на могиле своего хозяина и не в состоянии понять, почему она не ощущает влечения к пище. Физиология человека не допускает такого рода верности, хотя мы и не прочь помыслить об этом.

Что до меня самой, то после расставания я не только ощутила неизъяснимую благостность, но и перестала беспокоиться о своем здоровье, которому угрожала опасность; меня это как бы не касалось, поскольку находилось за пределами моей растущей жизнерадостности. Более того, можно говорить даже о примеси озорства, так как среди многих любовных стихов, типичных для этого возраста и воспевающих жизнь, встречаются почти лукавые нотки, как, например, в стихотворении «Предсмертная просьба»:

Когда моя угаснет жизнь.
Задует смерть свечу.
Рукою нежной прикоснись

Ты к моему плечу.

И прежде чем земле предать
Мой прах под сень креста,
Приди меня поцеловать
В холодные уста.

В чужом гробу – ты не забудь —
Лежит лишь тень моя.
Душа в твою вселилась грудь,
И я навек – твоя.

В таком удвоении, делающем земное исчезновение символом (и даже предпосылкой) более всеобъемлющего союза, еще раз обнаруживается аномальность завершения нашей любовной связи. Причем следует подчеркнуть: аномальность в сравнении с тем, что вытекает со всеми последствиями из буржуазного брака, и к чему я действительно еще не была готова, – и аномальность вследствие слишком раннего соприкосновения с проблемой Бога, что не одно и то же. Ибо благодаря этому любовные отношения с самого начала ориентировались не на обычное завершение, а через личность возлюбленного тяготели к почти религиозному символу.

Как в обычном, нормальном завершении любовных отношений четче проступают определенные черты самой нормы, так и во всякой любовной истории происходит то же самое, когда партнер любви, не становясь сразу же объектом обожествления, как в моем случае, все же обретает почти мистическое значение и становится символом чудесного. Любить в полном смысле этого слова означает предъявлять друг другу самые дерзкие требования – от простого упоения неотразимостью до богатой многообразными нюансами страсти; оттого-то оказавшиеся «вне себя» от любви все же рассчитывают прийти «в себя» – как в угоду прочим требованиям, которые предъявляет жизнь, так и ради обязанностей, которые они берут на себя по отношению друг к другу. Что не мешает людям, «пораженным» такого рода любовным недугом, с огромной благодарностью вспоминать о сомнительных, осмеянных, раскритикованных рассудком ситуациях чрезмерных любовных восторгов, потому что они выдвигают безумные критерии и помогают хотя бы на время вырваться на свободу тому, что казалось нам таким необходимым и как бы само собой разумеющимся до того, как мы научились ориентироваться в реальной действительности. Человек,

наделенный силой, которая заставляла нас верить и любить, остается в глубине нашей души царственной личностью, даже если он позже и становится врагом.

Поэтому при нормально протекающей любовной связи мы должны прощать друг другу чрезмерные ожидания, даже если при этом верность и неверность странным и непредвиденным образом становятся неразличимы. Когда сказочный прорыв к свободе идет рука об руку с огромными реальными требованиями к другому человеку, возлюбленный представляет собой всего лишь частичку реальности, побуждающую поэта к созданию художественного произведения, которое не имеет никакого отношения к использованию своего предмета в мире практики. Мы все в большей степени поэты, чем рассудительные люди; то, что в самом глубинном смысле делает нас поэтами, больше того, чем мы становимся в жизни; оно лежит в стороне от оценочных критериев, значительно глубже их, заключено в простой непреложности, благодаря которой мыслящее человечество выясняет отношения с тем, что служит ему несущей опорой и в чем ему следовало бы хорошенько разобраться.

В любви мы относимся друг к другу так, словно учимся плавать, держась за пробковый спасательный круг, и партнер кажется нам морем, в котором мы барахтаемся. Поэтому он дорог нам, как то место, где мы появились на свет, и в то же время смущает нас и сбивает с толку, как бесконечность. Мы, осознавшая себя и вследствие этого распавшаяся на части беспредельность, должны поддерживать друг друга в этом неустойчивом состоянии, должны доказывать друг другу, что мы единое целое, доказывать физически, телесно. Но это позитивное, материальное воплощение основополагающей слиянности, это вроде бы неопровержимое доказательство ее наличия – всего лишь громогласное утверждение, отнюдь не устраняющее замкнутости каждого в границах своей личности.

Поэтому именно в духовном и душевном любовном расточительстве мы можем стать жертвами странного обмана, оказаться в состоянии «бестелесного парения», как бы отлета от собственного тела; по той же самой причине случается и прямо противоположное: тело может получать удовлетворение и без душевных затрат, через посредство объекта, к которому оно не питает никакой другой привязанности. Поэтому и существует различие между властителем Эросом и соблазнительницей эротикой, между сексуальностью как общим местом и любовью как одержимостью, которой мы склонны придавать почти «мистический» характер, – в зависимости от того, совершается ли это с нашим простодушным телом, которому вовсе не

обязательно отдавать себе отчет в банальности удовольствия, такого же, как при дыхании или насыщении, или же мы, маленькие люди, экстатически, всем своим существом празднуем тайну нашей изначальной слиянности с целокупностью бытия.

Подарок абсолютной эротической непротиворечивости достался только животным. Только они вместо любовных встреч и разлук, чреватых у людей конфликтами, имеют механизм регуляции, который естественным образом выражается в периодах течки и свободы. Неверность свойственна только нам, людям. За пределы нашей компетенции выходят только оплодотворение и материнство, в одинаковой мере присущие и естественному состоянию животного мира, и усложненным человеческим отношениям. (Мы вообще мало можем сказать о состоянии влюбленности, кроме того, что она нарушает привычное течение жизни, и это объясняется тем, что мы только «понимаем» суть наших привязанностей, продиктованных рассудком или чувственным желанием; но рассудком или жаждой удовольствия, этими по-человечески мелкими сосудами, глубоко не зачерпнешь.) Именно так мы приходим к материнству. Здоровая телом женщина, далекая от вышеназванных проблем, соглашается дать жизнь другому существу даже в том случае, когда ее инстинктивное влечение не осознается как персонифицированное желание возродить в себе детство любимого человека. Без сомнения, невозможность испытать это отнимает право относить себя к полноценному женскому материалу. Я вспоминаю об удивлении одного человека, которому я в ходе подробных разговоров на сходную тему, уже в возрасте, призналась: «Вы знаете, что я так ни разу и не осмелилась произвести на свет ребенка?». При этом я уверена, что такая точка зрения сложилась у меня не в юности, а гораздо раньше, еще до того, как подобные вопросы встают перед нашим сознанием. О Господе Боге я узнала раньше, чем об аисте, детей давал Бог, и Он же их забирал к себе, когда они умирали, кто кроме Него содействовал бы их появлению на свет? Этим я отнюдь не хочу сказать, что полное глубокого значения исчезновение Бога могло привести к растерянности или даже гибели женщины-матери во мне. Нет, в моем случае такое утверждение ни о чем не говорит. Не надо только забывать, что «рождение» не может не менять своего значения в зависимости от того, появился ребенок на свет из ничего или из полноты бытия. Большинству людей освободиться от каких бы то ни было сомнений помогают – наряду с их личными чувствами и желаниями – общеупотребительные нормы, общепринятые ожидания; никто не может им запретить распространять вокруг

ни к чему не обязывающий оптимизм, согласно которому в наших детях найдут желанное воплощение все наши иллюзии. Однако то, что потрясает в человеке как продукте творения, вытекает не из каких-то соображений, моральных или просто банальных, а из того обстоятельства, что оно, творение, вырвало нас из личностной сферы и вовлекло в тварную; что оно лишило нас права принимать собственные решения в самый творческий миг нашего бытия. Такая же неизбежная путаница происходит со всеми нашими делами, когда мы даем свое имя тому, что диктует нам наше поведение, поэтому то и другое очевиднее всего сталкивается там, где происходит то, что мы называем творческим актом (в любой области!). Ибо как бы честно и добросовестно ни делилась на двоих родительская ответственность за произведенное на свет существо, она уйдет, опрокинутая мощью происходящего – как глубинно свойственного нашему физическому складу, так одновременно и очень далекого от нас, не поддающегося воздействию, что невидимо надвигается на нас.

Ясно, отчего именно мать среди прочих верующих настойчивее других требовала через голову рожденного ею – беспрекословной веры: по крайней мере на этом пункте Бог должен был настоять. На всем земном шаре вряд ли найдется такая Мария, которая не хотела бы быть женой своего Иосифа – и в то же время непорочно зачать последнюю загадку бытия, которое избрало ее своим сосудом…

За пределами всего того, что связывает двух людей личностными или сексуальными узами, есть среди видов активности эроса еще один, самый глубокий, не поддающийся описанию подобно тем, для понимания которого достаточно легкого намека. Пожалуй, можно было бы рискнуть и описать его через аналогию с упомянутым выше. Представим себе пару, любовная связь которой направлена исключительно на то, чтобы дать жизнь новому человеческому существу, и перенесем эту связь с биологической сферы жизни на иную, духовную: тогда мы получим сходный образ удвоения личного, самоочевидного – и до исчезновения удаленного от обоих партнеров. Экстаз обоих будет направлен не друг на друга, а на третий объект – объект их страстного желания, который поднимается на поверхность из глубины их существа и, так сказать, становится видимым. Масштабом служит не то, чем в данный момент являются оба, а та основа, на которую они вместе опираются: она-то и делает возможным взаимный процесс зачатия.

Не имело бы смысла брать грех на душу и описывать это такими не совсем понятными словами, если бы тут не возникало

почти неизбежной путаницы с тем, что обозначают хорошо известным словом «дружба», хотя и она, вместо физической близости, прибегает для укрепления союза к чему-то третьему, лежащему в основе одинаковых склонностей – будь то склонности душевного, духовного или практического характера. Это отличается от того, о чем шла речь выше, не только как холмик отличается от горной вершины, тут различие иного свойства: как если бы двое не рожали детей, а усыновляли их; и совершенно неважно, что это поступок правильный, приносящий пользу обществу и радость приемным родителям. Чаще всего к дружбе примешивается увлеченность, о которой речь, в юношеские годы – в ту пору, когда настойчиво дают о себе знать и предъявляют претензии творческие задатки, и когда физиологическое созревание еще не привлекает к себе все внимание.

В редких случаях эта увлеченность не теряется со временем и достигает своего полного развития; это и есть то редкостное и прекрасное, чем наделил эрос людей. И состоит оно в том, что партнер выступает посредником и одновременно прозрачным образом того сильнейшего вожделения, которое переполняет нас самих. «Дружить» в этом смысле означает нечто почти беспримерное, способное преодолевать острейшие противоречия жизни: быть там, где оба соприкасаются с божественным, делить обоюдное одиночество, чтобы сделать его еще более глубоким, таким глубоким, когда в другом познаешь себя – причастного к сотворению человечества. Быть другом значит не давать другому каким бы то ни было образом избавиться от одиночества, более того – быть защитником друг от друга…

Моей первой большой любви в годы юности было, без сомнения, присуще кое-что из того важного и существенного, о чем я здесь пишу, поэтому я не убоялась облечь в слова свои мысли по этому поводу. В моей жизни оно тоже не получило полного воплощения. Поэтому, говоря о всех трех видах осуществившейся любви (в браке, в материнстве, в простом эротическом союзе), я должна признать, что не могу тягаться с теми, кому это так или иначе удалось. Но дело вовсе не в этом. Главное, чтобы в том, что мы пытались осуществить, была жизнь, пульсировала жизнь, чтобы мы с первого до последнего дня нашей жизни сохраняли творческую силу.

Ситуация тут примерно такая: кто запускает руку в цветущий розовый куст, у того рука будет полна цветов; но сколько бы их ни было, их все же значительно меньше, чем может дать куст. И все же их достаточно, чтобы ощутить всю полноту цветения. Но если мы не запускаем в куст руку только потому, что не в состоянии охватить его целиком, или если делаем вид, что у нас в

руке все выросшие на нем розы, тогда он отцветет, не пробудив в нас переживаний…

Как справились с любовными и жизненными проблемами в те годы мои сверстницы, я знаю далеко не все. Ведь уже тогда я – не отдавая себе в этом отчета – относилась к этим проблемам не так, как они. Прежде всего, потому, вероятно, что «страхи и муки легкой печали» тех лет рано остались позади благодаря человеку, решающая встреча с которым помогла мне войти в жизнь, куда я взяла с собой скорее мальчишескую готовность к действию, чем женскую привязанность. Но не только поэтому. А еще и потому, что мои сверстницы в своем юном девичьем оптимизме рисовали вещи, о которых мечтали, в розовом свете, – главное для них было добиться исполнения желаемого. Я так не могла – или могла больше, чем они: у меня была некая изначальная опытность, которой наделили меня мои природные задатки. Под моими ногами была словно каменная непреложность, даже если им приходилось ступать на давно покрытую мхом, усеянную цветами почву. Быть может, я выразила это слишком однозначно, так как всегда с радостью и готовностью, без колебаний, принимала все то, что давала мне жизнь.

Ибо «жизнь» – это было нечто желанное, ожидаемое, воспринимаемое всеми фибрами души. Но в ней не было чего-то могущественного, властного, решающего, того, что предвещало бы возвышение. Скорее, в ней было нечто равное мне, находившееся в той же недоступной пониманию экзистенциальной ситуации, что и я… Когда и где кончается эрос?.. Разве не входит он в раздел «Переживание любви»? Через периоды счастья и невзгод, надежд и желаний весь пыл юности течет навстречу «жизни» – состояние души, не направленное на какой-то определенный объект, как и состояние влюбленности, оно тоже пытается выразить себя в стихах. Самым примечательным в этом смысле стихотворением, написанным в Швейцарии, в Цюрихе, после расставания с русской родиной, и названным мной «Моление о жизни», я и хочу закончить эту главку.

Загадка-жизнь, ты мне мила.
Любовью преданной подруги
Люблю тебя. Ты мне дала
И радость встреч, и боль разлуки.

И если ты меня лишишь
Своей высокой благодати,
С великим сожаленьем, жизнь,

Я вырвусь из твоих объятий.

Я вся растворена в тебе.
Твоим огнем воспламеняюсь,
Твою в отчаянной борьбе
Загадку разрешить пытаюсь.

Тысячелетья б жить! Мечтать!
О, протяни мне, тайна, руки:
Коль счастья мне не можешь дать —
Не пожалей тоски и муки.

(Как-то я по памяти записала его для Ницше, он положил его на музыку, и стихотворение благодаря слегка удлиненной стопе зазвучало торжественнее.)

Переживания в семье

Будучи самой младшей и единственной девочкой в семье, я настолько привыкла к чувству братского единения с лицами мужского пола, что с тех пор распространяла его на всех мужчин; когда бы, в юности или позже, ни встречались они на моем пути, мне всегда казалось, что в каждом скрывается брат. Но это было связано и с врожденными качествами моих пятерых братьев, из которых особую роль сыграли трое, так как самому старшему и четвертому не суждено было дожить до старости. Хотя мое детство протекало в атмосфере фантастического одиночества, хотя все мои помыслы и желания складывались в противоборстве с семейными традициями и вызывали раздражение, хотя потом моя жизнь забросила меня за пределы родины и протекала вдали от родных, относилась я к братьям по-прежнему, более того, чем старше я становилась и чем дальше от них жила, тем выше ценила их человеческие качества. Позже, когда мне случалось сомневаться в себе, меня успокаивала мысль, что я с ними одного происхождения; в самом деле, в моей жизни не встречались мужчины, которые бы чистотой своих мыслей, своей мужественностью или душевной теплотой не воскрешали во мне образ моих братьев.

После смерти нашей девяностолетней матушки они выделили мне из наследства вдвое больше положенного, хотя двое были женаты и должны были содержать пятнадцать детей; на мой энергичный запрос касательно завещания мне ответили, что это не должно меня волновать: разве я не остаюсь на все времена их маленькой сестренкой? Старший – Александр, Саша, смесь энергичности и доброты – с давних пор был нам как второй отец, такой же неутомимый, готовый прийти на помощь даже малознакомым людям; при этом он обладал удивительным юмором и смеялся заразительным смехом, какого я ни у кого больше не слышала: его юмор был результатом взаимодействия очень трезвого и ясного ума и доброты характера, для которого готовность помочь была самым естественным делом. Когда я, уже в пятидесятилетием возрасте, получила в Берлине телеграмму о его кончине, моим первым, эгоистическим чувством был испуг; «теперь я беззащитна». Второй – Роберт, Роба, удивительно элегантно танцевавший мазурку на наших зимних семейных балах, – был наделен разнообразными талантами и отличался повышенной чувствительностью; как и отец, он хотел стать военным, но по воле последнего ему пришлось избрать стезю инженера, на которой он потом и проявил себя. Точно так же

царившие в семье патриархальные нравы вынудили третьего брата – Евгения, Женю, прямо-таки созданного для дипломатического поприща, – податься в медицину, но и тут он сумел добиться успеха. Хотя братья и были очень разными, но они имели одно общее качество – необыкновенную прилежность и абсолютную преданность делу. Третий брат доказал это, будучи детским врачом, он уже в отрочестве любил возиться с маленькими детьми; при этом по своей сути он и позже оставался человеком скрытным, тайным «дипломатом». Я вспоминаю, как в детстве он журил меня за мою откровенную задиристость и так меня этим раздражал, что однажды я запустила в него чашкой с горячим молоком, которое на меня же и вылилось и обожгло мне шею и плечи. Брат хотя и был таким же вспыльчивым, как и все мы, заметил с довольным видом: «Вот видишь, как бывает, когда поступаешь неправильно». Он умер сорокалетним от туберкулеза, но и годы спустя после его смерти мне многое открывалось в нем, в частности, почему он – длинный, тощий и совсем некрасивый, но тем не менее пользовавшийся у женщин сумасшедшим успехом, – так и не выбрал себе спутницу жизни. Иногда мне казалось, что в исходившем от него шарме был элемент демонизма. Это сочеталось в нем с отменным чувством юмора. Так, однажды он решил заменить меня на одном из наших балов. Прелестные локоны, обрамлявшие гладко выбритое лицо, тонкая талия, стянутая модным в ту пору корсетом, – и вот молодые незнакомые офицеры многократно отличают его в котильоне, полагая, что это и есть та девочка-подросток, которая сторонится людей. Мне чрезвычайно нравились бальные туфли без каблуков, я с удовольствием носила их и не снимала после уроков танцев, чтобы скользить в них, словно по льду, по паркету большой залы; к этому меня склоняли и другие большие комнаты с высокими, как в церкви, потолками. Наша служебная квартира на Морской улице располагалась в здании генералитета, что на Мойке, и эта особенность помещений, возможность скользить в них были частью моих ежедневных радостей; вспоминая о том времени, я чаще всего вижу себя скользящей по паркету в полном одиночестве.

Старшие браться рано женились, своих жен они выбрали еще в то время, когда брали уроки танцев; страстно влюбленные мужья и любящие отцы, они стали очень счастливыми людьми, чье отношение к женам напоминало отношение нашего отца к матери; он, например, имел обыкновение вставать, когда она входила в комнату, и мы, дети, этому непроизвольно подражали. Впрочем, это не мешало ему проявлять свой вспыльчивый, бурный характер, который мы все от него унаследовали. При этом

он отличался крайней доверчивостью и неподдельной искренностью; по этому поводу у нас был в ходу веселый анекдот. Наша Мушка – так мы звали маму – настойчиво уговаривала его быть осторожным с одним человеком, который будто бы пытался его очернить; в то же время она расхваливала дружеские чувства к нему другого человека. Отец тут же перепутал одного с другим. В молодости он не чурался радостей жизни, в тогдашнем блестящем Петербурге императора Николая I и Александра II он принадлежал к поколению Пушкина и Лермонтова, с последним, как офицер, был даже близко знаком. Однако, женившись на нашей маме, которая была на девятнадцать лет моложе, он подпал под влияние прибалтийского пастора Икена и стал глубоко религиозным человеком. Этот пастор привнес в суховатое морализаторство петербургских евангелических церквей дух пиетистского благочестия. Евангелическо-реформатские церкви – французская, немецкая и голландская – вкупе с лютеранской служили для семейств, не принадлежавших к греческо-католическому вероисповеданию, своеобразным оплотом веры, даже если в остальном они полностью ассимилировались в России; поэтому мой выход из церкви повлек за собой общественное осуждение, из-за которого особенно сильно пережинала моя мать. Что же касается отца, умершего незадолго до этого события, то я точно знала, что он, хотя и глубоко скорбел по поводу того, что его дочь утратила веру в Бога, все же одобрил бы этот ее шаг (при том что отец был связан с немецкой реформатской церковью особенно тесными узами, так как именно он получил от императора разрешение на ее основание). Отец не любил распространяться на религиозные темы, и только когда мне после его смерти подарили Библию, бывшую в его личном пользовании, у меня благодаря многим аккуратно подчеркнутым местам открылись глаза на его истинное отношение к религии. Меня так поразили благоговение, смирение и по-детски простодушная вера в этом деятельном, мужественном, привыкшем отдавать приказания человеке, что я с тоской думала о том, как мало в свои шестнадцать лет я сумела в нем разглядеть.

В самом раннем детстве нас с отцом связывала тайная нежность, и я смутно вспоминаю, что мы скрывали ее от Мушки, которая не любила проявлений чувств; помимо того папа, после трех мальчиков, страстно мечтал о девочке, в то время как мама вполне удовлетворилась бы полдюжиной мальчишек. В старых письмах отца к маме, находившейся с младшими детьми на летних каникулах за границей, я прочитала такую приписку: «Поцелуй за меня нашу малышку», и «Вспоминает ли она иногда

своего старого папу?». Воспоминания нахлынули на меня… Когда мне было всего несколько лет, я из-за так называемой «болезни роста» некоторое время почти не могла ходить; в утешение мне подарили мягкие красные сафьяновые ботиночки с позолоченными шнурками, надев которые я с таким удовольствием восседала на коленях у папы, что дело закончилось плачевно: поскольку я вовремя не сказала, что ножки у меня больше не болят, тот же нежный папа с тяжелым сердцем, но безжалостно прошелся жесткой березовой розгой по тому самому месту, которым я восседала у него на коленях… Я вспомнила о наших прогулках под ручку в ясные зимние дни. Поскольку мама не любила, чтобы ее держали под руку, папа с ранних лет приучил к этому меня – так я и шла вприпрыжку, приноравливаясь к его спокойному, длинному шагу. Однажды нам встретился нищий, каких много в России, и я, получившая накануне серебряный гривенник, чтобы научиться «считать деньги», хотела отдать монету ему. Но тут вмешался папа: так счету не учатся, сказал он, нищему хватит и половины того, что у тебя есть, но это ни в коем случае не должна быть монетка качеством похуже, например медная. И он с серьезным видом разменял мой гривенник на два красивеньких серебряных пятачка.

В сравнении с миром чувств большинства других, известных мне детей, моему миру недоставало в отношениях с обоими родителями чрезмерной горячности – как в упрямстве, так и в любви. То, что нас связывало, и то, что разъединяло, доходило только до определенной границы, за которой оставалось некоторое пространство для свободы. Во время учебы в школе эта «свобода» заходила даже чересчур далеко: когда в старших классах, где все дисциплины в обязательном порядке преподавались на русском языке, я стала жаловаться на недостаточное знание русского (дома мы, как правило, разговаривали между собой по-немецки или по-французски), папа неожиданно разрешил мне свободное посещение уроков, сказав со смехом: «В школьном принуждении она не нуждается». Каким образом он пришел к этому мягкому предубеждению, я не знаю.

Мне кажется, именно благодаря этой свободе мои братья, даже когда они стали взрослыми, сохранили в отношениях с родителями эту сердечность и доверительность. Для меня непроизвольно возникшая граница означала, например, что я должна была молчать и оставаться одинокой, сохраняя при этом сердечное доверие к родителям.

В качестве доказательства приведу одно незначительное событие, хотя, к сожалению, уже не помню, когда оно точно

произошло; помню только, что я уже пошла в школу, а у нас в России это значило, что мне исполнилось восемь лет. Взбесилась наша собака, шнауцер по кличке Джимка. В те времена по улицам бродило много неухоженных, бездомных собак, причем как в летнюю жару, так и в зимние холода, и бешенство нередко передавалось домашним собакам. Поскольку такое случилось впервые, мы не сразу поняли, в чем дело, и когда любимый пес внезапно укусил меня в запястье, я быстренько перевязала ранку, так как торопилась в школу, и забыла о ней. Когда я вернулась домой, собаки больше не было: бешенство стало очевидным, и Джимку увезли в специально предназначенное для таких случаев заведение, где его ближе к вечеру застрелили. В мое отсутствие он покусал также и нашу прачку, и наш домашний врач заявил, что с этим уже ничего нельзя поделать, так как прошло много времени. С ужасом я представляла себе, что будет, когда у меня заподозрят бешенство, и братья при малейшей нашей потасовке станут бояться, что я их искусаю… Некоторое время я жила в тайном страхе, узнала о симптоме водобоязни и по ночам страшно боялась того момента, когда утром мне придется чистить зубы (к счастью, я не знала, что симптом этот проявляется и тогда, когда пьешь чай или молоко). Узнала я и о том, что заболевшие бешенством собаки в первую очередь нападают на своего любимого хозяина. Я вспоминаю об охватившем меня ужасе при мысли, что мне предстоит самое страшное – «я укушу папу». То есть «самого любимого человека», хотя в то время я отнюдь не была уверена, что люблю его больше мамы. Насколько мало осознаешь такие вещи, доказывает еще одно воспоминание, относящееся к раннему детству, когда я вместе с мамой часто (и с удовольствием) ездила летом в нашем кабриолете в купальню на море. Через окошко в кабине купальни я смотрела, как мама плещется внизу в бассейне, и однажды просящим голосом крикнула: «Милая Мушка, ну утони же, пожалуйста!». Мама в ответ крикнула, ласково смеясь: «Малышка, но я же тогда умру совсем!», на что я прокричала в знак согласия характерное русское словцо «ничего»! Но в глубине души я не делала различия между родителями: уже одно то, с какой рыцарской нежностью папа обращался с мамой на наших глазах, не позволяло ей стоять «ниже его». Только уже девочкой-подростком я с удивлением узнала, что такое поведение отнюдь не есть само собой разумеющееся. Дело было так. Потерялся ключ от одной из запертых дверей, и пока мои братья бежали на помощь, мне удалось открыть, ее без всякого ключа; а когда я потом торжествующе рассказывала об этом маме и на ее вопрос: «Чем же ты ее открыла? – ответила: «Пальцами», то увидела, что

лицо ее окаменело; она только сказала: «Своей матери я бы никогда не осмелилась так ответить… Что ты открыла ее не ногами, я знала и так». Я словно заглянула в неведомое – и, растерявшись, даже не смогла объяснить ей, что произошло.

Друг друга родители понимали без слов, несмотря на то что были очень несхожи характерами (не считая одинакового темперамента и веры в Бога); непрерывно приспосабливаясь друг к другу, они сохраняли взаимную верность и любовь. Главное, по-видимому, заключалось в том, что оба всю жизнь непроизвольно старались преодолеть собственную односторонность – быть может, не столько в моральном плане, сколько в желании не замкнуться каждому в себе. (Обоим было абсолютно чуждо высокомерие и неотъемлемое от него малодушие.) Для людей, подобных моей маме, это значило, вероятно, без долгих размышлений растворить свою самостоятельную, активную натуру в женственности и материнстве, супружеское достоинство дается им от Бога. Отсюда вытекали обязательность и самообладание, которых она считала необходимым придерживаться и ожидала того же от других. А вообще-то ее натуре не было совсем чуждо и нечто бунтарское. Едва выйдя из детского возраста, она после смерти своей бабушки взяла на себя управление большим хозяйством, только чтобы не оказаться в подчинении у сестры своего отчима. Удивительным образом в моей памяти сохранилась мимолетная картина из нашей летней поездки в Швейцарию: я вижу, как она сразу после нашего прибытия остановилась перед входом в гостиницу и восхищенно смотрит на мужчин во дворе, завеявших ссору и схватившихся за ножи. Она не только отличалась смелостью, но и, я думаю, была склонна скорее доводить споры до логического завершения, чем их улаживать. В канун революции 1905 года ее, восьмидесятилетнюю, было трудно уговорить не выходить на неспокойные, простреливаемые улицы, которых как огня боялись две ее верные домашние работницы.

Моей матери, пережившей отца почти на четыре десятилетия, повезло – она не дожила до Октябрьской революции. Но семьям обоих моих старших братьев выпало на долю пройти в годы переворота и гражданской войны через жесточайшие лишения и страдания. Только с большими перерывами приходили редкие письма в Германию. Мой второй брат, Роберт, вернувшись наконец из Крыма, где он похоронил своего младшего сына, заболевшего в военное лихолетье, обнаружил, что не только лишился своего положения, жилища, состояния и вообще всякого имущества, но на своей маленькой даче недалеко от столицы, где он по обыкновению проводил лето, вынужден был

воспользоваться добротой своего батрака, которому отдали домик вместе с землей и инвентарем. Этот человек предоставил брату и его семье маленькое чердачное помещение и давал в обед тарелку щей, если брат помогал ему в поле; чтобы утолить голод, брат со своими маленькими внуками целыми днями собирал грибы и ягоды. Его жена не могла до конца смириться с тем, как новая хозяйка донашивает ее платья и простодушно радуется этому. Но при всех ужасах той поры не они сильнее всего поражали в редких письмах брата; поражала глубина перемен в душе каждого человека. Не то чтобы брат, который, кажется, был ранее членом партии кадетов, поменял свои политические взгляды на противоположные, но когда он рассказывал, как они вместе с батраком сидели по вечерам на лавочке перед домом, отдыхая и обсуждая происходившие в мире катаклизмы, то создавалось впечатление, что не просто хозяин и слуга поменялись местами, не просто одного швырнуло вниз, а другого вознесло наверх, нет, в том и другом говорил как бы некто третий, с которым случилось такое же внутреннее преображение. В этом сыграл свою роль и специфически русский характер батрака, недаром же брат воздавал в письме ему должное: «До чего же этот неграмотный мужик умен и дружелюбен». О том, что тут обозначилось и вышло наружу, нельзя говорить как о смирении одного и внезапно прорезавшемся самосознании другого: обоих объединяло то, что они оказались перед лицом переворота в мировом масштабе, который изменил их характеры, как бы упростил и укрупнил их, подчинил себе…

Но трогательнее всего было то, что и семейные связи только тогда стали обретать свою истинную прочность, когда они утратили свой бюргерский смысл. Не только потому, что бедствия вынуждали к сплочению на маленьком островке посреди бушующей стихии, тогда как до сих пор случались и ссоры из-за несовпадения намерений и желаний каждого члена семьи. Нет, перед тем как окончательно исчезнуть, еще раз расцвела и обрела жизненную силу старинная поэзия, возвышавшаяся над деловым расчетом; утешение и поддержку, счастье и теплоту в данном случае давало осознание внутренней значимости семейных уз. С другой стороны, столь же несомненным было и то огромное влияние, которое обрела внезапно освободившаяся, крайне взбудораженная молодежь, склонная к распущенности и всякого рода жестокости.

Нашей старенькой матушке не пришлось пережить не только переворот, но и смерть своего старшего сына, который был ей советчиком и защитником, – вскоре после начала войны он скончался от сердечного спазма, не выдержав многочисленных

забот и тревожных предчувствий. Она жила одна и была счастлива, зная, что рядом есть вполне устроенные дети и внуки. Больше всего ее угнетало то, что мы, дети, навязали ей уже в преклонном возрасте компаньонку, которая должна была ухаживать за ней, – кстати, родственницу, к которой она относилась хорошо, но не настолько, чтобы терпеть ее постоянное присутствие рядом. Несмотря на то, что ее окружали сыновья и внуки, она умела наслаждаться одиночеством и всегда была чем-нибудь занята. И читала она, как правило, не то, что ей советовали другие; так, уже в глубокой старости она увлекалась чтением «Илиады». Рассказывая о ее жизни в период от восьмидесяти до девяноста лет, я не могу обойти молчанием великую битву и победу, о которых она мне поведала в один из моих приездов в Россию. Речь шла об уничтожении дьявола, от которого она, человек глубоко верующий, сочла необходимым окончательно избавиться еще при жизни. На мой ошеломленный вопрос, не уничтожила ли она при этом заодно и Бога, так как именно ему дано решать такие вопросы, она ответила успокаивающе и почти снисходительно: «Тебе этого не понять, с Ним ничего не случится, кроме того, я годами спрашивала у Него совета на этот счет – нет, с Ним, разумеется, ничего не будет, но дьявола он, конечно же, изгонит». При этом она не отрицала до конца причины поздней и энергичной перемены убеждений – того обстоятельства, что постепенно она вынуждена была признать безбожие всех своих детей, оказавшихся под властью дьявола, хотя мои братья из рыцарских побуждений еще принимали участие в известного рода церемониях в угоду своим женам и нашей Мушке. Вместе с тем она никогда не делала ничего такого, что повергло бы ее в состояние внутренней раздвоенности: она явно во всем следовала непосредственному импульсу и только потом обдумывала тот или иной свой поступок и приводила его в соответствие со сложившимися обстоятельствами. Вот еще одно воспоминание о ее душевном спокойствии: по утрам, когда она, бывало, сидела за столом и улыбалась своими синими глазами, не выцветшими и в старости, нам казалось, что она смеется над нами, но потом оказывалось, что она улыбается какому-то своему приятному сну, – и все разрешалось шуткой: после не особенно веселых дней (дней скучных у нее вообще не было) наша Мушка вознаграждала себя по ночам занимательными сновидениями. В последние годы жизни, когда она начала плохо слышать, она развлекалась даже тем, что приглашала к себе таких же туговатых на ухо дам, и они говорили «мимо друг друга», а потом, весело смеясь, она рассказывала, как каждая из них, в том числе и она сама, иногда улавливали неправильные ответы собеседниц, но

при этом ни в малейшей степени не заботились о собственных репликах, тоже поданных невпопад.

Помимо чтения, больше всего ее привлекали наблюдения над природой. Особенно блаженствовала она летом, но даже поздней осенью, стоя перед окном городской квартиры, она могла, как с живыми существами, беседовать с деревьями на улице или любоваться тем, как меняется их освещение. Все ее комнаты всегда были уставлены высокими лиственными растениями, за которыми она сама ухаживала, но в то же время она терпеть не могла рядом с собой животных. Однако в преклонном возрасте ее уже тяготила всякая собственность – все то, что посягало на ее желание быть наедине с собой. Она заботливо и осторожно обращалась с любым предметом, бывшим в ее собственности, но в то же время радовалась, если могла незаметно избавиться от него в пользу близких или других людей. Постепенно складывалась странная ситуация, когда надо было возвращать подаренные ею ранее вещи, чтобы вокруг нее не возникала пустота. Временами она казалась мне человеком, который освобождается от земных привязанностей и перед уходом раздает остающимся свои, так сказать, пожитки; и мне казалось также, что такое поведение позволяет угадать что-то существенное в отношении к жизни и смерти вообще ощущению, что ты обворован смертью, противостоит чувство избыточности богатства, так как там, куда ты уходишь, оно больше не нужно.

Рассказывая о своей матери, я не могу не вспомнить о том, что она сделала для меня, несмотря на все ее неодобрение моей безмужней жизни за границей и моего образа мыслей. Раз уж дочка разочаровала ее тем, что появилась на свет не желанным сыном, а девочкой, то тогда она должна была бы стремиться к идеалу материнства – однако стремилась к чему-то совсем другому. Но даже в то время, когда она страшно переживала, так как мое поведение вопиющим образом противоречило нравам тогдашнего общества, Мушка таила свои переживания в себе и нерушимо стояла на моей стороне; она была полна скорби, но полностью доверяла мне; ей хотелось, чтобы все думали, будто мы понимаем друг друга с полуслова, так как самое главное для нее заключалось в том, чтобы не допустить направленных против меня кривотолков. Живя за границей, в годы своей чудесной юности я не задумывалась над этим; так ненавязчиво давала о себе знать ее материнская забота обо мне, что я едва ли осознавала, насколько глубоко, с непоколебимым убеждением порицала она мой образ мыслей и образ жизни. Свойственный мне эгоизм избавлял меня от угрызений совести и тоски по родине. В письмах она намекала, что хотела бы видеть меня под

защитой брачных уз, но я с беспечной радостью отвечала ей, что отлично чувствую себя под защитой моего друга Пауля Ре. Только после моего замужества, когда мама долго гостила у нас, между нами состоялся обстоятельный разговор на эту тему. Он привел меня в полное замешательство, и я по-старомодному умиленно думала, глядя на ее седую голову: «Не из-за меня ли она поседела?». Именно умиленно – с радостным ощущением еще более усилившейся любви и благоговейного почитания, которые в дни нашего свидания послужили прекрасным поводом для счастливого сближения между нами. Один хорошо знавший меня человек, которому я рассказала об этом, возмущенно заметил: «Вместо тоски по дому и раскаяния по поводу бездарно проведенной юности – чувство удовлетворения и счастья! Что же это, как не moral insanity!..».

Здесь и впрямь проявилось одно из главных различий в наших с мамой характерах: она всегда руководствовалась чувством долга и готовностью жертвовать собой, в этом заключалась в известном смысле героическая черта ее натуры; должно быть, в ней была заложена частичка мужской природы, которая незаметным образом давала о себе знать и тем самым способствовала проявлению ее женственности. Что до меня, то борьба, в том числе и с самой собой, никогда не казалась мне чем-то первостепенным; даже если я чего-то желала или ждала, я не боролась за вещи первостепенной важности: они находили меня как бы вдогонку, сами по себе и настолько совпадали – внешне и внутренне – с моим существованием, с моей сущностью, что ни о какой борьбе не могло быть и речи (тогда это соответствовало бы известному стишку: «Жизнь вряд ли жаждет одарить тебя, поверь. Коль хочешь наслаждаясь жить – живи как зверь!»). Мне же всегда казалось: самое лучшее и ценное можно получить в подарок, а не заработать своим трудом, что, в свою очередь, влечет за собой еще один подарок – чувство благодарности. В этом, вероятно, кроется причина того, что я вопреки ожиданиям родилась все же девочкой, а не мальчиком. Здесь я хотела бы еще раз выразить признательность своим родителям – за то, что их верность и любовь, вся атмосфера, их окружавшая, воспитали во мне этот доверительный образ мыслей, который можно назвать подарком веры. Как глубоко может засесть такая вера в человеке – в том числе пожилом и трезво мыслящем, – позволяет судить одно забавное происшествие, случившееся со мной в зрелые годы. Однажды, гуляя утром по лесу, я неожиданно наткнулась на цветы синей горечавки, которые мне захотелось собрать для своей заболевшей знакомой; в то же время я была так погружена в мысли, с которыми мне

нужно было разобраться в это утро, что уговорила себя не отвлекаться на утомительное собирание цветов. Когда через какое-то время я решила вернуться домой, то с изумлением заметила в своей руке большой, пышный букет. Я хорошо помнила, как усердно отводила я взгляд от цветов, чтобы не собирать их. То, что произошло, показалось мне почти чудом. Над моей «рассеянностью» часто смеялись, но это было нечто совсем другое. И первой реакцией на случившееся было радостно и громко произнесенное слово: «Спасибо!».

К матери я приезжала из-за границы ежегодно, иногда раз в полтора года. В моей памяти необыкновенно живо сохранилось наше последнее расставание перед ее тихим уходом из жизни. Я ехала поездом на север Финляндии, чтобы оттуда пароходом отправиться в Стокгольм. Поезд отходил еще до рассвета, и мы простились поздним вечером. Когда я под утро как можно тише пробиралась к входной двери, мама неожиданно еще раз предстала передо мной: босиком, в длинной ночной рубашке, с распущенными, белыми как снег волосами, напоминавшими детские локоны, и широко открытыми синими глазами – ясными, пронзительными глазами, о которых кто-то однажды очень точно сказал: плохо будет тому, кто предстанет перед этими глазами с нечистой совестью.

Казалось, будто ее вырвали из какого-то сновидения, да и сама она была похожа на призрак.

Она не сказала ни слова, только прижалась ко мне. Будучи одного роста со мной, она в преклонном возрасте стала немного ниже, вся сморщилась, и хотя она стояла выпрямившись, ее легкое тело как бы слилось с моим.

Никогда раньше не позволяла она себе такого жеста. Она словно вынырнула на мгновение из своего сокровеннейшего укрытия. Или только теперь втайне созрела для этого движения, для последнего сладостного объятия – так плод, долго висевший на солнце, набирается сладости, перед тем как упасть.

И может быть, в молчании этого нежного объятия нас пронзила одна и та же мысль, одна и та же боль, один и тот же душевный порыв: «О, почему, почему только сейчас?..». Таков был последний подарок, полученный мной от моей мамы. Милая Мушка.

Переживание России

В нашей семье по отцовской линии смешалась французская кровь с кровью прибалтийских немцев; гугеноты из Авиньона, мы только после Французской революции, после долгого пребывания в Страсбурге, через Германию попали в Балтию, где в Митаве и Виндаве образовался так называемый «Маленький Версаль». В детстве я часто слышала в нашей семье рассказы об этом.

Моего отца, еще совсем мальчиком, для получения военного образования привезли в Санкт-Петербург при Александре I. Когда отец уже был полковником, Николай I после польского восстания 1830 года, где отец отличился, пожаловал ему в дополнение к французскому дворянству еще и наследуемое русское. Я до сих пор хорошо помню большой гербовник со словами императора, со старым гербом внизу (он был украшен золотисто-красными поперечными полосами) и русским гербом сверху – с двумя такими же золотисто-красными полосами наискось; в детстве мы часто рассматривали их. Помню также изготовленную для мамы по распоряжению императора заколку – имитацию почетной золотой сабли; на ней висели все ордена отца в сильно уменьшенном, но точном варианте.

Моя мать родилась в Санкт-Петербурге, но предки ее были из северной Германии, из-под Гамбурга, а родители по материнской линии происходили из Дании; ее фамилия в девичестве была Вильм, а фамилия ее датских предков – Дуве (то есть голубь).

Не могу вспомнить, на каком языке мы начали говорить; русский, на котором изъяснялось преимущественно простонародье, должно быть, сразу же уступил место немецкому и французскому.

Предпочтение в нашем случае отдавалось немецкому языку; он был связующим звеном между нами и родиной нашей матери, и не только потому, что в немецких землях у нас оставались друзья и родственники, но и как выражение нашей принадлежности к немецкоязычной культуре (но, в отличие от знакомых петербургских немцев, не к политической Германии); однако мы чувствовали себя не только на русской «службе», но и просто русскими. Я росла в окружении офицерских мундиров. Мой отец был генералом; перейдя на гражданскую службу, он был государственным советником, тайным советником, затем действительным тайным советником, но до конца своих дней занимал служебную квартиру в здании генералитета. Когда мне было примерно восемь лет, я впервые влюбилась в юного (и тогда действительно очень красивого) барона Фредерикса, адъютанта

Александра II, а позже министра двора; глубоким стариком ему довелось пережить и свержение императора, и переворот. Моя близость с ним ограничилась следующим малозначительным событием: выйдя однажды в гололедицу из дому и спускаясь по широким ступеням нашего генеральского здания, я почувствовала, что следом за мной идет предмет моего обожания, и, поскользнувшись, села прямо па ледяной наст; поспешившего мне на помощь рыцаря постигла та же участь; неожиданно оказавшись на льду в непосредственной близости, мы удивленно смотрели друг на друга: он – весело смеясь, я – с немым восторгом.

По-настоящему русские воспоминания о мире вокруг нас связаны с куда более специфичными впечатлениями, полученными от няньки и прислуги. (Нянька была только у меня.) Моя нянька, ласковая, красивая женщина, была ко мне очень привязана. (Позже она совершила пешее паломничество в Иерусалим и даже была причислена церковью к «малому лику святых»; мои братья хихикали по этому поводу, я же гордилась своей няней.) Вообще русские няньки пользуются славой безграничной материнской доброты, в чем их вряд могла бы превзойти даже настоящая мать (правда, они очень искусны в вопросах воспитания). Среди них еще многие вышли из крепостного сословия, и благодаря им слово «крепостная» сохранило оттенок доброты и ласки. Среди слуг в дворянских семьях было много нерусских: татары, из которых набирали домашнюю прислугу и кучеров, так как они не употребляли водку, и эстонцы; были протестанты, греко-католики и мусульмане, молитвенные поклоны на Восток сменялись молитвами в сторону Запада, постились кто по старому, кто по новому календарю, плату тоже получали в разное время. Картина рисовалась еще более пестрая оттого, что нашим сельским имением в Петергофе управляли швабские колонисты, точно придерживавшиеся в языке и манере одеваться обычаев родной Швабии, из которой они так давно уехали. Собственно, о России как таковой я узнавала не так уж и много: только во время поездок к моему второму брату Роберту, который, став инженером, рано ушел из семьи и перебрался далеко на восток (Пермь, Уфа), я познакомилась в Смоленской губернии с чисто русским обществом. Санкт-Петербург, эта привлекательная смесь Парижа и Стокгольма, производил впечатление интернационального города, несмотря на весь свой блеск императорской столицы, нарты в оленьих упряжках и иллюминированные ледяные дворцы на Неве, несмотря на поздний приход весны и жаркое лето.

Мои школьные товарищи тоже представляли разные национальности, сначала в маленькой частной английской школе, а затем и в крупных учебных заведениях, где я так ничему и не научилась. И все же среди них находились знакомые, которые открывали передо мной Россию с новой, политической стороны. Забродивший мятежный дух проникал уже и в школы. Он нашел себя в движении народников. Было просто невозможно жить в это время, быть молодым и не дать захватить себя этому духу, тем более что родители, несмотря на их близость к прежнему императору, озабоченно наблюдали за переменами в господствующей политической системе, особенно после того, как «царь-освободитель» Александр II, отменивший крепостное право, стал склоняться в сторону реакции. В стороне от этих мощных эпохальных интересов меня удерживало только энергичное влияние моего друга, которого я любила первой большой любовью: то обстоятельство, что он, голландец, чувствовал себя в России абсолютно как иностранец, заставляло и меня в какой-то мере отдаляться от этой страны; при этом он полагал, что воспитание девушки, склонной, подобно мне, к фантазированию, должно быть направлено на выработку индивидуальных качеств с акцентом не на эмоции, а на трезвую рассудочность. Поэтому единственным знаком моих политических симпатий был спрятанный в письменном столе портрет Веры Засулич, так сказать, основоположницы русского терроризма, стрелявшей в градоначальника Трепова и после оправдания судом присяжных, только что введенным в России, вынесенной ликующей толпой на руках из зала заседаний; она уехала в Женеву и живет, должно быть, там до сих пор. Когда я начала учиться в Цюрихе, экзальтированные русские студенты шумно, факельными шествиями отпраздновали убийство в 1881 году Александра II нигилистами, но тогда я не знала еще никого из моих однокурсниц, почти исключительно студенток медицинского факультета. Кроме того, я считала, что они используют учебу в качестве политического прикрытия своего пребывания за рубежом, так как в России уже давно – значительно раньше, чем где бы то ни было, – женщины получили право на обучение, были даже открыты высшие школы для женщин с полным замещением должностей, к примеру, профессорами медико-хирургической академии. Но я здорово ошибалась: эти женщины и девушки, которые, преодолевая огромные трудности и жертвуя многим, добились права учиться наравне с мужчинами в российских учебных заведениях, а когда эти заведения насильно закрывались, добивались своего снова и снова, считали своим важнейшим долгом как можно быстрее получить хорошее образование. Не для

того, чтобы конкурировать с мужчинами и их правами и не из тщеславного желания добиться успехов в науке, а только ради одной цели: чтобы пойти в народ – страдающий, угнетенный, невежественный, нуждающийся в помощи. Поток врачей акушерок, учительниц, воспитательниц, так же как и поток непосвященных служительниц церкви, вытекал из аудиторий и устремлялся в самые заброшенные уголки, в глухие деревни. Женщины, которым угрожали политические преследования, изгнание и смерть, полностью отдавались тому, что было их сильнейшей душевной потребностью.

На деле речь шла о том, что в революционизирующейся России и мужчины и женщины относились к своему народу, как дети относятся к родителям. Хотя именно они, по большей части выходцы из кругов интеллигенции, несли в народ образование, просвещение, знания, в житейском, человеческом смысле образцом для них был крестьянин, несмотря на свои суеверия, пьянство и неотесанность; такая точка зрения была свойственна Толстому, которому только крестьянская община помогла понять, что значит смерть и жизнь, труд и молитва. Это уже не была любовь по обязанности, любовь из снисхождения; в любви к народу накапливались коренные, первозданные, по-детски непосредственные силы их собственной душевной жизни, от влияния которых вступающая во взрослую жизнь честолюбивая личность никогда не освобождается до конца. Мне кажется, это до сих пор влияет в России и на отношения между полами, несколько снижает высоту любовных связей, которые в Западной Европе за почти тысячу лет стали чрезмерно возвышенными и романтичными. (Только у одного-единственного автора нашла я верное объяснение эротических отношений в России – в замечательной книге очерков принца Карла Рохана «Москва», вышедшей в 1929 году.) Как и везде, здесь случаются всякого рода эротические излишества и невоздержанность, может, даже более дикие, чем в других местах, но поверх всего этого собственно духовная жизнь протекает в таких примитивно девственных, инфантильных формах, какие вряд ли встретишь у народов, придерживающихся более «развитых», более «эгоистичных» форм любовных отношений. Поэтому «коллективное» в русском народном языке означает именно тесную связь, сердечную близость, а не благовоспитанную принципиальность, благоразумие или рассудочность. Все экстатическое там полностью обращено внутрь, вопреки подчеркиванию разницы между полами благодаря этой душевной открытости пассивная жертвенность переплетается с внезапно возникающей революционной активностью. Многое прояснилось

для меня позднее, во время моего третьего пребывания в Париже, в 1910 году, когда я благодаря доброте сестры одной террористки получила доступ в их круг. Это было после трагической истории с Азефом, когда самый необъяснимый и чудовищный из всех двойных агентов, разоблаченный Бурцевым, оставил после себя неописуемое отчаяние. Я тогда буквально нутром почувствована, насколько отчаянная решительность кучки революционеров-бомбометателей, готовых без раздумий пожертвовать своей жизнью во имя веры в свою смертоносную миссию, соответствует такой же бездумной, пассивной набожности крестьянина, который принимает свой удел, как будто он дан ему Богом. Истовая религиозность в одном случае пробуждает к покорности, в другом – к активному действию. Обеим жизням, всему тому, что проявляется в них частным образом, предпослан девиз, взятый уже не из приватной сферы, девиз, благодаря которому и мучения крестьян, и мученичество террористов осознают как свою спокойную терпеливость, так и внезапные приливы активности. Когда социальные революционеры после почти столетних трагических усилий из-за успехов большевизма были поставлены в безвыходное положение, поскольку время далеко обогнало их совместные мечты, все та же истовая религиозность народа привела к появлению третьего типа: это был освобожденный пролетарий, которого привлекли к соучастию в трудах и успехах, то есть благодаря новым способам принуждения, в тысячекратно воссозданной нищете – и в оргии добровольной активности. Ведь его прежняя пассивная доверчивость вознаграждена была блестящей видимостью неслыханных свершений в жизни народа и страны, свершений, которые казались ему такими же чудесными, как ожидаемое христианами в канун 1000 года Царство Божие на земле. Поэтому он стал естественным врагом своего брата, крестьянина, на долю которого выпали одни только неприятности: его мирный примитивный деревенский коммунизм был разрушен абстрактными политическими предписаниями, которые не имели ничего общего с его прежней покорностью и преданностью, так как были направлены против религии и веры в Бога. Таким образом, крестьянство, сплотившееся вокруг своих крестов и колоколов и своих представлений о Боге, увидело в большевизме враждебную, дьявольскую силу.

Нередко отмечают, что почти религиозная пропаганда, благодаря которой большевизм овладел сознанием пролетариата и, так сказать, подменил предание о Христе легендой о Ленине, ловко и целенаправленно использовала набожность и доверчивость этого народа; но каким бы верным ни было это замечание, оно мало что способно объяснить – как невозможно

было объяснить феномен религиозности хитростью и властолюбием священнослужителей. В данном случае это, вне всякого сомнения, результат колоссальных экспериментов, которые с помощью непреодолимой тяги к террору раз за разом подталкивали Россию к непредсказуемым, рискованным шагам; независимо от того, заканчивались эти шаги поражением или победой, они связаны с истовой религиозностью русского человека. Именно она создает для материалистической направленности политических теорий, для механистического фактора вызывающей восхищение техники совершенно иную, изначально пропитанную религиозностью почву. Совсем не такую, какая существует в нормально вызревающих культурах, не такую, как в странах, где эти теории зарождались.

Пожалуй, можно сказать, что кое-какие черты характера этого народа проявились уже во время запоздалой христианизации России в 900-х годах от рождества Христова. Она была проведена не благодаря принуждению завоевателей, как эго нередко бывало, а посредством выбора специально посланными людьми, которым византийское христианство показалось более соответствующим русскому характеру, чем ислам или буддизм, и которое необратимо обрусело. Когда переписанные византийские документы постепенно подверглись такому «обрусению», что сама церковь (патриарх Никон) была вынуждена их сравнивать и исправлять, русским это показалось уже чересчур далеко идущим религиозным просвещением, религиозным вмешательством в их собственные дела. Тогда примерно треть всех верующих отвернулась от церкви и вошла в староверческий «раскол» (1654). Тогда же появилось выражение: «Кто любит и боится Бога, в церковь не ходит». Таким образом, то, что было заимствовано у христианства, глубоко соответствует русскому характеру – но живет в нем самостоятельной жизнью; точно также те, кто остался верен церкви, почитают не высшее духовенство, не иерархические установления, а странников, отшельников, анахоретов, по стопам которых мог бы пойти каждый, в этом почитании присутствует тайное признание того, что каждый мог бы оказаться на их месте. И наоборот, каждый может оказаться на месте осужденных или преступников; об этом говорит и народный обычай дарить что-нибудь арестантам на их долгом и трудном пути в Сибирь – яйцо, кусок хлеба или поясок. Дело тут не только в сочувствии, но и в чем-то другом; об этом напомнил мне во время прохода каторжников один крестьянин: «Их это не миновало». Неумение выносить дифференцированное суждение о человеке, пренебрежение унаследованными критериями оценки связано с тем, что все сводится к Богу и ставится в полную зависимость от

него. Эта детская доверчивость слышится в традиционном утешении, когда страдания народа достигают высшей точки: «Все нас забыли, кроме Бога».

Легко понять, что такие религиозные умонастроения служили питательной почвой не только для церкви, но и для широко распространенного сектантства, в котором было множество самых разных, нередко противоречивших друг другу проявлений – от брутального аскетизма скопцов с их принципом кастрации до нелепейших, отвратительных чувственных оргий, которые под видом сексуальных мистерий включались в молебен; или до по-человечески прекрасного, умиротворенно-радостного настроения, которым так восхищался Толстой, и которое в известном смысле сделало его апостолом русского крестьянства. В полной мере это объяснимо только психопатологией Толстого – спутницей его гения. Точно так же стали воспринимать с недавних пор фигуру Распутина, то, как он выставлял напоказ свое оргиастическое и беспутное поведение святого старца, – как его личную отвратительную черту, а не как особенность его секты.

В примитивных, недифференцированных натурах противоположности соединяются без помех. Но сверх того русскому характеру присущ явный недостаток дуализма, вследствие чего не происходит достаточно строгого различения между мечтами и реальным опытом, между «небесным» и «земным»: первое воспринимается еще слишком конкретно, второе еще не отягчено виной. Это время от времени подтверждают те, кто родился не в России, но провел в ней длительное время и поневоле сильно к ней привязался. То же произошло и с нами. Особенно сильно любил «простой народ» мой отец; как бы часто и много он ни ругал его, в его словах всегда звучало уважение и даже благоговение. Эти чувства он прививал и нам. Что касается мамы, то в ее отношении к греко-католической вере всегда чувствовалось, что она эмигрантка из страны с евангелическим вероисповеданием. А я? Из-за своей первой большой любви я в ранней юности была отлучена от русского народа, так как мой друг-иностранец все свои интересы и помыслы связывал с заграницей: в условиях России его лучшие силы и дарования не нашли применения. Но когда я приезжала на родину из Швейцарии или Германии, когда пересаживалась на русской границе в более широкий и тяжелый вагон и проводник, укладывая меня спать, называл «матушкой» или «голубкой», когда я вдыхала запах мохнатой овчины или аромат русских сигарет, тогда троекратный звонок – старомодный сигнал отъезда – пробуждал во мне незабываемое чувство встречи с родиной. Такое не случалось ни при возвращении в родительский дом, ни

когда я тосковала по родине или вспоминала о впечатлениях детства. Я и сегодня вряд ли смогла бы точно определить это чувство; знаю только, что в своей глубинной сути оно оставалось неизменным все годы моей удивительной юности, заполненной совсем другими делами и очень далекой от России умственной работой… Постепенно оно переместилось в занятия и исследования, во время которых я встретила в 1897 году Райнера Марию Рильке. Две наших совместных поездки в Россию явились следствием все нараставшего желания увидеть эту страну. Для каждого из нас эти поездки стали переживанием особого рода: для него в связи с подъемом его творчества и тем, что Россия поставляла ему соответствующие поэтические образы, почему он и взялся за изучение ее языка; для меня – просто упоением встречи с русской действительностью в ее полном объеме: вокруг меня раскинулась эта бескрайняя страна с ее народом, живущим в нищете, исполненным преданности и ожидания; она окружала меня – такая поразительно реальная, что я никогда больше – за исключением самых сокровенных личных переживаний – не испытывала впечатлений такой силы. Но необычность этих совместных поездок заключалась в том, что в одно и то же время, в одних и тех же обстоятельствах нам открывалось то, в чем ощущал потребность каждый из нас Райнер черпал творческое вдохновение, я утоляла давнюю жажду воспоминаний о прошлом.

И все же очень странным для нас обоих было то, что на необъятных просторах этой страны – не только там, где мы побывали, – на берегах ее рек, между Белым и Черным морем, между уральским хребтом и приграничными европейскими странами, казалось, встречался один и тот же тип человека, независимо от того, какой у него был нос – великорусский или татарский. Словно этот человек был родом из близлежащей деревни. Это единообразие при всех различиях объясняется не безликостью малознакомых и потому плохо различимых людей, а открытостью русской души, которая будто обращается к чему-то глубоко человечному, одинаково присущему всем людям. Такое ощущение, словно узнаешь во встречном нечто новое и трогательное о себе самом – и потому любишь этого встречного. Для Райнера это имело решающее значение, так как он искал новых путей к бездонным глубинам человеческого естества – оттуда черпал он свои поэтические образы, чтобы петь гимны Всевышнему.

Только позже мне стало более или менее ясно, что его тяга к России была стремлением к исцелению, к внутреннему преодолению свойственного его натуре душевного разлада. Какая-то сила толкала его из чрезмерной европейской

образованности, от всего чересчур западного к восточному; он будто чувствовал, что и там, в азиатских культурах, главный фактор человеческой самобытности надолго определит направление развития со всеми его достоинствами и недостатками, на пути мы часто спрашивали себя, откроется ли нам по-настоящему «русский характер в чистом виде», если мы еще дальше углубимся в пределы Азии. Но мы чувствовали: нет, там мы встретим нечто иное, чужое, уже не открытое, а закрытое для нашего восприятия. Подлинный Восток, с какой бы стороны вы к нему ни приблизились, тут же поднимется перед вами, как часть Великой Китайской стены; это такой предмет, к которому можно подойти только во всеоружии научного знания. Он окружен своими древними культурами – удивительными самодостаточными феноменами, непостижимыми для нас в почти сказочной мудрости своих уходящих в глубины веков традиций, и всякий, кто рожден и взращен этими традициями, недоступен нашему разумению. Такой человек представляется нам, впавшим в крайний индивидуализм, настолько непохожим на нас, что, кажется, он не выжил бы в нашей среде, хотя он перегнал нас в своем развитии и превосходит нас, поскольку сохранил свою внутреннюю цельность, неповторимый и самобытный сплав культуры и природной непосредственности, образования и нрава.

Совсем по-иному раскинулась русская земля, вплоть до своих сибирских далей в известной мере обращенная к Западу; кажется, будто она не может остановиться, окончательно обозначить свои границы; с незапамятных времен подверженная вторжениям и влияниям с разных сторон, она словно видит свое предназначение в том, чтобы утверждать свою ширь, принимая в себя даже самые чужеродные элементы и приводя их к синтезу. Кажется, ее собственная непостижимость и внутренняя открытость именно поэтому не обособились и не закоснели, а сохранили медленный, ибо многое приходилось преодолевать, многотрудный ход «бродяжничества на долгие времена. Эта страна постоянно продвигалась с Востока на Запад и обратно, остерегаясь преждевременной оседлости и стараясь ничего не потерять из своей драгоценной ноши, сохраняя свою танцующую поступь, свою радостную готовность петь даже самые заунывные песни, которые (может быть!) предвосхищают ее предстоящий закат.

Человек такого склада, похоже, сегодня насильно увлечен экстатической идеей прогресса, ему против его воли навязываются цели западного образца. На Западе они не были осуществлены, так как чувствовалось, что они были продуктом девятнадцатого века и не совсем согласовывались с

устремлениями века двадцатого; в отсталой России они обрели колоссальную силу столкнувшихся друг с другом крайностей. Ведь там речь шла не об изменении форм культуры, а о создании для общества совершенно новой культуры. Поэтому именно там, к счастью или к несчастью, из насильственного сдвига могло возникнуть нечто новое – благодаря хотя бы внезапно появившимся техническим возможностям и азиатским масштабам их применения. Русский большевизм, этот наследник западной теоретической системы, влил в сухие и холодные философские понятия столько свежей крови и столько страсти, что из наследника Запада превратился в провозвестника утренней зари, встретить которую он, похоже, приглашает весь мир, невзирая на доводы разума и национальные различия.

Нам, однако, было необходимо, даже крайне необходимо побывать в старой России, еще не вступившей в рискованную фазу коренных преобразований, когда проверяется правильность избранного пути. Это было потому необходимо, что, только зная старую Россию, можно судить о ее будущем, что только так можно уберечься от ошибки, в которую впадают многие нынешние путешественники по России, удивляющиеся тому, как быстро русский человек, слывший до этого олухом царя небесного, превратился в своего рода экзальтированную машину – по той якобы причине, что подгоняют его не старой нагайкой, а сверхсовременным кнутом.

Стоя на берегу Волги, мы, чтобы смягчить боль расставания, придумали себе утешение. Когда бы мы ни вернулись сюда, думали мы, раньше или позже, или когда вместо нас вернутся другие поколения, даже после самых масштабных перемен сохранится то, на что мы смотрели теперь мокрыми от слез глазами… Мы и не предполагали, как быстро переменится картина, не знали, что Волга сольется с другими реками в единый гигантский поток с огромной системой плотин, и что этот поток прорежет всю страну до самого Тихого океана.

Но мы не знали: даже такой поворот событий уже не изменит того, что придало нашим впечатлениям от России величие и одновременно глубокую проникновенность.

Мы узнали в России нечто большее, не только одну Россию. И мы должны были ее покинуть.

Русь

Ты спишь в тенетах нищеты,
В дремучем и седом наследстве.

Взрослеет мир – и только ты
Осталась в детстве.

То дождь, то снег, то зной, то стынь.
Пестреют избы, точно в сказке.
Багрец да зелень, бель да синь —
России краски.

И все же: кто в ней долго жил.
Вовек не бросит ей упрека.
Русь светлый отрок возложил
К изножью Бога.

Волга

Ты далеко, великая река,
Ты далеко, но кажется мне: рядом
Течешь и омываешь берега
Моей судьбы потоком неоглядным.

И если б жизнь меня не привела
В твои приволья без конца и края,
Я б все равно дорогу к ним нашла,
Мечтой к печальным далям долетая.

Переживание дружбы

Однажды вечером в марте 1882 года в Риме несколько друзей собрались в доме Мальвиды фон Мейзенбух. Неожиданно раздался еще один звонок. В комнате появилась управляющая и шепнула на ухо хозяйке некую потрясающую новость, после чего Мальвида поспешила к секретеру и, достав деньги, вышла. Когда, смеясь, она вернулась, прозрачная косыночка из черного шелка от волнения соскользнула с ее головы. Вместе с Мальвидой в комнату вошел молодой Пауль Рэ, ее давнишний друг, которого она любила как сына. Он примчался из Монте-Карло, чтобы вернуть долг человеку, ссудившему ему деньги, когда Пауль проиграл буквально все до последнего су.

Меня слегка взволновало начало наших отношений, в чем-то забавное и неожиданное: завязались они почти мгновенно – возможно потому, что Пауль Рэ, над которым парил некий ореол неординарных событий, разом затмил все происходившее до него. Его выразительный профиль, умные глаза показались мне близкими, в них явно читались раскаяние, юмор и доброта.

В тот вечер наша страстная, взахлеб, беседа закончилась глубоко за полночь. После многочисленных уловок задержаться – и так продолжалось потом все вечера – мы покинули Ла Виа делла Полверьерра и отправились в пансион, где я жила с мамой. Эти прогулки по улицам Рима, освещенным луной и звездами, сблизили нас настолько, что я, не мешкая, принялась разрабатывать изумительный план на будущее, который способствовал бы продолжению наших отношений вопреки намерению матери вернуть меня в Санкт-Петербург.

Однако Пауль Рэ, увы, совершил грубейшую ошибку: он заговорил с моей матерью о нашем браке, и в итоге мне стоило немалого труда склонить его к принятию именно моего плана. Я убедила его в том, что замкнутость моей личной жизни и моя необузданная потребность в свободе диктуют мне совершенно иные задачи.

Сознаюсь честно: я была совершенно убеждена в том, что мой план – настоящее оскорбление общепринятых норм, и, тем не менее, план этот был осуществлен, хотя сначала я увидела все это во сне. Мне приснился замечательный рабочий кабинет с книгами и цветами, где проходили наши беседы, рядом – 2 спальни, а в зале – веселый и одновременно серьезный круг друзей-единомышленников.

Нельзя отрицать, что наши 5 лет, или почти 5 лет совместной жизни поразительно похожи на этот сон. Пауль Рэ сказал

однажды, что разница была лишь в том, что наяву я не проводила различия между книгами и цветами: я брала внушительные университетские тома, чтобы подкладывать их под горшки с цветами; занимаясь таким дизайном, я приводила окружающих в замешательство. Наконец, когда я еще боролась с мамой, не терявшей надежду вернуть меня домой живой или мертвой, Мальвида, к моему великому изумлению, обнаружила еще больше предрассудков, проявившихся в непоколебимости религиозных принципов и благородных традиций высшего общества. Я с удивлением открыла для себя, до какой степени идеал свободы может подавлять реальную свободу личности: чтобы служить ее пропаганде, этот идеал старается тщательно избежать любого недоразумения, предпочитая любую «фальшивую видимость». Отвечая на письмо своего наставника, который тоже, как мне казалось, не был расположен меня понять, я написала из Рима о своем несчастье и разочаровании. Вот это письмо в Санкт-Петербург:

Рим 26 (13) марта 1882 года

Перечитав Ваше письмо по крайней мере раз пять, я его так и не поняла. Что я сделала не так? А я-то думала, Вы похвалите меня, я готова доказать, что хорошо усвоила урок, который получила благодаря Вам. Во-первых, потому, что я абсолютно не строю замков и действительно сделаю то, о чем говорю, во-вторых, потому, что я реализую это с людьми, которых Вы знаете, – умными и ответственными. Но Вы убеждаете меня в обратном, что, мол, моя идея бредовая, и надеяться воплотить ее в жизнь – означает только все усложнить; наконец, что я неспособна правильно понимать великих людей старше меня, таких как Рэ, Ницше и других. Но в этом-то и заключается Ваша ошибка. Главное – (а для меня главное в человеческом отношении – это Рэ и только он) – мне очень хорошо известно.

Рэ еще не совсем мой единомышленник, он еще растерян, но во время наших бдений до двух часов ночи под лунным светом Рима, вне общества Мальвиды фон Мейзенбух, мои объяснения приобретали для него смысл. Мальвида тоже против нашего плана, и это меня огорчает, потому что я сильно люблю ее. Но я давно заметила: наши мысли, по сути, всегда разные, даже когда мы в целом согласны. У нее привычка говорить, что «мы» не имеем права делать «это» или «то». Я же совершенно не знаю, что есть на самом деле это «мы» – какая-то идеальная партия или философская категория? Что касается меня, я даже не знаю, что есть «я». Я не могу соотнести свою жизнь с общепринятыми моделями и никогда не смогу создать некую модель, но взамен

этого я буду управлять своей жизнью по правилу: будь что будет. Поступая так, я защищаю не какой-то принцип, а нечто высшее, что присутствует в нас, идущее от жизни, что ликует и бьет ключом. Вы пишете также, что никогда не видели, чтобы я себе ставила интеллектуальные цели, большие, нежели просто «переходная ступень». Но что вы вкладываете в понятие «переходная ступень»? Если нечто, за чем следуют потом другие цели, ради которых нужно отказаться от того, что является самым замечательными, что труднее всего заполучить на земле, а именно – свободу, в таком случае я хочу всегда оставаться на стадии «переходной ступени», потому что свободу-то я и не принесу в жертву.

Определенно нельзя быть такой счастливой, как я сейчас, а «война», которая меня, конечно, ждет, совсем меня не пугает, напротив, пусть она будет! И мы увидим, не превратится ли большинство препятствий, называемых «непреодолимыми» в этом мире, в ничего не значащие линии, начертанные мелом.

Но что могло бы меня действительно испугать, так это то, что Вы не сочувствуете мне. Вы себе же противоречите, написав, что все советы, без сомнения, не могут что-либо изменить в этой ситуации. Ваши «советы» – нет! Мне нужно от вас гораздо больше, чем советы: ваше доверие. Не в обычном смысле, конечно, нет, – мне нужно, чтобы Вы поверили в то, что я могу сделать. И порукой тому – все, что мне принадлежит: моя голова, мои руки – все то, чем, благодаря вам, я стала.

Ваша маленькая девочка

Тем временем в Риме произошло событие, которое «подлило воды на нашу мельницу» – приезд Фридриха Ницше. Случилось неожиданное: едва только узнав о нашем плане, Ницше предложил себя в качестве третьего лица нашего союза.

Местопребывание нашей будущей троицы было вскоре определено: вначале мы думали о Вене, затем о Париже, где Ницше хотел посещать какие-то лекции, и где Пауль Рэ и я познакомились с Иваном Тургеневым (у него эта встреча произошла давно, у меня – вскоре после отъезда из Санкт-Петербурга). Ницше пребывал в игривом настроении, и часто ничего нельзя было понять из его высокопарно-закамуфлированной манеры выражаться. Я помню его торжественный вид в день нашей первой встречи, которая произошла в церкви Св. Петра. Первые слова Ницше, обращенные к нам, были: «Какие звезды свели нас вместе?».

Но то, что так хорошо начиналось, приняло неожиданный оборот, втянув нас с Паулем в новые перипетии, ибо вновь

прибывший усложнил ситуацию непредвиденным образом. Разумеется, Ницше думал, наоборот, упростить ситуацию: он сделал Рэ своим посредником по части брака со мной. Удрученные, мы искали средство уладить все, чтобы не подвергать угрозе интересы нашей троицы. Мы решили объяснить Ницше, что, во-первых, я испытываю глубокое отвращение к браку вообще, во-вторых, что я живу на одну пенсию, которую моя мать получает как вдова генерала, и, наконец, что брак лишил бы меня скромной ренты, которая мне полагалась как единственной наследнице русского дворянского рода.

Когда мы покинули Рим, дело, казалось, было улажено. За последнее время у Ницше случилось несколько приступов сильной головной боли. Пауль остался возле него. Моя мать рассудила, что разумнее было бы меня увезти. Уже позднее мы жили втроем в Орта, на берегу озер Северной Италии, где вершина Монте Сакро буквально околдовала нас. Тогда же Ницше заставил нас сфотографироваться втроем, несмотря на сопротивление Пауля, который всю жизнь испытывал болезненное отвращение, глядя на свои фотографии. В веселом расположении духа Ницше не только настоял на своем желании, но и занялся этим лично, с усердием следя за всеми нюансами, которые должны были быть изображены – к примеру, маленькая (даже слишком) тележка, претенциозная деталь – ветка сирени, закрепленная на хлысте и т. п.

Поначалу между Ницше и мною были разногласия, вызванные всякого рода россказнями, смысла и источника которых я так и не уяснила до сих пор. Мы вскоре от них избавились ради спокойного совместного существования. Тогда я смогла проникнуть глубже во внутренний мир Ницше. Что касается его произведений – то я не знала ничего, кроме «Веселой Науки», которую он как раз заканчивал, и последние части которой мы прочитали уже в Риме. Встречаясь, Ницше и Рэ обнаруживали явное сходство мыслей. Пауль всегда предпочитал афоризмы – форма выражения, которую Ницше вынужден был избрать в силу своего образа жизни. Пауль Рэ вечно разгуливал с Ларошфуко или с Лабрюером в кармане, и его мысль мало изменилась со времени его первой рукописи «Кое-что о тщеславии». В Ницше, напротив, чувствовалось, что он не собирается останавливаться на сборниках своих афоризмов, и что он со временем перейдет к «Заратустре»; чувствовалось некое скрытое движение: он эволюционировал к религиозному пророчеству.

В одном из писем, которые я написала Паулю, можно прочесть (сегодня я бы подчеркнула это высказывание дважды):

«Мы увидим его появление как проповедника новой религии, и это будет религия, которая потребует преданных последователей. Мы с ним думаем и чувствуем одно и то же в этой сфере, мы произносим абсолютно одни и те же слова и выражаем одинаковые мысли. За эти три последние недели мы буквально истощены дискуссиями и, что удивительно, он переносит сейчас беседы почти по 10 часов кряду». Странно, но наши беседы вели нас в некие пропасти, в дебри, куда забираются однажды поодиночке, чтобы почувствовать глубину. На прогулках мы выбирали нехоженые тропинки, и если нас слышали, то думали, наверно, что это беседуют два дьявола.

Неизбежное очарование, которое оказывали на меня характер и слова Ницше, преодолеть было невозможно. И все же я не стала его ученицей и преемником: я всегда колебалась вступить на путь, с которого мне все равно пришлось бы сойти, чтобы сохранить ясность мысли. Была тесная связь между предметом обожествления у Ницше и моим отступничеством…

После перерыва мы вновь встретились с Ницше в октябре, в Лейпциге, на три недели. Никто из нас двоих не сомневался в том, что эта встреча была последней. Все было иначе, не так как прежде, хотя мы по-прежнему хотели жить втроем. Когда я спрашиваю себя, что явилось наиболее предосудительным в моем мнении о Ницше, я отвечаю: его многочисленные намеки, призванные очернить Пауля Рэ в моих глазах, и я удивляюсь, что он верил в эффективность этого средства. Вскоре свою враждебность он перенес на меня, и выразилось это в форме злобных упреков, с которыми я познакомилась только из черновиков его писем. То, что произошло потом, показалось настолько противоестественным для характера и жизненной позиции Ницше, что объяснить это можно только вмешательством постороннего лица. Он начал питать в отношении Рэ и меня подозрения, которые потом сам же первым и опроверг, настолько они были необоснованны. Пауль Рэ как мог старался уберечь меня от всякого рода недоразумений и оскорбительных намеков. Похоже, что некоторые письма Ницше, адресованные мне и полные необоснованных обвинений, до меня так и не дошли. Более того, Пауль Рэ скрыл также от меня и то, что происки были связаны с неприязненным отношением его семьи ко мне.

Ницше, без сомнения, сам был недоволен слухами, которые заставили его ретироваться. Так наш друг Генрих фон Штейн рассказал нам, что в Сильс-Мария, куда он приехал однажды к Ницше, он пытался убедить того, что можно рассеять недоразумения между нами троими, но Ницше ответил, качая головой: «То, что я сделал, не подлежит прощению».

* * *

Между тем Пауль Рэ и я устроились в Берлине. Общность, о которой я мечтала, реализовалась в кружке молодых литераторов, в большинстве своем преподавателей университета; задачи и состав этого кружка менялись с годами. Пауль получил там прозвище «благородной девицы», а я – «его превосходительства», как было записано в моем паспорте (по русскому обычаю я унаследовала титул отца в качестве его единственной дочери). Даже летом, покидая Берлин на университетские каникулы, мы никогда не оставались одни: несколько друзей всегда присоединялись к нам. (Помню одно особенно счастливое лето в Верхнем Энгадине, где мы все жили у мельника.)

Денег на жизнь у нас хватало: у меня было 250 марок в месяц, благодаря пенсии матери, а Пауль, проявляя трогательное внимание, клал ту же сумму в наш общий кошелек. Мы учились тратить экономно: это было забавно и принесло мне расположение брата Пауля, Георга, который заведовал наследствами их обоих. Пауль, став скромнее в своих потребностях, больше не докучал ему в отношении денег.

Следуя мудрому совету Рэ (этой «благородной девицы» в мужском облике, гораздо более рассудительной, чем любая женщина) мы посещали в Берлине только наш собственный кружок да еще порой и другие кружки подобного типа, – ни благородных семейств, ни тогдашнюю богему, тем более что «художественная литература» встречала в моем лице самый отпетый образец невежества.

В то время я написала свою «первую книгу», но поскольку от меня потребовали не вмешивать в эту публикацию фамилию семьи, я взяла в качестве псевдонима имя моей голландской подруги. Забавно, что эта книга – Генри Лу, «В поиске Бога» – была лучше принята критикой, чем любое из моих будущих произведений. Оно родилось из моих петербургских заметок, а так как это было мало, – еще из написанной мной когда-то новеллы в стихах, которую я переложила на прозу.

Среди людей, которые нас окружали, были представители разных научных областей: естествоиспытатели, востоковеды, историки и множество философов. Но коль скоро философия ставила задачу беспокоить и стимулировать умы, причиной тому была особая ментальная атмосфера того времени. Внушительные послекантовские системы, вплоть до неогегельянства во всех его разновидностях, не ушли от существенного столкновения с противоположной духовной тенденцией XIX столетия, названного

«эрой Дарвина». Среди тех, кто защищал позитивистские принципы объективности и реализма, появились пессимистические настроения: это представляло собой еще очень идеалистическую реакцию на все виды практик «разбожествления». Однако за любовь к «истине» приносились настоящие жертвы. В этом состоял героизм того времени для людей, интересовавшихся философией. После смирения перед «истиной» открылась целая эра «конфессий смирения»: устанавливая положение человека как можно ниже, испытывали особое чувство мазохистской гордости.

Даже в нашем кружке, который то уменьшался, то ширился, не сознавали еще, что человек, сборники афоризмов которого внесли свежую струю в психологию, Фридрих Ницше, приобретет всемирную славу. Однако как покров вуали, невидимый, он был среди нас. Не соединял ли он в действительности эти ростки возбужденных умов? Не по причине ли конфликтов его души и психических расстройств, которые его побуждали полностью отдаваться своему поиску, его поэтический дар и сила проницательности объединились столь продуктивным образом?

Однако что еще определило столь глубокий след, оставленный Ницше в интеллектуальной жизни того (и последующего) времени, – так это тот контраст, который он являл по отношению к нашим друзьям. Ибо несмотря на различия позиций каждого по отношению к основным вопросам, все были согласны в одном: они все искусственно повышали стоимость «объективности» этих вопросов. Они старались изо всех сил отделить свои эмоции от желания познания, разъединить их как можно глубже и рассматривать все «личное» как несовместимое с «научным подходом».

Напротив, состояние души и личная трагедия Ницше стали тигелем, где его жажда познания приняла наконец форму: из огня возникло «цельное творение Ницше». Я была не единственной, кто ощущал контраст между Ницше и нами как особенность, открывшую ему самые большие кредиты в сердце нашей группы. Вообще надо сказать, что в ней царил здоровый и свободный климат, к которому я всегда стремилась, и который способствовал тому, что Пауль Рэ оставался моим духовным другом, даже когда он трудился над «Генезисом Сознания», окрашенным улитаризмом слегка ограниченным, так что я чувствовала себя в своей интеллектуальной работе ближе к некоторым другим членам нашей группы, чем к нему (я имею в виду Фердинанда Тенниса и Германа Эбингауса).

То, что нас с Паулем Рэ притянуло друг к другу, не вписывалось в мимолетность, а обещало вечную дружбу. Если мы

верили в эту возможность, то только потому, что Рэ обладал абсолютно уникальным среди тысяч людей даром товарищества. Я была молодой девушкой, глупой и неопытной, и многие вещи, которые мне казались тогда совершенно естественными, были в действительности настоящей редкостью: в частности, его неизменная доброта. Я не догадывалась вначале, насколько она сильно базировалась на тайном чувстве неприязни к самому себе: его полная преданность по отношению к кому-то иному, чем он сам, являлась замечательным способом забыть себя и освободиться от себя. Действительно, меланхоличный и пессимистичный Пауль Рэ, помышлявший в молодости о самоубийстве, стал человеком веселым и замечательно открытым. Он обладал недюжинным чувством юмора, и даже толика пессимизма, которая у него оставалась, проявляла себя продуктивным образом: в то время как другие испытывают раздражение перед разочарованием, которое вечно приносит с собой повседневность, он развил способность замечать лишь то, что счастливо обманывало его пессимистические ожидания. Таким образом, его скрытная невротическая натура оставалась для меня во многом тайной, хотя он часто оплакивал себя в открытую, будучи огорченным всеми своими возможными и невозможными воображаемыми недостатками: только однажды, позднее, увидев его во власти прежней страсти к игре, я сопоставила его с тем игроком, каким я узнала его в Риме в первый вечер, и мне открылись другие черты его характера так, как я их вижу и понимаю сегодня. И сейчас еще я испытываю глубокое сожаление при мысли, что он мог бы найти спасение, если бы психоанализ Фрейда родился на несколько десятилетий раньше. Ибо он не только вернул бы его к себе, но и позволил бы достигнуть полной интеллектуальной зрелости.

Казалось бы, моя предстоящая помолвка никак не могла помешать тем узам, которые нас скрепляли. Мой муж одобрил это положение вещей как что-то абсолютно неизменное. Пауль Рэ делал вид, что он верит в то, что моя семейная жизнь ничего не изменит. Чего ему не хватало на самом деле, так это веры, что его действительно могут любить, хотя сама реальность доказывала обратное. И несмотря на откровенность, с которой мы объяснились по поводу этого наедине (он решил не встречаться с моим мужем, не разговаривать с ним, по крайней мере, некоторое время), стена между ним и Андреасом продолжала существовать. В то время мы уже жили отдельно, потому что Пауль Рэ начал свои занятия медициной и должен был анатомировать по утрам.

Вечер нашего расставания вписался огненными буквами в мою память. Он ушел очень поздно, но вернулся через несколько

минут, т. к. был сильный дождь. Через некоторое время он снова ушел, но тут же вернулся за книгой. Когда он ушел, рассветало. Я выглянула в окно и была сильно удивлена: улица была сухой, а безоблачное небо еще усеяно бледнеющими звездами. Отвернувшись от окна, я заметила в свете лампы свою детскую фотографию, которую когда-то взял Пауль. Она выглядывала из сложенной записочки, где я прочла: «Сжалься! Не ищи!».

Было естественно, что уход Пауля Рэ стал благодеянием для моего мужа, хотя тому достало деликатности не говорить мне об этом. И так же естественно, что, несмотря на проходящие годы, печаль продолжала давить на меня: я знала, что что-то уже никогда не произойдет. Когда я просыпалась по утрам с чувством угнетенности, только новый сон мог его подавить. Вот один из самых тревожных: я вместе со своими друзьями, которые сообщают мне радостно, что с ними Пауль Рэ. Я смотрю на них и не нахожу его, иду в прихожую, где висят наши пальто. Мой взгляд падает на огромного толстого незнакомца, который спокойно сидит, скрестив руки, за вешалкой. Избыток жира, который делает его лицо трудноузнаваемым и заслоняет ему глаза, покрывает его лицо, как погребальная маска, сделанная из плоти. Он произносит с удовлетворенным видом: «Не правда ли, вот таким меня никто не найдет?».

Пауль Рэ завершил свои занятия медициной и удалился в Селерину в Верхнем Энгадине, где он применил свои способности врача, бесплатно леча бедных.

Он разбился насмерть, сорвавшись с горы в окрестностях Селерины.

Среди людей

Чтобы кратко изложить, чем была для меня Россия раньше и потом, я перескочила через ряд лет, которые одарили меня встречами с людьми из других стран. Частично это можно объяснить и тем, что многообразие личных контактов и индивидуальных впечатлений об отдельных людях мешает свободному повествованию. Каждый миг ты чувствуешь, что стоишь перед выбором: то ли забирать так глубоко и широко, чтобы затрагивалось нечто более существенное, чем то, что лежит на поверхности, то ли писать бегло и подвергать себя опасности, когда скороспелые умозаключения и случайные высказывания выливаются в ту «болтовню о людях», из которой возникает большинство наших поспешных суждений. Когда речь идет о человеке, который тебе по-настоящему близок, изложение сжимается как бы само по себе. Ибо что значит человеческая близость вообще? Встреча, которая открывает нам совсем иные, нежели мы ожидали, возможности, одно из самых драгоценных свиданий за пределами точно установленных границ. То, о чем действительно можно рассказать, частично поддается изложению с помощью тех непрямых выразительных средств, в которых присутствуют элементы поэзии: по сути дела, то, что пережито, – уже поэзия.

Поэтому о первых примерно двенадцати годах после моего девичества я повествую здесь без особой словоохотливости, хотя именно это время заполнено встречами с множеством людей; само время хотело, чтобы мимо меня проходило много людей; так мне открылись глаза на некоторые тогдашние события и личности, хотя моя склонность к замкнутости сводила меня не с многими сразу, а вела от человека к человеку, от диалога к диалогу. Сначала мы поселились в холостяцкой квартире моего мужа в берлинском Темпельхофе, а позже переехали в дом под вязами, расположенный в саду. Прекрасно задуманный по внутреннему устройству, он попал в скандальную историю, не выдержал конкуренции, и мы сняли его по очень низкой цене. Мы заняли всего лишь бельэтаж и жили в таких огромных комнатах, что они напоминали мне о родительском доме и о школе танцев; громадная библиотека; две обшитые деревом комнаты с выходом на террасу, с большими встроенными шкафами, так что нам пришлось подкупить совсем немногое к уже имевшейся у нас мебели. Мы жили на южной окраине города, с Берлином темпельхофцев связывала только конка за десять пфеннигов; зимой фургон ставили на полозья; но на таких «окраинах» в то

время жили многие из тех, с кем мы потом познакомились; среди первых был Герхард Гауптман, живший в Эркнере с женой Марией и тремя сыновьями – Иво, Экке и Клаусом; там же обитали Арне Гарборг и прелестная белокурая Хульда Гарборг. Во Фридрихсхагене снимали жилье Бруно Вилле, Вильгельм Бельше и братья Гарты, за которыми потянулся целый хвост – Ола Ханссон-Мархольм, Август Стриндберг и другие, с которыми мы потом время от времени встречались в берлинском «Черном поросенке». Я все еще помню о первой встрече у нас, на террасе, которая была вся в цветах, а затем в столовой, вижу Макса Хальбе, еще по-юношески стройного рядом со своей маленькой невестой, походившей на Психею, вижу Арно Хольца, Вальтера Лейстикова, Джона Генри Маккея, Рихарда Демеля, которого раздражала его собственная фамилия, и других. Драма Гауптмана «Перед восходом солнца» всех объединила, сделала единомышленниками; в неудержимо рвущемся на литературную арену натурализме, вопреки вызванному им возмущению, уже содержалось то, что потом обеспечит победу новому направлению – чуть заметная лирическая тональность, соседствовавшая с поучительным характером пьесы и шокировавшими бравого бюргера грубостями.

Если до моего замужества Пауль Рэ сознательно избегал общения с литературной богемой, и мы вращались почти исключительно в кругу ученых, то теперь все переменилось. Литература как таковая еще не особенно меня интересовала (русские писатели привлекали меня в ином, не литературном плане), я плохо в ней разбиралась, в том числе и в предпредшествовавшем периоде приукрашивания действительности, против чего как раз и разгоралась война. Особенно умилял при этом человеческий фактор: радостный подъем, возбужденная молодежь и уверенность, что утверждать новые воззрения можно, только не избегая самых мрачных, самых неприглядных тем. Эта волна захватила и писателей старшего поколения, что подтверждает пример Фонтане; не устояли перед ней и Фриц Маутнер, с которым я часто беседовала, когда мы перебрались из Темпельхофа в Шмаргендорф, откуда по лесной тропинке было недалеко до его утопавшего в зелени дома. Немало способствовала распространению нового движения слава Генрика Ибсена в Германии; мой муж познакомил меня с его еще не переведенными сочинениями – он читал их мне, на ходу переводя на немецкий. Появились обе «Свободных сцены», одна выдержала испытание временем, во главе все более успешной борьбы наряду с Ибсеном и Гауптманом встал Брам. Моя многолетняя дружба с Максимилианом Харденом, соучредителем

«Свободной сцены» (она длилась вплоть до мировой войны), завязалась еще в эту пору. Наряду с Герхардом драматургией увлекся и другой Гауптман, Карл, до того занимавшийся философией; активно участвовали в новом движении Отто Хартлебен и душевная Моппхен; молодежь утрачивала интерес к научной карьере и обращалась к литературе и политике; я вспоминаю о многочасовых встречах и спорах по вечерам с Ойгеном Кюнеманом, который тогда еще вроде бы не собирался посвящать себя высшей школе. Из тех, кто был мне близок, самую сильную человеческую привязанность я испытывала к Георгу Ледебуру; приветствую его этими строками.

К тому времени мы сняли в Шмаргендорфе, у самого леса, другое жилье, такое до смешного маленькое, что долго могли обходиться без прислуги; потом – в 1894 году – я ехала в Париж, где в одно время с немецким переживало и подъем точно такое же французское литературное движение; это было в ту пору, когда убили Карно, все вокруг интересовались политикой, я сама слушала в парламенте выступления Мильерана и Жореса. Подобно «Свободной сцене», в Париже расцвел «Theatre libre», «Свободный театр» Антуана и «Oeuvre» Люнье-По; в драме Гауптмана «Вознесение Ганнеле», которую в Берлине поставила будущая жена Шлентера Паула Конрад, Антуан доверил главную роль бедной, бледной девушке, подобранной им на улице, и привел ее к громкому успеху (и все же поэзию Гауптмана разрушал перевод на французский, например, когда Ганнеле говорит о запахе немецкой сирени: «Je sens le parfum de lilas» – «Я чувствую запах лилий»). Самое захватывающее воплощение образа Ганнеле я видела позже в России; захватывающее, потому что выдержанное в духе наивно-византийской стилизации Неба и Спасителя.

В Париже: та же напряженная литературная жизнь, те же интересы, к которым выжидательно относились только писатели старшего поколения. В новом издательском доме, который основали Альберт Ланген и датчанин Вилли Гретор, я познакомилась с Кнутом Гамсуном, походившим тогда на греческого бога; скандинавская колония была многочисленна еще до того, как к ней присоединился Альберт Ланген, войдя после женитьбы в семью Бьёрнсонов. Вначале я жила вместе с одной своей подругой, датчанкой Терезой Крюгер. Особенно живо я вспоминаю Германа Банга, который жил на улице Сен-Жермен и прямо-таки лучился внутренней энергией, хотя давно уже был болен; в моей памяти почти дословно остался разговор с ним, когда он с ужасом рассказывал, как трудно дается ему начало работы над художественным произведением, как он время от

времени подбегает к окну в надежде, что там найдется какое-нибудь отвлечение. При этом буквально бросалась в глаза неотвратимость, с какой то, что лежит в самой глубине, вытеснено в бессознательное, в процессе творчества снова превращается в нечто, над чем доминирует страх перехода в другое состояние. Зная, что Керман Банг страдает хроническим заболеванием позвоночника, я после встреч с ним не могла избавиться от невольного чувства, что и телесно он находился в процессе постоянного продуктивного освобождения от страха перед переходными состояниями. Кто чувствует, насколько переполнены воспоминаниями его книги (такие как белый дом» и «Серый дом»), тот имеет представление и о сопутствовавших их созданию страхах…

Повсюду меня сопровождал крохотный спутник – черный, как смоль, пуделек, еще щеночек, Toulou, не помню, откуда он у меня появился. Когда поздней ночью я возвращалась в свою комнату, он свечой вставал в корзинке, в которой спал, и как бы вопрошал с пронзительным недоверием, где это я так долго шаталась без него. Днем он доставлял мне неприятности своим пристрастием к «яблокам, которые падают недалеко от лошади» (этот великолепный вариант известной поговорки принадлежит писательнице, к сожалению, так и не напечатавшей ни одной книги). Мой пуделек Toutou выскакивал на улицу, по которой в ту пору не неслись бесконечной вереницей автомобили, а катили поистине блестящие экипажи, и, схватив широко разинутой пастью чересчур большое для него «яблоко», убегал от меня прыжками, точно черная блоха, по широким площадям и улицам, пока не находил укромное местечко и не съедал свою добычу; я мчалась за ним следом, и не я одна: нередко и прохожие с криком «O lala, le joli Toutou» бросались за ним, чтобы, как ему без сомнения казалось, отнять у него «яблоко»…

Чаще всего я встречалась в Париже с Франком Ведекиндом. Но это потом сначала, когда мы познакомились у графини Немети и только под утро закончили наши яростные споры в ресторане напротив «Les Hailes», центрального рынка, где подавали луковый суп, между нами случилось типично ведекиндовское недоразумение, о котором он с трогательной откровенностью, ничуть не щадя себя, рассказывал друзьям (и которое я, литературно обработав, использовала в одной из своих новелл). Его, скорее всего, можно было встретить в кафе Латинского квартала, где он по ночам сочинял на липких мраморных столиках стихи – предвестники позднейших «Песен висельника», зал пел жалобную: «Всего лишь я старую тётю прирежу как свинью, а вы, кровожадные судьи, губите юность».

У Ведекинда и впрямь были руки мясника, но в то же время он обладал удивительно нежным, даже сверхнежным характером. Тогда, почти без денег, без своего угла, он сидел в обществе гризеток (в ту пору их, правда, так уже не называли), не теряя надежды, что кто-нибудь из них после закрытия кафе и приличного заработка великодушно пригласит его к себе, даст крышу над головой, утром угостит завтраком и хоть немного позаботится о нем. Но Франка Ведекинда можно было встретить и в других местах, куда он не без гордости – и к моей великой радости – водил с собой и меня и где проводил долгие вечера: в крохотную комнатку в беднейшем квартале Парижа, к женщине шестидесяти лет, вдове Георга Веерта, которая страдала водянкой, и которой он приносил старательно подобранный ужин.

То, что в Париже я пристрастилась заглядывать в ночные заведения в Латинском квартале, обычно в сопровождении одного-двух знакомых из журналистской братии, объясняется тем, что девицы легкого поведения все еще интересовали меня двумя своими качествами: во-первых, непосредственностью и свободой поведения, что не только придавало их профессии легитимный характер, но и сближало со всеми людьми, а это исключало презрение к себе, стыд и тайную робость; кроме того, большинство из них выделялись присущими всем французам, идущими из глубины веков культурой, тактом, манерами, которые делают интересной беседу даже со случайно встреченными людьми из «низших слоев» этой страны. То же можно сказать и о «высших» сферах: нигде женщина не может быть так уверена в том, что столкнется с утонченной вежливостью, даже если ночью, в самом неподходящем месте, она встретится с совершенно незнакомым мужчиной; парижанин умрет со стыда, если окажется как кавалер не на высоте положения или не дай Бог ложно истолкует возникшую ситуацию. Наряду с этим впечатлением прочно запомнилось еще одно: что этим можно и ограничиться, что к более глубокому знакомству тебя уже не тянет, что древняя устоявшаяся культура поведения и так выпячивает наружу слишком много внутреннего содержания и то, что еще осталось, необходимо сберечь для себя – впечатление, прямо противоположное тому, которое сложилось у меня в России. После Берлина Париж был первым зарубежным городом мирового значения, в котором я долго жила, и каждое впечатление, полученное здесь, резко отличалось от прежних: в неописуемости волшебства своей древней культуры он напоминал мне снова и снова меняющую праздничный наряд прекрасную женщину, уже утратившую блеск юности, но

сохранившую драгоценные украшения, неподвластные ни ржавчине, ни моли…

Бывая в Лувре, я познакомилась на улице с одной женщиной, о которой мне хочется рассказать. Это была пожилая эльзаска, мадам Цвиллинг; чтобы прокормить своего больного сухоткой спинного мозга сына, она продавала цветы. Конца однажды вечером я навестила обоих в их маленькой комнатке, оказалось, что мадам Цвиллинг без сознания принесли с улицы, а заодно и большие корзины весенних цветов, которые она брала для продажи на парижском рынке. Я решила тут же продать их вместо нее. Со мной была баронесса Софи фон Бюлов, она с радостью согласилась мне помочь. Мы быстренько переоделись в эльзасские наряды мадам Цвиллинг и к половине третьего ночи с выгодой продали около хорошо знакомого мне кафе в Латинском квартале последние цветы. И здесь я тоже обратила внимание на то, как безупречно вели себя мужчины с двумя новенькими цветочницами, выделявшимися своим высоким ростом (Софи была еще выше, чем я) на фоне маленьких, изящных француженок; нас даже участливо расспрашивали о жизни. Только днем позже мы узнали от журналистов, что совершенно случайно не провели ночь в следственной тюрьме по причине отсутствия лицензии на торговлю…

В Русской колонии я познакомилась с молодым врачом, эмигрантом, который после убийства Александра II был заподозрен в соучастии, сослан в Сибирь, где провел четыре года на каторге, но в конце концов сбежал и очутился в Париже. Савелий, человек богатырского здоровья (своими белыми как снег зубами он мог выдернуть из стены даже крепко вбитые гвозди), перезнакомил меня со всей русской колонией. Когда полгода спустя в разгар лета нас стала терзать невыносимая жара, мы с Савелием сели в дешевый поезд для отпускников, битком набитый пассажирами, и отправились искать спасения в Швейцарию; за Цюрихом поднялись не так чтобы очень высоко в горы и поселились в альпийской хижине, где и жили, питаясь молоком, сыром, хлебом и ягодами. Всего лишь несколько раз мы спускались в Цюрих, чтобы утолить волчий голод наперед оплаченными двойными порциями еды в каком-нибудь ресторанчике (так я случайно встретилась с земляком – Вильгельмом Бельпе, как в Париже с Хартлебеном и с Моппхен). Однако главную роль в моих воспоминаниях об этой альпийской идиллии играет один маленький эпизод: гуляя босиком – а по мягким лужайкам мы всегда ходили только так, – мы неожиданно попали на склон, заросший ежевикой. Уже начало темнеть; мы не знали, как быстрее выбраться оттуда, каждый шаг сопровождался

криками боли, как, впрочем, и стояние на месте. Заливаясь слезами, мы выбрались наконец на райскую мураву альпийского луга.

В те минуты, когда мы оказались в зарослях ежевики, во мне всплыло нечто похожее на образ былого – или на воспоминание о былом: словно когда-то я уже изведала это чувство выпадения из состояния блаженства после грубого столкновения с действительностью. Внезапный миг осознания того, что когда-то уже с тобой было. Пока мы со смехом смахивали слезы с лица и вытирали израненные в кровь ноги, чувство это снова исчезло, когда Савелий сказал: «Нам тоже следовало бы просить у ежевики прощения, не только ей у нас за то, что мы топтали ее ногами, а надо бы целовать». «Да, – неожиданно для себя подхватила я, – разве не в этап недоразумении заключено все зло мира?» Смех и ярость поочередно толкают нас к новым дерзаниям, к ежевичным полянам нашей судьбы.

По прошествии нескольких недель мы снова жили в суматохе неповторимо прекрасного города, удивляя всех своим загаром, который тогда еще не вошел в моду. Вплоть до поздней осени я встречалась еще со многими людьми, получила массу впечатлений, стараясь никого и ничего не пропустить; но пришел час, когда однажды ночью что-то (или кто-то) подтолкнуло меня – пора уезжать. Никогда не могла я себе объяснить, почему и в какой момент это случается ведь, кажется, я с открытой душой, всеми своими чувствами радуюсь тому, что меня окружает. Но что-то незваное вселяется в меня, я становлюсь нетерпеливой. Я вряд ли могла бы припомнить что-нибудь достойное упоминания о той ночи, когда я возвратилась в Германию, если бы совсем недавно на руки мне не попалось письмо, написанное 22 сентября в Шмаргендорфе и само по себе малоинтересное (его сохранила одна близкая мне тогда писательница):

«Прошло уже больше трех недель с тех пор, как я выехала из Парижа, – неожиданно для себя самой и для других, тайком ни с кем не простившись. Точно так же, никого не предупредив, я вернулась глубокой ночью домой. Оставила багаж на вокзале, выехала из Берлина и пешком, по пустынной дороге, через сумрачные поля пришла в деревню. Прогулка получилась прекрасная и необычная; осыпающиеся листья и порывы ветра напоминали об осени, но ничего не было видно, и это мне нравилось; в Париже еще стояло «лето». Деревня спала, только в доме у моего мужа ярко горела лампа, которой он пользовался, чтобы доставать книги с высоких полок. С улицы в окне виднелась его голова. В двери, как всегда, торчал ключ от английского замка, я тихонько вошла. Но тут в комнате громко

залаяла Лотта, наша собака: она узнала меня по шагам; кстати, за время моего отсутствия она превратилась в настоящего заплывшего жиром квадратного монстра, и только мы находим ее такой же очаровательной, как и прежде… В ту ночь мы так и не ложились; когда рассвело, я развела огонь на кухне, начистила чадившую лампу и ускользнула в лес. На деревьях еще висели толстые хлопья тумана, в соснах мелькнула и скрылась пятнистая косуля. Я сняла туфли и чулки (чего в Париже не сделаешь) и радовалась как могла…».

Единственной женщиной, с которой в те годы я тесно сдружилась, была баронесса Фрида фон Бюлов; я познакомилась с ней еще в Темпельгофе. В 1908 году преждевременная смерть – Фриде только-только исполнилось пятьдесят – отняла ее у меня. Когда я была в Париже, она как раз вернулась из немецкой Восточной Африки и остановилась у меня. Ее ждала сестра, та самая Софи Бюлов, с которой я продавала цветы мадам Цвиллинг. На следующий год она приезжала ко мне в Россию – проведать мою маму и моих братьев; особенно крепко она подружилась с Евгением. Из ее братьев и сестер трое трагически погибли: двое младших братьев и уже добившаяся известности как писательница Маргарита фон Бюлов – она попала под лед, спасая утопающего ребенка. По своему характеру Фрида тяготела к меланхолии, несмотря на по-мужски сильную волю и жизненную энергию, которая в юности, во времена успехов Карла Петерса, и привела ее в Восточную Африку. Она сама называла эту смесь активности и вялости плодом ее причастности к древнему, усталому роду, который закончит тоской по покорности и самораспаду.

Вместе мы провели с ней несколько месяцев в Вене в 1895 году, когда я вторично уехала из Петербурга за границу. Через посредство берлинского литературного кружка нам был уже знаком соответствующий кружок в Вене; с Артуром Шницлером я еще в Париже обменялась несколькими письмами; он и теперь был мне ближе других; позже меня потянуло от него в другую сторону. Вокруг него, пользовавшегося тогда большим успехом благодаря своей драме «Флирт», группировались Рихард Беер-Гофман, Хуго фон Гофмансталь, тогда еще совсем молодой, в гусарском мундире, Феликс Зальтен и другие, с которыми, помимо прямого общения, мы почти каждый вечер встречались, кажется, в Грин-Штайдле; там я изучала интеллектуальную жизнь Вены в ее самых характерных проявлениях. В очень хорошем большом отеле рядом с собором Св. Стефана я занимала две крохотные, премило обставленные комнатки в верхней пристройке; благодаря тому, что мы собирались там для наших

бесед, эти комнатки, как и я сама, вошли в первую книгу Петера Альтенберга «Как я это вижу». Если сравнивать царившую в Вене атмосферу с другими городами, то она, как мне кажется, характеризовалась в ту пору взаимопроникновением интеллектуальной и эротической жизни: то, что в другом месте отличает бонвивана от интеллигента и человека труда, здесь подавалось с таким изяществом, благодаря которому «прелестная девушка» или просто милашка поднималась до уровня возвышенной эротики. И наоборот, даже самое глубокое погружение в духовные занятия и верность профессиональному призванию растворялись в манере держаться, придававшей известную легкость даже предельно целеустремленному честолюбию, рядом с соперничеством между любовью и тщеславием оставалось место для мужской дружбы, которая принимала особые, как мне казалось, изысканные формы. Способность к такой дружбе в высшей степени отличала Артура Шпицлера: быть может, это была самая светлая сторона его жизни, отмеченной склонностью к легкой меланхолии. Быть может, именно он меньше страдал бы от душевного разлада, если бы интеллектуальная утонченность каким-нибудь демоническим образом увлекла его или в сторону любви, или в сторону честолюбия.

Несколько в стороне держался Петер Альтенберг – но только не в дружбе. В его обществе не думалось о том, кто перед тобой – мужчина или женщина, он казался существом из иного мира. Известная французская поговорка «Mon verre est petit, mais jeboisdans mon verre» («Мой стакан маленький, но я пью из своего стакана») применительно к нему будет верной, если ставить ударение не на «маленький», а на «мой»: новое и привлекательное в маленьких рассказах Альтенберга заключено в некой загадочности, в том, как он не дает взрослеть детям того и другого пола, придавая инфантилизму своих персонажей художественную своеобычность, которая в полной мере находила выражение и в его собственной оригинальности.

Позже, приезжая в Вену, я останавливалась у Марии фон Эбнер-Эшенбах, куда впервые меня привел Фриц Маутнер; последний раз я была там в 1913 году, за несколько лет до смерти Марии, о которой мне сообщила ее племянница, графиня Кински. Я никогда не забуду часы, проведенные с ней, – покой и, как бы поточнее выразиться, основательность, исходившие от нее. Ее внешность рождала впечатление, будто она нарочно скрючивается, а ее серые, бесконечно мудрые глаза нарочно смотрят снизу вверх, чтобы никто не догадался, какого масштаба человек сидит перед ним; будто ей хотелось, чтобы осталось

тайной то, что, тем не менее, беспрестанно находило выражение в задушевности на интонации, словах, взглядах, в мимике… От нее исходили тайна и в то же время откровение – и сохраняли устойчивую теплоту тайного присутствия…

Прелестные окрестности Вены манят за город, на волю, и время от времени дружеское общение перемещается туда. Летом того же 1895 года я встречалась с друзьями в Зальцкаммергуте и в Инсбруке. Глубоко и до конца пережить что-то я могу, только если моими спутниками при этом будут леса, поля, солнце или даже горы, в которых я к тому времени бывала еще очень мало, если не считать поездок в детстве с родителями по Швейцарии. Зимой я снова приехала в Вену, а летом следующего года даже впервые в жизни взбиралась по склонам австрийских гор. Особенно живо вспоминается одно долгое путешествие, которое я предприняла с одним из моих друзей; выйдя из Вены, мы прошли пешком но Каринтии, через Высокий Тауэрн и спустились к Венеции; во время этого неспешного путешествия но прекрасным местам в память мою врезалось одно мимолетное впечатление: с наступлением темноты мы должны были спуститься к глетчеру Ротпольден, но сильно задержались в пути, потому что, как нас предупредили, внизу появился бешеный бык, для укрощения которого вместе с нами вышли, вооружившись чем попало, взбудораженные вестью жители горных селений. Через несколько минут мы и впрямь увидели его: на скале, отделенной от нас пропастью, он стоял, высоко подняв голову и повернувшись к нам в профиль, – символ мощи и одержимости, «богоравный» в древнем смысле этого слова, и оттого, что мы были в полной безопасности, он производил такое надолго запоминающееся впечатление. Его образ преследовал меня и тогда, когда мы, уже в полной темноте, оставшись одни на глетчере, ощупывали камни и подавали голос в надежде, что где-нибудь, точно в сказке, обнаружится горная хижина…

Если говорить о впечатлениях от ландшафтов, то самые очаровательные из них я получила, когда три весны подряд ездила из Италии через Германию на север. Никогда еще юг не переполнял меня таким ликованием, как в те годы, когда он вдруг расцветал весной, как в мае, хотя стояла еще зима: вопреки очевидности происходящего это давало повод думать о неисчерпаемости природы, которая, стоит ей только захотеть, может устроить любое время года, и о том, что, будь у человека более дифференцированная и глубокая способность к восприятию, ему открылось бы бесконечное множество проявлений жизни Земли… Насытившись таким образом югом, я легче приспосабливалась к среднеевропейскому климату,

флегматичность которого иногда раздражает, особенно когда дождь сменяется снежной крупой, а сережки на деревьях никак не могут до конца раскрыться; я блаженно радовалась фиалкам и в хорошем смысле «сентиментальному» настроению; насытившись весной, сердце становится терпимее, переполняется глубоким восторгом… О третьем пережитом тогда, с детства любимом раннем северном лете мне почти нечего сказать. Долгожданное, оно расцвело на короткий срок в полную силу, неотвратимо заявляя о себе белыми ночами. Когда поздним вечером услышишь голос кукушки или песню возвращающихся с нолей крестьян, в голову приходит непривычное: «Торопись закончить дела, северное лето короткое», тогда чувствуешь, как за борением ночи и дня исчезает движение времени, стирается разница между утром и вечером…

Дома меня очень скоро снова охватило желание быть одной, в любое время года, да и нужно было прилежно работать, писать статьи для газет и рецензии на театральные постановки. Только изредка долгие прогулки по полям приводили меня к заснеженному или утопающему в молодой зелени дому баронессы Анны Мюнхгаузен-Койдель, родственницы Фриды Бюлов, которая обитала здесь в двух комнатах, обставленных прекрасной, доставшейся в наследство мебелью и полных разных экзотических безделушек из Восточной Африки. В начале 1896 года мы задумали посвятить некоторое время Мюнхену; мне встретилась еще одна женщина, с которой я очень близко сошлась и сохраню эту близость до конца (мы и по возрасту довольно близки), до нашей смерти.

Елена фон Клот-Хайденфельдт, прибалтийка из Риги, остановилась с матерью и сестрой на некоторое время в Юнхене; прочитав «Крейцерову сонату» Толстого, она написала хорошую книгу и назвала ее «Женщина», у нее было много знакомств среди немцев, и год спустя она вышла за архитектора Отто Клишенберга; когда я, много-много позже, приехав из Гёттингена, провела несколько месяцев в Берлине, дом Елены Клингенберг стал моим домом. Елена и Фрида отличаются друг от друга, как загорелый юноша от блондинки. (Еще блондинистее были муж Елены, фрисландец, и их дети.) Если жажда деятельности гнала Фриду в дальние края, то Елена хотела, чтобы на ее надгробии было высечено библейское изречение: «Мне выпала судьба – любить», уделом ее была любовь к мужу и детям. С Фридой мы жили в постоянных пререканиях из-за несходства наших характеров, но я переносила эти пререкания легче, чем она, желавшая, чтобы мы всенепременно были схожи во всем. С Еленой меня, без сомнения, связывало какое-то скрытое,

глубинное родство душ, что, однако, не мешало мне идти в жизни совершенно иными путями, чем те, по которым шла она; это ничего не значило, ее любвеобильная натура принимала меня такой, какая я была, даже в тех случаях, когда я вела себя отвратительно…

В Мюнхене не было такого широкого круга общения как, например, в Париже или Вене, да и широкие, красивые улицы города казались более пустынными, они будто призывали людей собираться на них. Здесь царил не «мюнхенский» дух местных уроженцев, а общность всех народностей Германии; вечера в узком кругу проходили в семьях, где были интересовавшиеся литературой люди, точно в укромном швабингском уголке. Из знакомых – а там бывали Макс Хальбе, Франк Ведекинд, люди из издательства, – мне больше других был по душе земляк Елены, с которым она, правда, не была знакома, – тогда уже начавший терять зрение граф Эдуард Кайзерлинг; а во время очередного посещения Мюнхена, годы спустя, я была страшно огорчена, узнав, что его уже нет в живых. С другими – Эрнстом фон Вольцогеном Михаэлем Георгом Конрадом – я имела лишь беглые беседы, из молодых чаще всего с Якобом Вассерманом, чье замечательное сочинение «Евреи из Цирндорфа» уже обеспечило ему всеобщее признание. Особенно тесно я сдружилась с Августом Энделем, занимавшимся художественными промыслами, позднее он стал директором Академии искусств в Бреславле и оставался верен нашей дружбе до конца. Пусть это воспоминание будет прощальным словом болезненному, уже в молодые годы боровшемуся со своими недугами человеку! Это память о незабываемой близости и незабываемых ценностях.

На какую-то театральную постановку, где мы с Якобом Вассерманом договорились встретиться, он привел друга, которого хотел мне представить. Это был Рене Мария Рильке.

С Райнером

В начале 1897 года мы с Фридой фон Бюлов поселились в так называемых «княжеских домах» на улице Шеллинга в Мюнхене; там я однажды получила по почте стихи, автор которых себя не назвал. По почерку первого письма, полученного от Рильке, с которым на одном театральном вечере нас познакомил Якоб Вассерман, я узнала автора. Он прочитал мне и другие свои стихотворения, среди них «Видения Христа»; судя по замечаниям, высказанным в том первом письме, он относился к циклу весьма негативно. Хотя некоторые из стихотворений были опубликованы в журнале «Гезельшафт», да и кое-кто еще читал их, но годы спустя нам так и не удалось обнаружить этот цикл, несмотря на все старания издательства «Инзель», так что можно считать его утерянным.

Прошло совсем немного времени, и Рене Мария Рильке превратился в Райнера. Мы с ним покинули город, чтобы подыскать себе жилище поближе к горам, еще раз сменили наш домик в Вольфратсхаузене, в котором вместе с нами жила Фрида. Во втором доме, пристроенном прямо к склону горы, нам предоставили комнаты над коровником; на фотографии, которую мы там сделали, должна была фигурировать и корова, но она так и не выглянула из оконца хлева, перед которым стоит старая крестьянка; непосредственно над крышей видна дорога, ведущая в горы; над домом развевается наш флаг из грубого полотна, на котором большими буквами написано «Луфрид», его изготовил Август Эндель, который вскоре подружился с Райнером; он же помог нам с помощью красивых одеял, подушек и разной утвари уютно устроиться в трех смежных комнатах. Ближе к осени ненадолго приехал мой муж, а с ним Лотта, наша собака; иногда к нам наведывался Якоб Вассерман, бывали и другие; еще в первый домик захаживал приехавший из Санкт-Петербурга один русский (правда, недоброй памяти), который давал мне уроки русского языка.

Совсем еще молодой Райнер, к тому времени уже написавший и опубликовавший поразительно много стихотворений и рассказов, издававший журнал «Вегвартен», по виду отнюдь не производил впечатления будущего большого поэта, каким он вскоре станет, но резко выделялся своеобычностью характера. При этом с самого начала, уже с раннего детства, он предвидел неотвратимость своего поэтического призвания и никогда в этом не сомневался. Но именно потому, что он страстно и непоколебимо верил в свою мечту, ему даже в голову не

приходило переоценивать уже созданное им; оно всего лишь служило побуждением к новым попыткам самовыражения; техническая сторона дела, мучительные поиски нужного слова почти неизбежно вызывали у него переизбыток чувств, надежду, что преодолеть формальное несовершенство поможет «чувствительность». Эта» чувствительность» не согласовывалась с его характером; она, можно сказать, диктовалось чисто технической необходимостью. Кроме того, она была следствием огромной уверенности в своем даре, в том, что он способен утвердить себя в поэзии. Когда, например, бывший с ним в дружеских отношениях Эрнст фон Вольцоген в одном из писем в шутку обратился к нему «Пречистый Райнер, непорочная Мария», то это не означало, что душевному строю Райнера были присущи женственно-детские черты, наоборот, он отличался своеобразной мужественностью и какой-то несокрушимо нежной властностью. Этому не противоречило даже его скорее робкое отношение к чужим и потому опасным для него влияниям: оно, по мнению Райнера, имело касательство не столько к нему самому, сколько к тому, что было ему вверено, и что он призван был оберегать. Это обеспечивало свойственную ему неразрывность мысли и чувства, взаимопроникновение того и другого: человек в нем легко и быстро растворялся в художнике, а художник – в человеке. Где бы ни охватывало его поэтическое вдохновение, оно было целостным, совершенно не умевшим расщепляться на составные части, не ведавшим сомнений, колебаний и разлада (если не считать недовольства еще незрелой поэтической техникой). Райнеру в ту пору было в высокой степени присуще то, что называют «мужской грациозностью» – утонченность и одновременно простота, неистощимость гармонических проявлений его существа; он тогда еще мог смеяться, мог просто и бесхитростно верить, что жизнь не обойдет его своими радостями.

Когда сегодня вспоминаешь более позднего Рильке, уверенного в своем уже приближающемся к совершенству искусстве, то становится абсолютно ясно, почему это стоило ему душевной гармонии. Без сомнения, если смотреть вглубь, во всяком творческом процессе кроется такая опасность, такое соперничество с жизнью – для Райнера особенно непредсказуемое и грозное, так как его дарование было направлено на то, чтобы в лирике выразить невыразимое, силой своего поэтического дара высказать» несказанное». Поэтому позже с ним случилось так, что саморазвитие с одной стороны, и развитие творческой гениальности с другой не поддерживали друг друга, а шли в почти противоположных направлениях; притязания искусства и

полнота человеческого бытия тем сильнее вступали в противоречие, чем совершеннее были его художественные творения. Этот трагический поворот вызревал в нем все более неотвратимо. <…>

Мы познакомились на людях, потом предпочли уединенную жизнь втроем, где все у нас было общим. Райнер делил с нами наш скромный быт в Шмаргендорфе, недалеко от Берлина, у самого леса, откуда по лесной дороге за две минуты можно было дойти до Паульсборна, и когда мы шли босиком по лесу – этому научил нас мой муж, – косули доверчиво подходили к нам и тыкались носом в карманы пальто. В маленькой квартирке, где кухня была единственным – если не считать библиотеки моего мужа – помещением, приспособленным для жилья, Райнер нередко помогал готовить, особенно когда варилось его любимое блюдо – русская каша в горшке или борщ; он отвык от изысканности в пище, а ведь раньше страдал от любых ограничений и жаловался на нехватку денег; в синей русской рубахе с красным орнаментом он помогал колоть дрова и вытирать посуду, при этом мы без помех занимались нашими делами. А занимались мы многим; усерднее всего он, давно уже погрузившийся в мир русской литературы, изучал русский язык и русскую культуру, особенно после того, как мы всерьез задумали большое путешествие в Россию. Какое-то время наши замыслы совпадали с планом моего мужа предпринять поездку в Закавказье и Персию, но из этого ничего не вышло. Незадолго до Пасхи 1899 года мы втроем отправились в Петербург, к моим родным, а затем в Москву; только год спустя мы с Райнером объездили Россию и познакомились с ней более обстоятельно.

Хотя мы не сразу наведались в Тулу, к Толстому, фигура писателя стала для нас как бы въездными воротами в Россию. Если раньше Достоевский раскрыл перед Райнером глубины русской души, то теперь именно Толстой, в силу мощи и проникновенности его таланта, воплощал в себе – в глазах Райнера – русского человека. Эта вторая встреча с Толстым в мае 1900 года состоялась уже не в его московском доме, как во время первого нашего путешествия, а в имении Ясная Поляна, расположенном в семнадцати верстах от Тулы. По-настоящему узнать его можно было только в деревне, не в городе, не в комнате, даже если она обставлена по-деревенски и отличается от других покоев графского дома, даже если хозяин непринужденно выходит к гостям в собственноручно заштопанной блузе, занят каким-нибудь рукодельем или за семейным столом ест щи да кашу, в то время как другим подают более изысканные блюда.

На сей раз самое сильное впечатление у нас осталось от

короткой прогулки втроем. После вопроса Райнеру «Чем вы занимаетесь?» и его немного робкого ответа «Лирикой» на него обрушилось темпераментное обличение всякой лирики. Но выслушать Толстого со всем вниманием нам, когда мы выходили со двора, помешала любопытная картина. Какой-то крестьянин, пришедший издалека, седой старец, приблизился к нам и, без устали сгибаясь в поклонах, почтительно приветствовал другого старца, Толстого. Он не просил милостыни, а только кланялся, как и многие другие, часто приходившие издалека с одной только целью: еще раз увидеть свои церкви и свои святыни. Пока Толстой, не обращая на него внимания, шел дальше, мы напряженно прислушивались к словам того и другого, но глаза наши были прикованы только к великому писателю; каждое движение, поворот головы, малейшая заминка в быстрой ходьбе «говорили»: перед нами Толстой. Луга ранним летом были усеяны цветами – высокими и яркими, какие встречаются только на русской земле; даже под сенью деревьев слегка заболоченная почва была усыпана необыкновенно большими незабудками. Так же глубоко, как эти яркие цветы, врезалось в мою память и то, как Толстой, не переставая живо и поучительно говорить, вдруг стремительно наклонился, раскрытой ладонью – так обычно ловят бабочек – схватил и сорвал пучок незабудок, крепко прижал их к лицу, точно собираясь проглотить, и затем небрежно уронил на землю. Все еще едва слышно звучали доносившиеся издалека почтительно-приветственные слова мужичка; из их потока можно было разобрать только: «…что довелось тебя увидеть…». И я присоединила к ним такие же благодарные, приветственные слова: «…что довелось тебя увидеть…».

Должно быть, именно эта встреча дала повод Райнеру с преувеличенным вниманием всматриваться в каждого встречного мужичка, ожидая увидеть в нем сочетание простоты и глубокомыслия. Порой его ожидания оправдывались. Так однажды при осмотре Третьяковской картинной галереи с нами рядом оказалась группа крестьян. Перед большой картиной «Стадо на пастбище» один из них недовольно произнес: «Подумаешь, коровы! Мало мы их видели?». Другой лукаво возразил: «Они потому и нарисованы, чтобы ты их увидел… Ты любить их должен, вот почему они нарисованы, вишь ты. Любить должен, а тебе, вишь ты, нет до них дела». Вероятно, удивленный своим собственным объяснением, мужичок вопросительно посмотрел на стоящего рядом Райнера. Надо было видеть, как отреагировал Райнер. Он внимательно посмотрел на мужичка и ответил на своем плохом русском: «Тебе знать это».

Наконец мы очутились там, где, как казалось Райнеру, ему на

каждом шагу будет попадаться то, ради чего тоска пригнала его сюда, – среди людей и ландшафтов на Волге. Мы плыли вверх по течению, с юга на север, и сошли на берег за Ярославлем. Здесь нам довелось пожить некоторое время в русской избе. Пересаживаясь с парохода на пароход, мы нашли ее в глубинке – новую, пахнущую смолой, с перекрытием из неошкуренных березовых бревен; молодая пара построила ее рядом с уже потемневшими, задымленными жилищами, а сама отправилась на заработки. Скамейка вдоль стен, самовар, широкий тюфяк, набитый специально для нас свежим сеном, – вот и вся обстановка; в пустом сарае рядом – еще охапка соломы в качестве постели, хотя крестьянка из соседней избы чистосердечно заверила, что и первый тюфяк достаточно широк для двоих… Мы несколько раз сходили на берег с пароходов, плывущих по Волге. Бывали в гостях у точно таких же крестьян и даже гостили у крестьянского поэта Дрожжина в его избе. Несколько книг можно было бы написать о том, что мы увидели в России. Нам казалось, мы провели здесь годы, хотя на самом деле это были дни, недели, едва ли месяц. Но все слилось в один час и в образе одной избы – и виделось нам каждый раз одно и то же: как мы ранним утром сидим на пороге, кипящий самовар стоит на полу, а мы весело наблюдаем за курами, которые с таким любопытством подходили к нам от соседних сараев, точно хотели лично предложить яйца к завтраку.

«Изба, встреченная нами в пути», и в самом деле символизирует то, что было для Райнера землей обетованной, Россией. Одна из этих изб, сложенных из березовых бревен, с резным щипцом, стены которой времена года, сменяясь, насыщали чистыми естественными красками, то темными, то светлыми, и стала тем «местом», «местом отдыха», о котором ему мечталось перед началом путешествия, которое ему потребовалось, чтобы свершить свое. Здесь обитал народ, чьим уделом были нужда и нищета, но в характере которого покорность соединилась с уверенностью в своих силах; Райнер тоже изначально чувствовал в себе настоятельное внутреннее призвание, подчинявшее себе все, что бы с ним ни происходило. Уделом, судьбой этого народа был «Бог». Не небесный вседержитель, облегчающий тяготы жизни, а ближайший покровитель, оберегающий от окончательной гибели, – русский бог Лескова, обретающийся «в левой подмышке».

Райнер воспринял его, этого бога, не из истории и не из религии своего нового окружения; он сам привносил в русскую историю и русское богословие свои самые сокровенные конфликты и молитвы, пока крик о помощи и хвалебная песнь не

слились у него в поэтическом лепете, в слове, которое, как никогда до этого, было молитвой.

И пусть нас не вводит в заблуждение то обстоятельство во, что в книгах «Часослова», присутствует не один и тот же заимствованный у русских и лишенный внутренней противоречивости Бог, что наряду с отношением к Богу как к оплоту смирения и веры существует и другое отношение, когда человеку кажется, что он сам становится творцом, создателем божества и берет его под свое покровительство. Высокомерие здесь не вносит раздор в его благоговение, скорее, это благоговение столь велико, что готово вобрать в себя всю гамму чувств – от трепетного смирения до самой нежной нежности, которые сливаются в едином порыве благочестия, глубже всего в этом бесконечно трогательном стихотворении:

Птенцом большеглазым упал из гнезда ты
И так беспомощно разъяты
Твои жалкие коготки
(А руки мои тебе не велики).

И каплю па пальце несу из колодца,
Кладу ее на клювик птенца
И слышу: готовы у нас расколоться
от страха сердца.

И чуть выше:

Частица к частице в тебе теснится.
По крохам строим и дрожь по рукам.
Но чья же тебя завершит десница.
О храм?!

Здесь еще ничто не говорит о внутреннем разладе; ничто не говорит о пределе кроткого благочестия, поэзия еще не выходит за границы этого круга: Бог вырастает из нее под напором всех человеческих чувств, которые в безбоязненном доверии позволяют Богу рождаться из самого себя; он – порождение их гармонии, их непостижимого строя.

Ибо в благоговении и молитве берет свое начало все, что доходит до последней границы наших осознанных чувственных представлений; что становится глубочайшей внутренней сосредоточенностью; что объединяет все экстазы (далее если их истоки коренятся глубоко, в половой сфере или в желании

произвести выгодное впечатление) в одном неведомом центре. Ибо что лежит в основе слова «Бог» даже у «верующего» человека? Прикосновение к тому, что еще доступно нашему сознанию, но уже не поддается осознанным мотивациям, – больше не воспринимается как «мы»; хотя это самое «мы» вытекает оттуда и охотно поддается искушению назвать и объективировать средоточие собственной сущности.

Но «молитва» – как воплощение испытываемого благоговения – уже предполагает высокую степень душевного смятения, внутреннее ликование, отречение или восхваление. Если на такой высокой ноте это становится поэзией, непроизвольным свершением искусства, поражающего выразительной силой, тогда происходит нечто глубоко парадоксальное, когда причина и следствие меняются местами, и при этом второе, поэтическое высказывание, уже не совпадает с переживанием, а свое освобождение, избавление от тяжести чувства превращает – хотя бы на самую малость – в самостоятельный порыв и автономную цель.

Уже в самом начале работы над «Часословом», во время первой поездки в Россию, полностью прояснились истоки; однако только вторая поездка окончательно выявила внутреннюю проблематику, так как только тогда Райнер мог беспрепятственно отдаваться – во время наших поездок и встреч с людьми – восприятию России как он ее видел. Вспоминая об этом времени, он горько жаловался, что глубина полученных впечатлений таки не воплотилась до конца в новых «молитвах»; а случилось так потому, что он воспринимал их в молитвенном экстазе: молитва и исполнение совпадали, становились единым целым, осуществляясь в конкретной действительности; а то, что не находило воплощения в художественном произведении, задуманном или уже законченном, как никогда до этого, реализовывалось в самом Райнере, в необычном облике, который он принимал в такие минуты; во всяком случае, он каждый раз избегал робких поисков окончательного слова, которое бы само себя утверждало и закрепляло. Он разрывался между нетерпеливым желанием без оглядки отдаться во власть впечатлений и образов (которые уже сами по себе были для него наличным опытом), между жаждой с головой погрузиться в каждое из них, пока оно не воплотится до конца в поэтическом высказывании, – и противоположным желанием: не упустить ничего из того, что происходит в его душе в момент творчества. Часто у него бывало такое состояние: с одной стороны, он, казалось, стоит как вкопанный на одном месте, вслушиваясь в тишину, но в то же время он выглядел как человек, который

приник к окну скорого поезда, стремительно несущегося от селения к селению, от ландшафта к ландшафту, не оставляя надежды вернуться к ним еще раз. Годы спустя он говорил как о чем-то невозвратно утраченном о провалах памяти, сравнивая их с тем, что бывает с воспоминаниями самого раннего детства, и тихо, сдержанно цитировал:

Пошли ему, великий Исполин,
Все неразумие и дали детства,
Верни ему туманное наследство,
Предчувствие и чудо малолетства,
В дремучем царстве сказок и былин.

С этим было связано тайное желание «еще раз пережить свое детство»; желание оживить его в воображении, вопреки всему тому, что заставляло его в ужасе отшатываться от многих воспоминаний. Но за пределами этого ужаса, еще до какого бы то ни было разлада с собой, самое раннее детство пребывало в состоянии изначальной, питаемой изнутри защищенности. Только из нее мог вырваться мощный порыв к творению, которое ему предстояло создать:

Я верю во все, что не высказать словом.
Мечтам сокровенным я волю даю.
Открыт я навстречу неведомым зовам,
Однажды войдут они в душу мою.
Прости мне, о Боже, мою дерзновенность.
Коль дерзким кажусь я, позволь мне не быть —
Молитвой воздам…

В любом случае, даже если между человеком и художником возникало соперничество в вопросе о том, как распределить свои силы, для Райнера объектом его искусства был сам Бог, то есть то, что выражало его отношение к потаенной основе собственной жизни, к сокровеннейшему ядру по ту сторону всех осознаваемых границ личности. И это в то время, когда «религиозному искусству» уже не рекомендовалось и тем более не предписывалось расхожими религиозными представлениями создавать общеобязательные образы. Можно даже сказать так: величие Рильке-поэта и его трагическая судьба восходят к необходимости изливать душу созданному его воображением беспредметному Богу. Какие бы порывы ни обуревали верующего человека, его жажда творческого самовыражения все же не

затрагивала другую всемогущую силу – вездесущность Бога, которая сама по себе не нуждается в человеке. У Райнера эта беспредметность творца почти ничего не меняла в его готовности к самопожертвованию, в его самообладании, но задачу художника, человека искусства он видел только в том, чтобы проникнуть в сокровенные глубины своего человеческого естества; если решить ее не удавалось, возникала угроза самому этому естеству, которое составляло одно целое с объектом творчества.

Отсюда становится понятным и тот «страх», который выпал на долю Райнеру: это не просто робость утонченной натуры в связи с утратой предметности в жизни и не просто присущая всем истинным художникам растерянность вследствие утраты творческой силы, не поддающейся диктату воли, а абсолютный страх перед Ничем, которое поглотит тебя, которому подвластно все, даже то, что управляет нами и всем в этом мире. Когда Райнер решал для себя проблему Бога, в нем сталкивались два начала – человеческое и поэтическое: человеческое – как живая непосредственность воспринимаемого бытия, поэтическое – как усилие это бытие запечатлеть в художественном акте. Таким образом Райнер с самого начала, как, впрочем, и впоследствии, воспринимал вставшую перед ним проблему Бога как искушение или испытание веры, которая, стремясь к небесным высям, по необходимости отрывала его от земной стихии, питавшей его творчество подпочвенными соками:

И ангельский познал я час,
Где свет исчез, в Ничто умчась.
А в глуби – темный Бог.

И ангелы – последний вздох
В Господней вышине,
Что из ветвей их создал Бог —
Им предстает во сне.
И в черномощь его они
Не верят так, как в свет,
И Сатана к ним в оны дни
Сбежал и стал сосед.

В державе света он царит,
И черное чело
Поверх небытия парит.
Он молит мрака,
А горит, как уголья, светло.

(Я привожу цитаты из книг «Часослова» прежде всего потому, что в них содержатся как ранние, так и поздние стихотворения, Райнер в наших разговорах даже называл их «недатированными»; точно так же он отзывался о романе «Записки Мальте Лауридса Бригге» и об «Элегиях».)

Этим местоположением люциферовского начала отмечена исходная точка жизненного пути ангела в поэзии Райнера. Вопрос чрезвычайной важности! В приведенном выше стихотворении ангелы еще кажутся невинными, они словно подзывают знаками к себе Бога, невольно сокращая непосредственную дистанцию между ним и собой; они напоминают огромное множество крылатых существ, толпящихся в прихожей Всевышнего. Но этим дело не ограничивается: пребывание в ангельской сфере все больше и больше зависит от творческой потенции, от их благорасположения. Успокоение в Боге уступает место аудиенции у ангелов. А ближе к концу эта проблематика оборачивается таким образом, что Бог и ангел могут меняться местами.

Этот поворот можно зримо проследить на одной из линий общей картины, особенно там, где Райнер обращается к понятию нищеты; это слово присутствует в названии третьей книги «Часослова». Первоначально нищета означала для человека и поэта Рильке свободу от второстепенных дел, необходимую для восприятия существенного, означала истинное богатство и драгоценное достояние, ибо:

Ведь нищета – великий свет нутра.

Об этом говорят хотя бы уже попытки Рильке упростить повседневный быт, отвыкнуть от поглощающих время и силы притязаний. Но уже тогда часы творческой активности сменялись периодами упадка и возникал вопрос, не является ли какая-то часть его собственного существа непродуктивной, не находится ли она во власти тривиальных интересов, отвлекающих от главного. Поэт еще слышит, как крылатые ангелы там, наверху, поют хвалу Вседержителю, но он самый бедный из них и стоит внизу, он уже не захвачен целиком присутствием вездесущего Бога, для которого нет бедных и богатых даров, а есть только детская непосредственность бытия как такового. Из всего самого ужасного, нашедшего воплощение в творчестве Райнера, – описания нищеты беднейших из бедных во время его первого пребывания в Париже – подчеркнула именно эта сторона дела, даже и в тех случаях, где речь идет только о материальной нужде. И хотя в тот год его тоже изнурял страх перед материальной

нуждой, но он был прямым отражением той душевной нужды в нем, которая доводила его до отчаяния. Даже в деталях (письма ко мне, затем включенные в роман «Записки Мальте Лауридса Бриггс») оно обретает величие истинной поэзии, так как там заклейменный нищетой в безнадежном страхе вопиет к Господу; а Бог таких не любит. Набрасывая жуткие картины нищеты, болезни и скопления нечистот, Райнер изображал не стороннего сострадающего, а собственные душевные муки и страхи, нашедшие выражение в письме «Мне часто приходилось вслух убеждать себя, что я не из их числа». Его идентификация со всеми неудачниками и отверженными такая же искренняя и полная, какая, вероятно, бывает только у художника в период творческого кризиса, то есть она сама обретает силу творческого акта. Когда я, потрясенная этими картинами, написала ему в Ворпсведе, насколько они опровергают его жалобы на творческое бессилие, он ответил, что если это и так, то, значит, он научился «создавать вещи из страха», из страха смерти.

Исходя из этого, понимаешь то чувство избавления, которое Райнер испытал благодаря встрече с Роденом: Роден подарил ему; художнику, реальность как она есть, не искаженную субъективными переживаниями, научил его на собственном примере соединять в одно целое продуктивность творчества и продуктивность жизни; единственная заповедь и единственный закон Родена – toujours travailler, «всегда трудиться» – подвигли Райнера «создавать вещи» не из страха, чтобы скрыться в них от него, а широко открытыми глазами вглядываясь в объект «моделирования». Райнер научился работать, деловито отдаваясь творчеству, отвлекаясь от того или иного душевного состояния, и благодаря этому даже его, так сказать, обыденная жизнь, посвященная терпеливому овладению техникой, мастерством, проходила под знаком беспрекословного подчинения искусству. Он давно уже мечтал о том, чтобы добиться этой цели, еще в кругу художников из Ворпсведе; еще тогда, когда встретил Клару Вестхоф, ученицу Родена, до того, как она стала женой Райнера, и до того, как он лично познакомился с Роденом. После переезда в Париж его страх еще раз достиг высшей точки, и только тогда пришло спасительное решение: совсем перебраться к Родену, принадлежать только ему, лишь для других быть его личным секретарем, а на самом деле – безгранично преданным другом. Собственно говоря, именно Роден подарил ему весь предметный мир.

И не только предметный мир, но и мастерское овладение порождениями фантазии, чудовищными, отвратительными, жуткими искажениями реальности. То, перед чем когда-то в

страхе отступала его болезненная сверхчувствительность, теперь рассматривалось им, все еще не избавившимся от страха, с определенной художественной дистанции: накопленные наблюдения получали выход в лишенном страха творческом акте. Почему и этому он научился под присмотром Родена? Потому что принципиальная сдержанность Райнера по отношению к реальному миру, объекту его наблюдения, требовала от него чудовищного напряжения душевных сил, которые целиком сосредоточивались на соответствующем предмете, а не на самом наблюдателе. Накопленный эмоциональный заряд, не получая выхода, мог бы, наверно, сотни раз отомстить за себя художественно неполноценными искажениями изображаемого, обрушивая на него свой привычный переизбыток – того момента, когда у чувства появлялась такая художественная возможность, перед ним открывалась новая сфера наслаждения. Титрованные описания парижской нищеты оставались еще наполовину неосознанными. (Нельзя, тем не менее, отрицать, что этот прирост творческой свободы еще больше приближал его к той опасной точке, когда в часы самоуничижения и отчаяния он на самого себя обрушивал «месть, адресованную объекту».) В написанном позднее письме (1914) Райнер называет художником того, кто видит свою задачу не в том, чтобы давать выход всему, чего он не смог осилить в себе, а в том, чтобы использовать это в вымышленном и прочувствованном, «в вещах, зверях, а также – почему бы и нет? – если в этом возникает необходимость, то и в чудовищах». К этому можно было бы добавить: и в своей собственной «чудовищности».

Прямо-таки чувствуешь, каким антиподом Родена, при всей преданности ему, является Райнер по своему дарованию – а ведь только это дарование создало его образ Бога.

Само собой разумеется, что и личные их отношения не могли долго оставаться неизменными, хотя разлад в них внесло, по всей видимости, наполовину случайное недоразумение. Превосходное здоровье и мужская сила Родена способствовали тому, что он, отдавая все силы творчеству, в то же время умел расслабляться, непринужденно радоваться жизни, что, в свою очередь, тоже шло на пользу искусству. У Райнера творческая активность предполагала пассивную преданность и такой абсолютный взгляд снизу вверх на мастера, что, когда он приближался к творческой установке Родена, резкий перевод эмоциональной избыточности приводил благодаря такому целительному внутреннему противоречию к ужесточению художественной дисциплины.

Дело доходило даже до влияния на поэтические воплощения образа Бога в «Часослове»: продолжение «Книги о нищете и

смерти» на берегу южного моря, в Виареджо, куда Райнер сбежал от парижских ужасов, несет на себе следы этого воздействия. Темная, земная мощь Бога, еще скрывающая и оберегающая в себе зародыш, вздымается, так сказать, до гигантских скальных нагромождений, в которых, задыхаясь в сплетении рудных жил, прячется человек – почти как в давнем детском сне Райнера, когда ему привиделось, что его раздавливают каменные громады. И все же – молитвенный призыв, обращение к Богу:

> Но это Ты: дави, ломай, круши,
> Правь строгий суд тяжелою десницей,
> исторгни стоны из моей души.

Лик Бога обретает строгость, как и лик ангела, как лицо мастера, который требует свершений. Далее картина меняется: громада гор выдавливает, рождает из себя этюд из страха и свершений человека; так в родовых схватках рождается дитя. Тем самым боль – да и смерть, если она наступает, – санкционируется, во всяком случае, лишается налета банальности. Исполняется давнее желание Райнера:

> Пусть каждый тихо встретит смерть свою.

Смерть становится плодом творчества, становится подлинным призванием. Но для него это непроизвольно концентрировалось в понятии искусства: трата жизни на художественное произведение.

Из-за этой концентрации на творческом свершении Райнера преследовал острый страх смерти – особенно в часы и периоды пониженной продуктивности, – страх банальной гибели по какой-нибудь причине. «Подлинная» смерть, какой он себе желал, получала известный оттенок утешения благодаря тому обстоятельству, что поэт все же присутствует в ней как некая самость. Подчинив себя «свершению», Райнер, несмотря на все усилия, не находил исходную точку, которая соединяла бы в себе жизнь и смерть, хотя именно это и соответствовало его истинной сущности – достичь состояния «тотальной нищеты», которая полностью довольна собой, без остатка растворена в себе, поскольку богата тем, что присутствует во всем.

Тем не менее в своем творчестве Райнер благодаря Родену достиг несомненных вершин художественного мастерства. Кто знает «Новые стихотворения», далеко оставляющие позади себя «Книгу образов», не говоря уже о ранней лирике, тот ощутил это самым непосредственным образом. Но не только лирика

поднялась до высот технического совершенства благодаря отходу от сверхчувствительности и предопределенности: большое прозаическое произведение Райнера, роман – «Записки Малые Лауридса Бригге» – тоже обязан своим возникновением Родену. Хотя его оценивают как одно из самых субъективных излияний поэта, это не совсем так; отношение Райнера к предмету изображения, которым был он сам, в нем объективнее, чем когда бы то ни было ранее. Мальте – не портрет, а использование автопортрета художником, чтобы подчеркнуть свое отличие от героя. Даже когда в образе Мальте виден автобиографический материал (но только не в описании детства Мальте), это делается для того, чтобы научиться быть другим и удержаться от гибели, к которой пришел герой. В письме из замка Дуино Райнер писал в 1911 году, оглядываясь на то время (я цитировала это письмо в своей книге о Рильке):

«Быть может, эту книгу надо было писать так, как поджигают мину; быть может, мне следовало отскочить от нее как можно дальше в тот момент, когда она была готова. Но я все еще слишком привязан к собственности и не могу позволить себе безмерной нищеты, хотя именно она и есть, вероятно, мое истинное призвание. Из тщеславия я вложил весь свой капитал в безнадежное предприятие, но, с другой стороны, его истинная ценность могла проявиться только в этой потере, а потому, помнится, то долгое время, когда писался роман о Мальте Лауридс Бригге, казалось мне не столько упадком, сколько необычно мрачным вознесением в заброшенный, отдаленный уголок неба».

Нельзя без волнения вообразить себе, с каким мужеством исповедальной деловитости работал Райнер над этим произведением; он точно призывал свой переизбыток лирической силы отбросить в сторону крылья и держаться земли; поэтому там, где это ему удается, он в процессе творчества упивается чистой радостью, и одновременно радостью новой (об этом он говорил мне с почти детским удовлетворением еще в Париже, во время работы над романом). Казалось, будто самому автору в его отношении к Мальте досталась малая толика Бога из этой книги, «Бога, не способного на ответную любовь», но только для того, чтобы лучше познать Бога и – выражаясь со смиренно-грубой определенностью – его планы относительно нас. Речь с тех пор шла уже не о том, чтобы добиваться в любви взаимности, а об абсолютной жертвенности; возвращение блудного сына оказывается недоразумением религиозного чувства, которое стремится к своей цели, вместо того чтобы, воздев глаза к небу, отказаться от нее и раствориться в полноте бытия. Только так

беднейшие снова становятся самыми богатыми, униженные – благословенными и причисленными клику святых.

Поэтому, прежде чем в более поздние годы он взялся за сочинение элегий и сонетов к Орфею, ничто так сильно не вдохновляло Райнера, как изображение таких вот богатых нищих: судьба, находившая воплощение не только в художественных произведениях, но и в жизни; взять, к примеру, любовные истории женщин, которые, как бы трагически они ни кончались, вели все же скорее к последнему самозабвению, чем к истинному самообладанию; он называет их уже в первой элегии: «Тех воспевай, что зависть в тебе вызывали, брошенных, ибо милее они, чем те, что в любви обрели утоленье» (см. об этом также «Сонеты с португальского», «24 сонета Луизы Лабе», «Письма монахини» и т. д.).

В годы работы над элегиями, когда Райнер присылал мне фрагменты из них, в нем рождались схожие слова, которыми он, наряду с любящими, восторженнее славословил человека дела, чем певца, человека искусства. Например, в четверостишии из бывшей тогда в работе Шестой элегии, озаглавленном «Фрагмент»:

> Ибо принесся герой сквозь жилища любви.
> Сердце каждым ударом своим поднимало героя.
> Отвернувшись уже, он стоял на исходе улыбок – иначе.

Из того времени, когда Райнер после завершения романа о Мальте принял решение ничего больше не писать и как бы перевести творчество в реальность жизненной позиции, я почти дословно помню один разговор с ним, состоявшийся летним днем в нашем саду. Речь зашла о том, как часто любящий черпает свою любовную силу в заблуждении, а его творческая энергия выступает тем мощнее и плодотворнее, чем меньше она оправдана объектом его чувства. Из Райнера рвались слова, близкие к отчаянию: да, нужно работать и работать, этим извержением творческой энергии из себя самого, подобно тому любящему, ты доказываешь себе, что ты высшее творение человечества! Но то, что создает художник, выходит за пределы конкретной личности, направлено на бытие в целом, именно из него черпает художник свое вдохновение. В любой момент, когда оно отвернется от него, где окажется он – он сам – вместе со своим творчеством? Ибо то, о чем мы говорим, ничего не знает о художнике и не нуждается в нем, только он нуждается в этом, чтобы хоть что-то узнать о себе.

В глубине этого отчаяния с жуткой достоверностью

обозначилось то, в какой мере самое сокровенное в Райнере, даже при абсолютной творческой удаче, вело его поверх художественного произведения и поэтического слова к переживанию, к откровению бытия – только там он обретал мир и успокоение. Он пребывал в отчаянии – до очередного прилива вдохновения. Вот откуда его восторженное восклицание: «Они появились – появились!», когда из него стали спонтанно изливаться элегии, – он имел в виду не только стихотворения, но и само непостижимое бытие, в котором то, что он создавал, и сущность мироздания, милостиво вошедшая в него, сливались в единое целое. Ненарочито строгий лик ангела, требовательно взиравшего на него сверху вниз, снова превращался в безликого Бога, в которого дитя человеческое входит как в лицо жизни вообще. В моменты творческого подъема то и другое представляют собой единую неразделимую реальность; то, что громко взывало к ангелу, который не обязан внимать мольбам, который может только демонстрировать свое величие и внушать нам ошеломляющий ужас, становилось одновременно и умиротворением в Боге, чье бытие зиждется на невозможности внимать мольбе.

Подверженность тела болезням уже с ранних лет неимоверно усложняла спокойное ожидание часов творческой продуктивности; такого рода ожидание непросто изнуряло тело, оно провоцировало его на истерические реакции. То есть вместо постепенного созревания готовности к творческому труду в нем обострялась повышенная телесная чувствительность, раздражительность, вызывая боль и даже приступы, втягивая в болезненное состояние весь организм.

Иногда в шутку, но чаще с отчаянием и досадой Райнер называл это «ложной творческой активностью», а свое тело – «обезьяной духа». Физические недуги влекли за собой недуги душевные; например, когда его что-нибудь неудержимо отвлекало, вынуждало забывать о том, что он должен жить своей подлинной жизнью, а потом – или уже в процессе этих увлечений – он осознавал их как «обезьянничанье». Болезненнее всего это воспринималось тогда, когда речь шла о настоящих подарках судьбы, когда его окружали вниманием, добротой, обожанием, дружбой, что в изобилии выпадало на его долю. Тогда он горько жаловался, что подлинный Райнер в нем воспринимал это только как некий дурман, как отвлечение, как обманчивую тягу к наслаждению и бесполезной трате сил, а не к благословенному участию в деятельной жизни его сокровеннейшего ядра.

На мой взгляд, сюда же относятся и занятия оккультными, спиритическими вещами, которым иногда предавался Райнер,

сверхчувственными толкованиями снов, которые он затем возводил к образам такой полноты значения и знания, с какой его неизбывная тоска тщилась идентифицировать его самого. В благополучные времена он отзывался обо всем этом резко отрицательно, даже со злостью.

Больше всего меня потрясало, что и тогда, когда он для своих учеников – учеников в буквальном смысле слова – становился наставником и другом, кое-что от терзавшего его подражания оставляло след и в нем самом. Он не просто казался наставником и помощником, он был им, но одновременно с непоколебимой уверенностью воспринимал свое поведение как проекцию того, к чему он сам тщетно стремился в глубине души. Тогда эта мучившая его тоска становилась навязчивой; точно так же как его давняя мечта стать «деревенским врачом» и помогать больным и бедным подкреплялась желанием предвосхитить, сделать наглядным свое собственное исцеление, прежде чем самому поверить в чего.

В раздвоении между воспринимаемым как милость священным даром творчества и подражающей ему, «дразнящей» его необходимостью демонстрировать наличие этого дара и таится, собственно, злой рок Райнера. Его нельзя путать со схожим безобидным поведением людей высокой этической требовательности и моральной добропорядочности, когда в часы слабости они предаются мнимым легким порокам, чтобы потом осудить себя за них; все это остается на уровне ухудшения или улучшения их душевного инвентаря. У Райнера это исполнено такой беспощадной серьезности, что выходит за пределы этики, – если допустить, что ее заповеди и запреты выходят за рамки учения о предопределении. Самое ужасное в неотвратимости судьбы Райнера заключалось в том, что она даже не давала ему возможности раскаяния. То, что вдохновляло его на творческие свершения или принимало в свои тихие хранительные глубины, было в той же мере навязчиво-судьбоносным, как и то, что толкало его к ложной активности или к пустоте пассивного расслабления. Он уже в юности находил объяснение этому обстоятельству в том, что он такой, какой есть, что характер его сложился «еще до рождения» и с самого начала был наделен всеми теми изъянами, которые вопреки отчаянному сопротивлению Райнера постоянно побуждали его заново оценивать себя. В наибольшей мере эти качества были присущи его матери. Самые резкие слова об этом мучившем его всю жизнь обстоятельстве он находит в письме от 15 апреля 1904 года, после одного из становившихся все более редкими свиданий со мной. В этом письме ко мне он пишет: «Моя мать приехала в Рим

и все еще находится здесь. Я вижу ее только изредка, но – ты это знаешь – каждая встреча с ней вызывает шквал воспоминаний. Когда я вижу эту одинокую, утратившую связь с реальностью женщину, которая никак не может состариться, я вспоминаю, как еще ребенком старался убежать от нее подальше, и с глубоким страхом чувствую, что после многих лет мне так и не удалось уйти от нее на достаточное расстояние, что где-то внутри меня все еще живут жесты, являющиеся второй половиной ее чахлого образа жизни, обрывки разрозненных воспоминаний, которые она носит в себе; тогда я и ужасе от ее рассеянной набожности, от ее своенравной веры, от всех этих искажений и извращений, с которыми она связала свою жизнь, сама пустая, как платье, призрачная и жуткая. Вспоминаю, что я все же ее дитя; что в этой ни с чем не связанной, выцветшей стене какая-то едва заметная, оклеенная обоями дверь послужила мне входом в этот мир (если такого рода вход вообще может ввести в мир…)!».

Каким бы безмерно личным делом это ни представлялось, оно все же не должно восприниматься как абсолютно личное, ибо именно насилие утрированием возводит смысл суждения в область сверхличного, почти мистического, от чего Райнер старался избавиться. Когда однажды, годы спустя, мы встретились втроем в Париже, Райнер потом никак не мог понять, почему его мать не вызвала во мне с первого взгляда отвращения, а показалась всего лишь изрядно сентиментальной. В его отвращении присутствовало отчаяние, вызванное тем, что он был вынужден видеть в ней свое собственное злорадно искаженное отражение: в своем религиозном чувстве – суеверие и ханжество, в творческом воодушевлении – тщеславную сентиментальность; любое его неприятие характера матери лишь в очень слабой степени отражает ту смертную тоску, с какой он не принимал его признаков в себе самом, когда самое сокровенное и благословенное в нем, точно призрачная оболочка, напоминало, что она и есть он сам – извечное материнское лоно, рождающее пустоту…

Когда я представляю себе людей со стихами Райнера в руках – не таких, что лениво глазеют на них, как иные глазеют на картины в музее, – меня пронзает мысль о том, какое побуждение в них воплощено: побуждение к сотворчеству и совместной радости. Мне кажется, что и они, глубоко сопереживающие, не могут не воздать должное жизни, беды и борения которой вылились в это великолепие, ожившее в душе. Более того, можно утверждать, что художник сам в них воздает должное всем пережитым им несчастьям: не подлежит сомнению, что торжество элегий было для него праздничным утверждением своего

отчаяния. Тайна в том, что его концепция искусства не отрицает взаимосвязи с ужасным и прекрасным. То, что происходит за непроницаемой завесой, происходит под знаком призыва, прозвучавшего еще в «Часослове»:

Пусть будет все: и красота, и ужас!

Кто видел, как это происходит, тому глубоко в душу запало знание о неизбывности пронзительного одиночества Райнера, которое лишь на горных вершинах только на мгновение щадящим жестом закрывало ему глаза, чтобы он не видел пропасти, в которую прыгал. Кто видел, как это происходит, тот не пытался вмешиваться. А лишь взирал – бессильно и благоговейно.

Добавление. 1914 год

Апрель, наш месяц, Райнер, – месяц, предшествовавший тому, что свел нас вместе. Я много думаю о тебе, и это не случайно. Ведь в нем, в апреле, заключены все четыре времени года, с его по-зимнему леденящим воздухом и жарким сиянием солнца, с его напоминающими осень бурями, которые покрывают влажную землю не блеклыми листьями, а шелухой бесчисленных лопнувших почек, – разве в этой земле в любой час не таится весна, о которой узнаешь еще до того, как ее увидишь? И прежде всего та тишина и самоочевидность, которые соединили нас как нечто, что существовало всегда.

Если я много лет подряд была твоей женой, то только потому, что ты был для меня первым истинным, единым и нераздельным в телесной и человеческой сути, не подлежащим сомнению фактом самой жизни. Я могла бы слово в слово повторить тебе то, что ты сказал мне, признаваясь в любви: «Только ты для меня истинна». Так мы стали супругами, еще до того, как стали друзьями, и подружились мы едва ли по выбору, а, скорее, по причине глубинно свершившегося родства. Не две половинки стремились слиться в единое целое: поразительное единство в страхе осознало себя в единстве непостижимом. Мы были как брат и сестра – но как в доисторические времена, когда инцест еще не стал святотатством.

Наше единение, безоглядное и желанное, если употребить твое же выражение, и в светлые, и в темные времена года должно было выдерживать испытание неизменно тяготевшими над нами обстоятельствами, о которых запрещалось говорить даже на языке поэзии. Но имели ли мы право уничтожать то, о чем сказано в стихах? Мы это сделали. В них, по сравнению с более поздними стихами, было так много черт твоей чистой человечности, только человечности, которая еще не утвердилась окончательно в твоем творчестве, лишь позднее достигшем совершенства, что они были достойны сохранения, так как обладали достаточными художественными достоинствами. Много месяцев спустя, в шмаргендорфском «лесном умиротворении», когда ты в состоянии непродолжительного творческого подъема писал «Корнета», тебе бросилось в глаза сходство написанного с созданными ранее строфами, которые мы уже не могли сравнить с текстом «Корнета», но которые, надо полагать, все же уступали ему в мастерстве воплощения темпераментной непосредственности.

Странным образом я не понимала и не принимала твоей

ранней лирики, несмотря на ее музыкальность (отсюда твои слова мне в утешение: «Когда-нибудь ты скажешь об этом так просто, что я все пойму»). Было только одно исключение – в том числе и в лирике, адресованной мне, – когда ты оставил тот листок в моей комнате. Это был как раз тот случай, когда я, правда, не касаясь стиха и ритма, могла бы сказать тебе то же самое. Разве не звучала «в нашей крови», соединив нас, музыка непостижимого, которую мы прочувствовали всей глубиной нашего телесного естества, вплоть до мельчайших и сокровеннейших мгновений нашего бытия?

По моей просьбе эти стихи нашли свое место в «Часослове», написанном годы спустя:

Гаси мне взор: узрел, Тебя смогу.
Замкни мне слух: Твое услышу слово.
К Тебе я и безногий побегу,
Без языка молиться буду снова.
Сломай мне руки: и тогда Тебя
Всем сердцем, словно в кулаке, зажму.
А остановишь сердце – ум воспрянет.
И если ум повергнешь Ты во тьму —
Носить Тебя и крови мне достанет.

Мне было досадно, что я не могла в полной мере прочувствовать чрезмерный лиризм твоей поэзии в большинстве ее проявлений; более того, когда я ненадолго уехала из Вольфсратсхаузена в Халлейн на условленную ранее встречу, мне не понравилась чрезмерная восторженность твоих ежедневно настигавших меня писем, запечатанных блекло-голубой печатью. Пока непредвиден! Первый забавный случай не превратил все это для меня в веселое воспоминание. Ты хотел напомнить о нашей маленькой комнатке на первом этаже: чтобы уберечься от любопытствующих взглядов с улицы, ты обыкновенно закрывал окно деревянным ставнем, и только вырезанная в нем звезда пропускала в комнату немного дневного света. Когда мне доставили эту почтовую открытку – без слов, всю покрытую чернилами, но с многозначительной светлой звездочкой сверху, – я тут же восторженно бросилась искать на темном небосводе предполагаемую вечернюю звезду, благоговейно влюбленная в такого подлинного «Рене Марию»!

И все же, если отвлечься от забавной стороны этой истории, она обнаружила значительное непонимание между нами. Мы задумались над этим, когда я, вернувшись домой, рассказала тебе о случившемся. Мы задумались о звездах, которые появлялись на

небе и смотрели на нас с высоты не поэтически и не прозаически: их реальность блаженно-веселая и глубоко серьезная – не поддавалась полному выражению каким бы то ни было способом.

Мы тогда много экспериментировали с черными чернильными линиями; от этой привычки мы только постепенно отвыкли тем летом. Из наполовину или полностью уничтоженного сохранился в пожелтевшем конверте десятилетия спустя вот этот отрывок.

Твое письмо мне с ласковой отрадой
Напомнило: меж нами далей ист.
Мне красота Твоя – небес награда,
Ты ветер мая, влажный шепот сада,
Июньских троп вечерняя прохлада,
Неведомых еще ничьей ходьбе:
И я в Тебе.

Последующие годы ты с полным правом называл «нашим пребыванием в России» – хотя там мы еще не успели побывать. Оглядываясь на то время, я именно в этом обстоятельстве нижу нечто магическое. Только оно позволило нам погрузиться в то, что было для нас Россией. Погрузиться в тщательное изучение и терпеливую подготовку – в ожидании, что скоро (время поездки еще не было определено) все это обернется нашими личными воззрениями. Нам казалось, что кое-что мы уже можем трогать руками; кое-что уже мощно вторгалось в твою поэзию, но еще без полной уверенности: желанное превращение в символ могло – как подарок – произойти только под русским небом, могло стать осязаемым образом того, что громко призывало в тебе освободиться от избытка чувства; это был зов, обращенный к «Богу» (самое короткое из всех наименований этого чувства) – как к месту, к образу-пространству, в котором безмерность присутствует в самой незначительной вещи и где то, что томит поэта, находит выражение в гимне, в молитве.

Вначале переживания России еще не находили воплощения в слове; они получали разрядку в самих впечатлениях, такое постоянно случалось и потом; мы как бы переживали приобщение к мифу, часто сталкиваясь с самыми заурядными происшествиями. То, что мы испытали тогда вместе, было бы трудно объяснить кому-то другому. Например, то, что произошло под закатным солнцем с тем лугом в деревне Креста-Богородское; или с отпущенным в ночное конем, с деревянной чуркой, привязанной в наказание к ноге; или с тем местом позади Кремля, где мы сидели, слушая звон самых больших колоколов,

хотя они звучали глухо: колокола в России остаются неподвижными и тогда, когда язык внутри них приводится в движение.

Мгновения таких совместных переживаний нередко пожинают восприимчивость, кажется, будто извне в душу входит какое-то событие, которое объективно несет в себе то, обычно воспринимаешь из себя самого. Это придает соответствующим впечатлениям невиданную надежность и прочность, и совершенно ничего не меняло то обстоятельно, что для меня за воспринимаемым стояло нечто иное, чем для тебя. Для меня это была простая радость свидания, тем более отрадная, что мой ранний отъезд за границу долго не позволял мне вернуться на русскую родину. Для тебя творческий прорыв, поворот в поэтическом развитии в известной мере тоже включал в себя нечто более раннее, глубоко ожидаемое всем твоим существом, от чего последующие события тебя только оттеснили, лишили твою поэзию ее изначального предмета.

Через много лет, по поводу прямо противоположному, пребывая в робком ожидании прилива творческой активности, ты иногда рассказывал мне о своем желании присовокупить к каким-то вещам или моментам нечто «мифическое», нечто «мистическое», чтобы попытаться оглушить себя, избежать боли или страха. И тогда ты вспоминал о наших совместных впечатлениях как об утраченном «чуде», которое, тем не менее, было! Оно происходило с нами так естественно, без всякой мистики, в самой что ни на есть реальной действительности, что просто не могло не напоминать нам о себе снова и снова. Оно же, Райнер, таилось и в твоих веселых словах, когда мы во время нашего продолжавшегося неделю плавания вверх по Волге однажды едва не сели на разные пароходики, и ты утешил меня таким образом: «Мы и на разных судах плыли бы в одном направлении – вверх по течению, потому что нас ожидает один и тот же исток».

Когда я вспоминаю об этом, мне хочется все рассказывать и рассказывать тебе и себе эти истории, до конца жизни: из них узнаешь впервые, что такое поэзия – не стихотворчество, а живая жизнь, это и есть настоящее «чудо». Непроизвольно рождавшееся из тебя как молитва для того, кто был рядом с тобой, должно было остаться незабываемым откровением до конца дней. Оно проникало в нее, с чем бы ты ни соприкасался; в телесном твоем прикосновении открывалось божественное: а детское самозабвение, с каким ты познавал этот мир, придавало каждому часу, каждому дню глубочайшую законченность. Наше время было заполнено до предела – стремлением воздать должное

каждому впечатлению, или, выражаясь иначе, оно было несказанно праздничными каникулами.

Первоначально нас совершенно не тревожило то, что жажда творчества может прийти в противоречие с тем, что должно было это творчество питать, – самозабвенным накоплением впечатлений. Можно ли беспокоить молящегося просьбой, чтобы он выразительнее сложил руки во время молитвы? Разве в своих руках, даже неловко сложенных, не держит он Бога так же уверенно, как и самого себя? Когда от твоего внимания впервые ускользнуло то, что происходило «снаружи», что было частью твоей молитвы и чему ты хотел посвятить себя целиком, чтобы полностью впитать в себя это событие, – тебе помешало оставшееся внутри, тебя чудесное впечатление оттого, что произошло раньше и что настоятельно требовало поэтического воплощения, – тогда твое беспокойство быстро сменилось умиротворением и уверенностью в себе. Потом, когда такие случаи стали повторяться, тебе даже пришла в голову забавная мысль, над которой мы от души посмеялись. Ты тогда сказал: если бы Господь Бог мог наблюдать за твоей работой, он ни в коем случае не стал бы обижаться на тебя, в отличие от госпожи Б., о которой нам недавно рассказали, что она до тех пор упрекала господина Б., который во время свадебного путешествия был недостаточно нежен с ней, пока тот не помирился с обиженной, заверив ее, что иногда уходит в себя, чтобы сочинить в ее честь страстные любовные стихи.

Однако постепенно все изменилось, и нам уже стало не до смеха. Вначале мы приняли это за помеху телесного, физического свойства, но все яснее становилась взаимосвязь этого явления с тем самым противоборством между восторженным переживанием и поэтическим воплощением этого восторга. Появились состояния неуверенности, почти страха, из-за которых эти два непримиримых притязания таинственным образом еще более запутывались. Сильнее всего я испугалась, когда мы, как обычно, прогуливались после обеда по великолепному парку, заросшему акациями: ты тогда не мог пройти мимо одной акации… Мы отклонились от привычного маршрута, ты без возражений согласился пройти нему еще раз и, показывая на деревья, спросил: «Ты помнишь?!». Кивнув, я взглянула на ближайшую акацию, которая по виду ничем не отличалась от соседних. Ты в ужасе широко раскрыл глаза: «Эта? Нет, не эта!!», и было видно, что дерево стало превращаться для тебя в нечто призрачное.

Сходная опасность возникала, когда тебе не удавалось найти окончательный вариант, нужное слово: тогда все кончалось не разочарованием, не подавленностью, не упреками самому себе, а

невиданным, чудовищным взрывом эмоций – точно тебе хотелось, чтобы они целиком захватили тебя, почти так же, как бывало в блаженном порыве вдохновения. Ты называл это продуктивностью, которую страх направил по ложному следу, своего рода рожденной отчаянием заменой точной формулировки, которая тебе не далась.

Мы совершенно забыли об этом и недели безмятежного счастья, которое сопровождало нас, как молитвы из «Часослова», одаряя несказанной радостью и благоговением. Но потом снова начались приступы страха и телесных болезней. Невольно возникало предположение: то, что искало в тебе выхода, уже не удовлетворялось только эмоциональными проявлениями, а услужливо воспринималось телом – чтобы довести до взрывоопасного предела, до чрезмерности, до элементарной судороги. Ты с ужасом чувствовал за этим действие необъяснимых, чреватых болезнью причин.

Тогда и речи не было о том, что из молитв может возникнуть теперешний «Часослов» – произведение, предприятие, которое несло в себе славу поэта: мы считали его публикацию недопустимой. Но что-то должно же было произойти, чтобы спасти тебя от внутреннего разлада, устранить противоречие между молитвенным восприятием Бога и его поэтическим воплощением. Осложняющим дело обстоятельством было, видимо, то, что прорыв в царство поэзии, чересчур непосредственный по причине колоссальности объекта, одновременно должен был обрести и соответствующее мастерство, к которому ты в ином случае мог бы идти годами, и каждый предмет окружающей действительности не требовал бы от тебя такого напряжения и спешки. Мы уже тогда говорили о том, что тебе следовало поставить в центр своей поэзии мир и человека, а не символ, в котором ты хотел непосредственно и торжественно воплотить мечту о невыразимом. Но только в конце нашей второй поездки в Россию мне стала до конца ясна настоятельная необходимость твоего выбора. Я тогда уехала – совсем ненадолго, – чтобы проведать своих родных на даче (которую они часто меняли) в Финляндии, и там меня нашло твое письмо, в котором ты – вследствие высоких притязаний своих молитв – представал человеком почти порочным. Правда, вскоре пришло второе письмо, написанное в иной тональности, но опять с той чрезмерной экзальтацией, которую ты давно уже с улыбкой назвал «довольфратсхаузеновской» и которая показалась мне необъяснимым возвратом к старому.

Это тем более меня беспокоило, что мои самые сокровенные ожидания новая встреча с Россией выполнила, и я радостно

готовилась к неизменно выпадавшим на мою долю жизненным испытаниям. У меня это получилось без каких бы то ни было усилий, в то время как ты ради достижения своей цели прошел через глубочайшие потрясения. Никогда не осознавала я с такой ясностью, из каких бездонных глубин вырастала твоя зрелость. Никогда не восхищалась я так твоим величием: тяжесть твоей внутренней проблематики влекла меня к тебе, и это влечение никогда не ослабевало. Но тебе надо было торопиться, тебя тянуло к свободе и простору, к тому развитию, которое тебе еще предстояло.

И все же, все же: разве в то же время какая-то сила не отрывала меня от тебя?.. От реальности твоего дебюта, в которой мы были как бы единым целым? Разве может кто-либо объяснить загадку сближения и отдаления? В моей заботливо страстной близости к тебе не было того, что связывает мужчину с женщиной, и никогда со мной не бывало по-другому. Это неприкасаемо изолировано от всего, что осталось и что будет жить и расти вплоть до твоего, вплоть до моего смертного часа.

Я ничего не хочу приукрашивать. Сжав голову ладонями, я мучительно пыталась тогда разобраться в себе самой. И была глубоко поражена, когда однажды в старом потрепанном дневнике, почти ничего не говорившем о жизненном опыте, прочла обнаженно-честную фразу: «Я всегда буду верна воспоминаниям, но людям – никогда».

Расставаясь, мы сочли необходимым дать обет, что не будем в письмах следовать нашей привычке быть абсолютно откровенными друг с другом, разве что в час крайней нужды. Жизнь моя складывалась так, что такое тотальное единение было еще невозможнее, чем в предшествующие годы.

Часы такой крайней нужды наступили для тебя в Париже, когда за героическое принуждение к «toujours travailler», вызванное примером избавителя Родена, ты поплатился тем, что все вещи в твоих глазах расплывались, точно призраки, в мертвящей беспредельности – как уже наметилось в России по причине скопления нереализованных творческих замыслов. Но, невзирая на страхи, ты творчески воссоздавал состояние мучительной тревоги. Из твоего литературного наследства в руки мне попалось мое письмо к тебе, в котором я выражаю свою радость по этому поводу. Но и теперь меня все еще волновали не твои произведения, которые затем последовали, а то, удастся ли тебе избавиться от внутреннего разлада. Ты и сам долго сомневался, прежде чем согласиться с обоснованным желанием твоего издателя опубликовать «Часослов».

Рукопись лежала у меня, и это стало поводом нашей первой

после расставания встречи: в гёттингенском «Луфриде», названном так по надписи на нашем флаге, развевавшемся над крестьянским домиком в Вольфратсхаузене.

Я и сейчас вижу, как ты лежишь, растянувшись, на огромной медвежьей шкуре перед открытой балконной дверью, и на твоем лице отражается игра света и тени от шевелящейся листвы.

Райнер, это был наш Троицын день 1905 года. Он был им еще и в другом смысле, чем ты в своем умилении догадывался. Мне он казался вознесением поэтического произведения над поэтом-человеком. Впервые «творение», которое могло быть создано только тобой, выпрошенное у тебя, возвысилось над тобой, стало твоим господином и повелителем. Чего еще было желать! С замиранием сердца что-то во мне уже приветствовало элегии, которые появятся десятилетия спустя.

С этого Троицына дня я читала то, что выходило из-под твоего пера, не только твоими глазами: я воспринимала и одобряла написанное тобой как свидетельствование о будущем, к которому ты неудержимо шел. И с той поры я еще раз стала твоей – на сей раз по-иному, в своем втором девичестве.

Где бы ты потом ни жил, в каких бы странах ни обретался, тосковал ли по родине, по дарящему уверенность клочку земли или, гонимый охотой к перемене мест, еще сильнее стремился к полной свободе странствий, – чувство внутренней бездомности никогда больше тебя не оставляло. Сегодня, Райнер, когда вопрос о нашей национальной принадлежности приводит к политической конфронтации с немцами, я иногда спрашиваю себя, сильно ли повредила тебе твоя острая антипатия к австрийскому происхождению. Можно себе представить, что с детства любимая родина, родство по крови уберегли бы тебя от приступов отчаяния в периоды творческих кризисов, доводивших тебя до самоотречения. В родной почве с ее камнями, деревьями, животными есть нечто неприкосновенное, определяющее судьбу человека. Ты же, живя в Швейцарии, почти что выбрал себе новой родиной Францию, которая опостылела тебе еще в Париже. Это проявилось в языке, в выборе друзей, в новых творческих замыслах. Но пришло письмо от тебя, оно было полно стенаний. Растерянный, сбитый с толку, собирался, несмотря ни на что, вернуться в свою башню в замке Мюзо. О лирическом содержании твоих французских стихов я судить не могу, для этого мне недостает тонкости восприятия. Но мое, признаюсь честно, предубеждение мешает мне воспринимать кое-что из написанного тобой по-французски; например, когда ты говоришь о розе, я недоверчиво спрашиваю себя, чего в этих словах больше – тоски или упоения кощунственным мазохизмом?.. И потом, у меня есть

твоя фотография той поры, она больно ранила меня в сердце, я никому ее не показываю. Когда я получила ее, меня поразила одна мысль: не нуждался ли ты, сочиняя стихи по-французски, в чужой земле, чтобы вслух высказать то, что молча и тайно влекло тебя к не признающей границ беспредельности?..

Но мне ли судить об этом? Оставаясь наедине с собой, я ломала голову над твоей судьбой – и не находила выхода. За увенчанным судьбой поэтом и за человеком, принесшим себя этой судьбе в жертву, я продолжала видеть еще одного человека, того, кем ты, в конечном счете, был по рождению: того, кто был уверен в себе и в своей миссии, которая придавала ему силы и о которой он был призван свидетельствовать. Всякий раз, когда мы снова встречались, разговаривали, мы жили в этом вечном измерении, из которого ты черпал доверие и в котором напоминал маленького ребенка, чьи шаги не могут увести в сторону, ибо они всегда направлены к сокровеннейшему ядру его самобытности. Тогда Райнер снова был без остатка со мной, мы сидели, взявшись за руки, испытывая чувство невыразимой защищенности, и если из этого чувства рождалась поэзия, она еще больше защищала тебя сиянием вечности. Когда я думаю об этом, я всякий раз слышу строки из «Часослова», которые в момент их возникновения (о Райнер, этот миг останется со мной навсегда) казались мне словами утешенного, веселого ребенка:

К Тебе летит душа моя,
И мне навстречу – Ты
Ведь не понять, кто Ты, кто я.
Когда мы не слиты.

Переживание Фрейда

Два резко противоположных жизненных впечатления способствовали моей восприимчивости к глубинной психологии Фрейда: глубоко пережитое ощущение своеобычности и неповторимости внутренней жизни каждого человека – и то, что я выросла среди народа широкой душевной щедрости. О первом впечатлении я здесь говорить не буду. Второе связано с Россией.

Относительно русских нередко говорили, и сам Фрейд перед войной, когда заметно возросло число его русских пациентов, утверждал то же самое, а именно, что у этого «материала», как больного, так и здорового, наблюдается обычно редко встречающееся соединение двух особенностей: простоты внутренней структуры и способности в отдельных случаях словоохотливо раскрывать сложные, трудно поддающиеся анализу моменты душевной жизни. Точно такое же впечатление издавна производила и русская литература, причем не только у великих художников, но и у писателей средней руки (отчего она утрачивала строгость формы): в ней с почти детской непосредственностью и глубокой искренностью рассказывается о последних тайнах развития, словно оно, это развитие, здесь быстрее проходит путь из первозданных глубин к сфере осознания. Когда я думаю о типе человека, открывшегося мне в России, я хорошо понимаю, что делает его легко поддающимся нашему «анализу» и в то же время заставляет быть более искренним по отношению к самому себе – наслоения вытесненных инстинктов, которые у народов с более древней культурой тормозят прохождение импульсов от первоначальных впечатлений к их последующему осознанию, у него тоньше, рыхлее. Отсюда понятнее главная, основная проблема практического психоанализа. Она заключается в том, какая часть нашего общего инфантильного осадка обусловливает естественный рост, а какая вместо этого способствует болезненному сдвигу назад – от уже достигнутого уровня осознания к так и не преодоленным до конца ранним стадиям.

С точки зрения своего исторического развития психоанализ представляет собой практическую лечебную методику; я пришла к нему как раз в тот момент, когда открылась возможность по состоянию больного человека судить о структуре здорового: болезненное состояние позволяло четко, точно под лупой, увидеть то, что в нормальном человеке почти не поддается расшифровке. Благодаря бесконечной осмотрительности и осторожности методологического подхода аналитические

раскопки слой за слоем вскрывали все более глубокие залежи первоначальных впечатлений, и, начиная с самых первых грандиозных открытий Фрейда, его теория подтверждала свою неопровержимость. Но чем глубже он копал, тем больше выяснялось, что не только в патологическом, но и в здоровом организме психическая основа представляет собой настоящий склад того, что мы называем «жадностью», «“грубостью», «подлостью» и т. д., короче, всего самого худшего, чего мы больше всего стыдимся; даже о мотивах руководящего нами разума вряд ли можно выразиться лучше, чем это сделал Мефистофель. Ибо если постепенное развитие культуры и уводит человека – через беды и уроки практического опыта – от этих качеств, то только вследствие ослабления инстинктов как таковых, то есть вследствие утраты силы и полноты жизни, и в конце концов от человека остается только изрядно истощенное существо, по сравнению с которым лишенное всякой культуры создание напоминает «крупного землевладельца» и потому больше нам импонирует. Вытекающая из такого положения вещей мрачная перспектива – вряд ли менее печальная с точки зрения здорового человека, чем с точки зрения больного, который, по крайней мере, мечтает о выздоровлении, – видимо, оттолкнула от глубинной психологии еще больше людей, так как порождала в них пессимизм, схожий с пессимизмом почти безнадежного больного, которого эта психология собиралась излечить от болезни.

Выражая свое личное мнение на сей счет, должна прежде всего сказать, что я очень многим обязана этой ранней духовной позиции психоанализа, привычке не поддаваться всеобщим утверждениям о неутешительных результатах, строгой установке на точное исследование каждого отдельного объекта и особого случая, каким бы ни был результат исследования. Это было как раз то, в чем я нуждалась. Мои глаза, еще полные предшествующих впечатлений, позволявших увидеть на примере более примитивного народа затаившуюся в глубине каждого из нас неизгладимую детскую непосредственность, которая остается нашим тайным богатством даже после достижения всех ступеней зрелости, должны были отвлечься от всего этого и заняться кропотливым изучением конкретного человеческого материала; я должна была так поступить, чтобы не увлечься так называемой «приятной психологией», ослеплявшей и потому бесперспективной, не дававшей выхода к действительности, а лишь позволявшей нам топтаться в саду наших собственных желаний. У меня нет сомнений, что нечто подобное – хотя и с иных исходных позиций – создавало нам врагов и отнимало у нас

сторонников; я имею в виду саму по себе вполне естественную потребность не оставлять в подвешенном состоянии то, на что хочется получить ответ, точнее, на что заранее известен благоприятный ответ. Надо полагать, так будет и тогда, когда самые «непристойные» психоаналитические разоблачения давно станут для людей привычными и безобидными. В самом деле, когда в вопросах прикладной логики пытаются мыслить «без примеси инстинктов», однако, переходя в область так называемых «гуманитарных наук» с их неизбежным делением на наблюдателя и предмет наблюдения, стараются вставить в результат исследования – якобы ради его лучшего усвоения – и свое собственное словцо, то все это выглядит вполне оправданным.

Именно поэтому психоанализу и пришлось так долго ждать своего основателя – человека, который захотел увидеть то, что до него старательно обходилось стороной. Только у него хватило мужества (не вымученной решимости и тем более не любви ко всяким мерзостям) отвлечься от мысли, что ему грозит опасность столкнуться с чем-то непристойным и отталкивающим; его работа была санкционирована тем обстоятельством, что все, что он обнаруживал, существовало на самом деле, было данностью; интеллектуальная подвижность, исследовательская любознательность Фрейда получала из глубин его существа такой мощный заряд любви и творческой энергии, что его ничуть не интересовало, какое место в шкале ценностей отведут его открытию люди. Чистота (то есть незамутненность второстепенными проблемами и побочными побуждениями) профессиональной преданности делу породила прямоту и беспощадность точного метода познания, не останавливающегося даже перед тем, что респектабельно скрывалось от посторонних глаз. В результате получилось так, что именно рационалист, ученый, без остатка преданный рациональному началу, косвенным образом раскусил уловки и увертки начала иррационального. Открытое им новое явление он демонстративно назвал «бессознательным» – словом, которое в немецком языке несет в себе момент отрицания («неосознанное»). По Фрейду, ничего так не проясняет ситуацию, как стремление до тех пор следовать склонности к психологическому анализу, пока бессознательное, будучи само по себе недоступным для сознания, не воспримется этим сознанием как телесное воплощение зла; в этом качестве оно еще не хочет открываться нашему привычно цензурирующему образу мыслей. Вероятно, потому и возникло злобно-возмущенное поношение «сексуальности», на которой ставит акцент бессознательное, что это слишком сильно напоминает нам, считающим себя людьми неординарными, о том,

каким в высшей степени ординарным образом мы связаны со всем, что дано нам извне и противостоит нашей осознанной внутренней жизни; ибо тело – это та часть внешнего мира в нас, которой нам не дано избежать.

Мне всегда казалось, что в основе всех этих поношений лежит слишком большое внимание человека к телесному в себе, которое определяет его существование, но с которым он никак не может идентифицировать себя, когда дело касается проблем духа и души. Чем выше уровень нашего сознания, тем неизбежнее мы противопоставляем себя всему, что можно постичь только извне, с точки зрения другого; точно так же обстоит дело и с нашей телесностью – отсюда ее принципиальное обесценение в наших глазах. (Всем течениям древней метафизики было в этом смысле проще: внешнее и внутреннее в них еще так неотвратимо и сознательно не противопоставлялось друг другу, их еще можно было перепутать, как это и в наши дни делают маленькие дети.)

Вот почему так сильно и бесповоротно невзлюбили Фрейда, как только он указал на значение самых ранних ступеней развития для всей нашей духовной и душевной жизни. И не только по причине пресловутой детской пансексуальности, нет, скорее, потому, что он увидел в ней последний источник, продолжительное время питающий наше внутреннее развитие. Потому-то мы ради исцеления и должны обращаться к этому началу – примитивному в каждом душевном переживании, как об этом свидетельствует историческое развитие, первичному и потому неустранимому из достижений нашей нормальной жизни – как бы ни хотелось нам увидеть в них некие «сублимации».

Фрейд, как известно, ввел слово «сублимация» в свой терминологический оборот (не обращая внимания на легко возникающий при этом оценочный фактор), но и он имел при этом в виду отвлечение от конечной сексуальной цели. К нему уже начали относиться с понимающей и принимающей улыбкой. Но это было одно из самых сильных понятий (одно из тех, что одним махом кончают со всеми двусмысленными толкованиями): согласно ему даже самые предосудительные сексуальные извращения, «несмотря на их отвратительный успех», должны были рассматриваться как сублимации; полученные на инфантильных стадиях сексуального развития, они задерживали процесс достижения телесной зрелости. Точно так же подобное отвращение к телесному. Возникает и там, где появляются высоко ценимые сублимации, ведущие к творческим свершениям в социальной, художественной, научной области; они – порождение все того же непреодоленного инфантильного начала. Ведь это начало, вплоть до самых высоких достижений человеческого

духа, – всего лишь иной способ достичь с помощью эроса большего соответствия изначальному факту, который связывает нас в единое целое с миром вне нас и помогает преодолеть противоречие, на первый взгляд противопоставляющее отдельного человека остальному миру. И если мы вместо «любви» говорим о «деловитости», то это всего лишь свидетельство того, что и наше сознание умеет своими собственными методами вбирать в себя бессознательное, которое никогда не признавало нашей обособленности и постоянно напоминало о нашей укорененности в совокупность бытия. Вот почему это чувство убедительнее всего проявляется у нас в так называемой «сверхличной» области наших интересов, которые соединяют все самое сокровенно-личное и спонтанное в нас с тем, что далеко выходит за пределы нашей личности. Вот почему мы при известных условиях кое-что из этого чувства «сублимируем», то есть поступаемся ради него достижением плотских, сексуальных целей, о которых можно было бы сказать, что они в принципе всего лишь своего рода озабоченность отдельного человека, которая пытается внушить другому отдельному человеку, что она может объять в нем целокупность, тогда как этот человек по-настоящему равен нам только в сфере своей телесности и только внутри нее может быть достигнуто творящее реальность слияние.

Поэтому вполне естественно, что мы привыкли придавать сублимации некий высший, «божественный» смысл, ибо это слово всегда значит для нас нечто предельно интимное и одновременно выходящее за пределы нашей личности. Но это всего лишь вспомогательное обозначение для самого глубинного, подземного, которое мы только потому не называем «земным», что это звучало бы чересчур специфически, так как оно действительно превышает нас и тем самым лучше выражает нашу суть, нежели привычное противопоставление внутреннего и внешнего. Чрезвычайно важно подчеркнуть: сила сублимации прямо зависит от того, в какой мере она подпитывается нашими глубинными инстинктами, в какой мере эти инстинкты остаются действенным источником того, что мы сознательно делаем или предпочитаем не делать. Чем сильнее эротическая предрасположенность человека, тем шире его возможности сублимации, тем больше он соответствует предъявляемым процессу сублимации требованиям, не допуская разлада между проявлением инстинктов и приспособлением к реальности. Тем меньше он аскет и смысле хилости инстинктивных влечений, когда бедность пытаются представить добродетелью, или в смысле истощения сил болезнью, когда словом «сублимация» утешаются. Не аскеты относятся сюда, не «победители» своих

влечений, а, наоборот, те, кто и в самых неблагоприятных условиях сохраняет смутное ощущение своей тайной связи с тем, что выходит далеко за пределы их жизни; специалисты по обнаружению грунтовых вод, умеющие даже в самой сухой почве открыть источники влаги; осуществляющие свои желания, а не воздерживающиеся от них – и потому наделенные способностью к долгому воздержанию, когда чувствуют приближение момента свершения того, к чему их влекло. Главное заключается в том, что телесное и душевное в них не расщепляются на противостоящие друг другу понятия, а смыкаются в единую созидательную силу – так струя воды из фонтана падает в тот же бассейн, из которого она поднялась.

Не случайно исследование бессознательного требует, чтобы тот, кто собирается подвергать анализу других, сначала проверил эту методику на себе и с абсолютной честностью выяснил, как в этом плане обстоят дела с ним самим. Интеллектуальная работа по проникновению в глубины психики живого человека может достигнуть своей цели – как исследовательской, так и оздоровительной – только благодаря активному соучастию врача-психоаналитика.

Когда время от времени возникали нелепые разговоры о том, что фрейдисты только притворяются учеными, а на самом деле это секта единомышленников, то в этом была маленькая частица истины: психоанализ невозможно полностью отделить от определенного единства мыслей и убеждений, так как сам материал граничит с той точкой, в которой взаимодействуют сознание и бессознательное. Это действительно объединяет психоаналитиков; именно эта частица, не являющаяся только знанием, только наукой, делают не столь уж и важным то, к какому аналитику попадает анализируемый. Нельзя забывать, что самое важное для учителя, даже занимающегося самоанализом для собственного удовольствия, – это преодоление, борьба за пациента, независимо от того, здоров он или болен: вот почему даже так называемый «учебный анализ» нередко приносит такое же обновление личности, как если бы он проводился с терапевтической целью.

Психоаналитическая ситуация и впрямь содержит в себе нечто такое, что обычно исключается из научного обихода: в науке момент общности убеждений при условии полной научной самоотдачи может быть дополнительным благоприятным фактором, в глубинной психологии, наоборот, отсутствие такой общности явится роковой ошибкой на пути к достижению цели – как исследовательской, так и терапевтической. Пассивно-объективное исследование должно призвать к содействию нашу

внутреннюю активность, только таким образом оно достигнет совершенства. Добросовестность и строгость научной мысли сопровождается обращением к душевной жизни человека, без чего ей был бы недоступен самый сокровенный материал… Я упоминаю об этом без обиняков, ибо мне кажется, что время от времени эту сторону дела замалчивают, дабы не создавалось ложное мнение, что речь идет о сектантской деятельности.

Но есть и другой повод напомнить о том, как правильно вести себя в психоаналитической ситуации, и этот повод – сам создатель учения. Творчество Фрейда, его открытия покоятся на том, что он как человек полностью отдавался своему делу, его первоначальная цель касалась только путей исследования, и он стойко и цепко придерживался заданного направления; в то же время он охотно и без колебаний открывался навстречу тому, что оказывалось конечной целью исследования и вступало в абсолютное противоречие с его ожиданиями. Соединить одно с другим и означало совершить акт внутренней самоотдачи, выходящий за пределы только научного познания.

Создатель психоанализа должен был на основе глубоко личного синтеза соединить в себе этот двойной опыт в единую методику, а не использовать его в двух разных аналитических программах. Пришло наконец время сказать об этом по всеуслышание. Ибо эта синтетическая методика идентична его открытиям как таковым, идентична тем внутренним побуждениям, из которых эти открытия возникли потом они выходили за рамки только личной предрасположенности, личных желаний или намерений, более того, с этой точки зрения почти сразу же вызывали разочарование в том, что предполагалось ранее, сопровождались отказом от ожиданий и гипотез.

Наряду с неслыханной враждебностью извне, превратившей творчество Фрейда в жертвоприношение, наряду с насмешками и злобой современников Фрейду приходилось выносить и внутреннюю борьбу – твердо и с полной самоотдачей следовать только тому, что он считал правильным, даже если это противоречило его натуре или даже шло вразрез с его вкусами. Если сравнить эту жертвенность с жертвами иного рода – теми, что исследователи приносят науке в ущерб собственной жизни и здоровью, – то в случае с Фрейдом речь идет о сходном душевном процессе, о решимости, готовности, если потребуется, вылезть, так сказать, из собственной кожи, ничуть не беспокоясь о том, что за создание с содранной кожей появится в результате на свет. Ибо Фрейд-мыслитель и Фрейд-человек в их личностном проявлении – это две ипостаси, объединенные в целое жертвенностью. Он вряд ли стал бы отрицать, что не сбылись его надежды на

постепенное использование результатов его исследовательской работы биологической наукой или что он находил скорее удовольствие, нежели неприятность в том, какой труднодоступной, чопорной красавицей оказалось его «бессознательное» – то самое, с которым метафизики всех времен позволяли себе в высшей степени запретные интимные заигрывания.

Без сомнения, именно таким рационалистом знают Фрейда но его научным трудам (и не только по ним), где он – с философским или подчеркнуто антифилософским уклоном, это не имеет значения – в отличие от других авторов приходит к рациональным выводам, которые он умеет отделять от выводов чисто психологических. Лично он предпочел бы подходить сугубо рационалистически к положениям, выходящим за рамки точных определений, – или же, пожав плечами, не обращать на них особого внимания.

Оставить что-либо без ответа, вместо того чтобы тратить силы на размышления о том, что не поддается решению, – не только право, но и обязанность человеческого познания; это значит справиться с возникающей второстепенной потребностью привести все к желаемому общему знаменателю. Но задумаемся вот над чем: не будет ли вместе с выпячиванием формально-логического подхода к познанию с его далеко идущей методикой различения почти непроизвольно нарастать и другая потребность – чрезмерного усиления этой объединяющей точки зрения? Ведь именно она позволяет нам приходить к окончательному, единственно возможному способу систематизации – именно благодаря этому неприкосновенному в процессе познания господству расщепления и дробления. Не мстит ли тем самым наше чистое, свободное от аффектов мышление самому себе вследствие своей, так сказать, «нечеловеческой» способности к абстрагированию? Мы набрасываем свою мыслительную схему, точно сверхпрочную сеть, на бесконечное количество разрозненных фактов с целью сведения их воедино, с целью обнаружения объединяющих моментов в мире, ограниченном размерами сети (точно так же и отдельный человек в своем мирочувствовании избирательно воспринимает то, на что его воля к познанию набрасывает свою сеть). Разве это не попытка подражания тому целостному ощущению жизни, с которым мы чувствуем неразрывную связь, не своего рода опускаемая сверху завеса, которая имитирует непостижимую, недоступную нашему познанию глубину низа?

Когда человек, это осознавшее себя нечто, представляет себя в мыслях одновременно и чем-то иным, он в порыве подражания

всего лить выворачивает ситуацию наизнанку – символически выпячивает «наружу» то, что составляет его собственную экзистенциальную тайну. В конечном счете наше формальное мышление может стать чем-то вроде «символизации» – чтобы с помощью такого поворота выразить в языке и попытаться постичь непостижимое. Разум – это как бы искусный прием, отмычка, открывающая всю немыслимую синтетику существования, которая на поверку оказывается нашей аналитикой. В этом месте большинство людей, не исключая полностью и тех, кто посвятил себя науке, решают свои точные, доказательные знания дополнить тем, что они считают или хотят считать истиной. Словно без такого обращения к оптимизму веры ситуация, в которой находится человечество, оказалась бы угрожающе пессимистической. Словно в противном случае мы просто были бы отброшены в «мертвый» мир, раздробленный нашим методом познания, способом добывания знаний, мир, лишенный телесной и душевной теплоты, изначально отданный во власть Ничто. В отличие от этих людей Фрейд относился к такой позиции не просто отрицательно, а без сомнения враждебно, с внутренней агрессивностью. За это на него обижаются, особенно если речь заходит о человеке, о страданиях и стремлениях, делающих его стойким и жизнеспособным. Однако позиция Фрейда объясняется тем, что наша уступчивость в этой точке движения, говоря коротко, от физики к метафизике приводит к злоупотреблению теми средствами познания, которые мы создали для использования в мире физическом. Именно в этой точке, отделяющей один мир от другого, и пришел Фрейд к своим открытиям, которые большей частью только потому оставались необнаруженными, что им или опрометчиво не давали выхода, или столь же опрометчиво наделяли их метафизическими предпосылками. Борцом с этим, причем борцом агрессивным, Фрейда сделала та самая исследовательская серьезность, решительная и неуступчивая, которая без сожалений предала гласности совершенно случайно сделанные им открытия и не позволила снова скрыть их от общественности. Ее нельзя путать с агрессивностью новообращенного, одержимого желанием уговаривать или поучать других (для примера можно взять ницшевское «Останься верен земному!» или иное подобное желание возвещать истины).

Учение Фрейда требует от нас только одного: чтобы мы были чуть терпеливее и сдерживали нашу жажду познания, чтобы мы, не считаясь с собой, сохраняли ту же честность мысли, которую нам удалось столь успешно усвоить применительно к вещам внешнего мира. Мы можем со спокойной совестью признаться:

Фрейд ведет нас к самому низу вещей!

Но сперва следует отметить и то, что вводит нас на равных в целостность бытия, не интересуясь при этом, чем и как мы на фоне данной целостности выделяемся. Что до тормозящего воздействия, все усиливающегося в процессе становления культуры нашего сознания, то оно представляет собой нелепейший из всех «сословных предрассудков», охотно предпочитающий общей целостности исходной почвы вымышленные воздушные замки, надеясь обрести в них спасение. В этой крайне щекотливой, ставшей из-за нашей заносчивости болезненной и сверхчувствительной ситуации не в состоянии ничего изменить даже наши высокоразвитые мыслительные способности. Изменить может только революция в мышлении, когда сознание уступает место признанию.

После того как Фрейд был представлен здесь прирожденным рационалистом, поступавшим в соответствии с собственными вкусами (а это значит, что последователям его дела необязательно придерживаться «закона, которому он следовал с самого начала»), я хочу еще раз во всеуслышание высказать то, что со времени моих встреч с Фрейдом не выходит у меня из головы и сердца, а именно насколько глубоко его выстроенная на рационалистической основе исследовательская методика проникла в недра иррационального, в конечном счете черпая в нем свои открытия. Иными словами, все обернулось удивительным наказанием за обман, сделавшим побежденного победителем за то, что тот до конца оставался верен себе! Разве такой поворот событий не является сбалансированным заключительным актом, дающим самым что ни на есть механистичным явлениям внешнего мира выход к сокровеннейшим глубинам мира внутреннего, к которому вполне приложимы слова Гераклита о бесконечно раздвигающихся пределах души?

Поэтому оказался несостоятельным даже наиболее часто встречающийся упрек в рационализме, адресованный Фрейду, который взял в качестве эпиграфа широко известную цитату: «Все быстротечное – символ, сравненье», а не сущность вещей. Так-то оно так! Вот только символ доведен у Фрейда до совершенства.

Воспоминание о Фрейде

К осени 1911 года я, возвращаясь домой после поездки в Швецию, оказалась на психоаналитическом конгрессе в Веймаре и встретилась с Фрейдом, он высмеял меня за неукротимое желание заняться изучением его психоанализа, ибо в то время еще никто и не думал о центрах для подрастающего поколения, подобных тем, что было решено создать в Берлине и Вене. Когда я, после полугодичной самостоятельной подготовки, снова предстала перед ним в Вене, он опять от души посмеялся надо мной, наивной, так как я сообщила ему, что собираюсь заниматься еще и с Альфредом Адлером, превратившимся в его смертельного врага. Он добродушно согласился с этим при условии, что я не стану упоминать о нем там, а об Адлере, наоборот, здесь, в его окружении. В результате Фрейд узнал о моем выходе из кружка Адлера только несколько месяцев спустя. Но то, о чем я хочу рассказать, относится не к созданию каких-либо теорий, ибо даже самая захватывающая из них не смогла бы отвлечь меня от того, что содержалось в открытиях Фрейда. Отвлечь от этих «находок» не смог бы даже самый блестящий теоретик-толкователь; их значение не дано умалить даже неудачным или несовершенным интерпретациям самого Фрейда. Теории, которые в то время только начинали складываться, служили ему необходимым средством взаимопонимания между сотрудниками, и если они у него рождались, то обязательно обретали черты его образа мыслей, отличавшегося научной точностью и строгостью. Если бы я попыталась рассказать, что вело мысль Фрейда к его открытиям, то он высмеял бы меня в третий раз, так как сделать это было бы ничуть не легче, чем зафиксировать своеобразие таланта, присущее руке живописца или пальцам скульптора. Ведь проявлялось оно в чем-то конкретном, в мимолетном облике конкретного живого человека, точнее, во взгляде на этого человека, – взгляде, для которого за конкретным и мимолетным открывался всеобщий образ человеческого. Вместо раздумий на эту тему – пусть даже самых глубокомысленных и остроумных – мы наблюдаем у Фрейда готовность к самоотдаче во имя той последней точности, которая касается каждого из нас и которую можно выявить и осмыслить только так, как это делал он.

На одной из первых встреч рабочей группы (до меня женщин среди участников почти не было…) Фрейд во вступительном слове подчеркнул, что об одиозных темах, когда они становятся предметом обсуждения, следует говорить абсолютно откровенно,

без каких бы то ни было церемоний. Шутливо, со свойственной ему сердечностью и изяществом он добавил: «Как всегда, нам предстоит неприятный, трудный рабочий день – непохожий на праздничные отношения между нами». Слово «праздник» еще не раз станет определяющим в моем отношении к нему и к его взгляду на вещи, который я пыталась описать, – взгляду, которому открывалась полнота материального мира; какой бы отталкивающей или пугающей ни была эта материальность в своих конкретных проявлениях, для меня за повседневными делами всегда таилось нечто праздничное, воскресное. В минуты отвращения к себе Фрейд удивлялся тому, что я все еще глубоко привязана к его психоанализу: «Ведь я учу только одному – стирать грязное белье других людей». О выглаженном и аккуратно сложенном на полках шкафа белье мы, собственно, знали и без него. Однако то, что можно было узнать даже по самому заношенному белью, чужому или собственному, уже не было связано напрямую с конкретной вещью, отстранялось от нее, от ее ценности, так как преображалось в процессе переживания.

При обнажении даже самых отвратительных и мерзких вещей взгляд, таким образом, останавливался не на них самих; однажды, когда речь зашла о чем-то подобном, Фрейд уже не высмеял меня, а с невероятным удивлением констатировал: «Даже после того, как мы поговорим о самых отвратительных вещах, у вас вид человека в канун рождественских праздников…».

Из нашей последней личной встречи в 1928 году в моей памяти сохранилась только яркая красочная картина – большие клумбы анютиных глазок у Тегельского дворца, их пересадили сюда довольно поздней осенью, и они зацвели, не дождавшись следующего лета, посреди роняющих листву деревьев. Я отдыхала, любуясь их великолепием, бесконечным разнообразием цветовой гаммы – от темно-красных и голубых до светло-желтых оттенков. Фрейд собственноручно нарвал для меня букет этих цветов перед одной из наших почти ежедневных поездок в Берлин, во время которой я хотела навестить Хелену Клингенберг.

Несмотря на то что Фрейду трудно было говорить и слушать, тогда нам еще удалась незабываемая беседа наедине; потом начались долгие годы его страданий. Мы иногда вспоминали с ним 1912 год, год моих занятий психоанализом, когда я постоянно оставляла в гостинице свой адрес, чтобы как можно быстрее встретиться с Фрейдом, если у него появлялось свободное время. Как-то перед одной из встреч ему в руки попал ницшевский «Гимн жизни» – мое написанное в Цюрихе стихотворение «Моление о жизни», которое, слегка изменив,

Ницше положил на музыку. Такого рода вещи не нравились Фрейду; он, с его подчеркнуто трезвой манерой выражать свои мысли, не мог принять того, что сочинило юное неопытное создание, склонное к восторженным преувеличениям. Будучи в хорошем настроении, он весело и дружелюбно прочитал вслух последнюю строфу:

Тысячелетья б жить, мечтать,
Всего себя отдать науке!
Коль счастья мне не можешь дать —
Не пожалей тоски и муки…

Он сложил листок и резко опустил его на спинку кресла: «Нет! Это, знаете ли, не в моем вкусе! От таких желаний меня бы избавил простой хронический насморк!». Той осенью в Тегеле я пыталась выяснить, помнит ли он еще об этом разговоре по прошествии стольких лет. Да, он помнил хорошо, помнил даже, о чем мы говорили дальше. Не знаю, зачем вообще я стала спрашивать его об этом – мне не давала покоя мысль о долгих годах тяжких, мучительных страданий, выпавших на его долю; все эти годы мы, его окружение, спрашивали себя: сколько еще хватит ему сил выдерживать такие муки?.. И тут случилось нечто непонятное мне самой – с моих дрожащих губ неудержимо срывались слова утешения: «Вы совершили то, о чем я когда-то только мечтала, мечтала восторженно, втайне от других!». Испугавшись откровенности своих слов, я громко и безудержно разрыдалась. Фрейд ничего не ответил. Я только почувствовала его руку, обнявшую меня.

Перед мировой войной и с тех пор

Поздней осенью 1903 года мы переехали в Геттинген, куда пригласили работать моего мужа-ираниста. Наряду с прочим сбылось и наше желание жить как можно ближе к природе: окрестности Гёттингена в этом смысле обещали больше, нежели пригород Берлина. Уже почти отчаявшись найти что-нибудь подходящее вдали от города, мы, благодаря маленькому спасительному чуду, как бывает в сказках, набрели на фахверковый домик на заросшем пригорке в старом фруктовом саду. В те времена местность вокруг была настолько пустынна, что в отдаленных уголках сада даже появлялись молодые лисята.

Эта близость к природе была для меня как исполнение главного желания моей жизни. Откуда бы я ни возвращалась в течение трех последующих десятилетий, мне всякий раз казалось, что то или иное время года с наибольшей полнотой выражает себя именно на этом клочке земли, словно черпая из него силы. Я взяла себе в привычку, довольно странную, после каждого долгого отсутствия совершать ранним утром прогулки-свидания, чтобы выяснить, насколько полученные мной в отъезде впечатления отличаются оттого, что пережили тем временем кусты и деревья, от того, что принесла весна или празднично отметила осень, от вечной смены к вечной соразмерности; я пыталась понять, выдерживали ли сравнение, и если да, то в какой мере, сложные человеческие переживания с тем, что вовсе не пытается представить себя чем-то существенным.

В первую же весну после нашего переселения я по причине пошатнувшегося здоровья задумала отправиться вместе с другом-врачом в путешествие, чтобы немного отдохнуть. Только что зацвели фруктовые деревья; огромная старая груша (в прошлом году ее расколола буря), росшая перед окном моего кабинета, протягивала в комнату свои усыпанные белым цветом ветки; казалось почти грехом уезжать от всего этого; но я подумала, что через год весна будет такой же прекрасной; однако в следующем году груша почему-то не зацвела. Она слишком истощилась и решила один май пропустить; но это объяснение ничего не изменило в произведенном на меня тогда впечатлении.

В доме было много окон; солнце заливало комнаты. При этом обе мои комнаты на верхнем этаже напоминали беседку: они были окружены густыми липами, которые зеленой занавесью укрывали их от ослепительного света; поздней осенью, когда первые порывы ветра срывали с деревьев листву, комнаты снова наполнялись ясным, отрадным светом. Стены, которые я обтянула

темно-синей сероватой материей, стали выцветать, не теряя при этом своего основного тона; тем ярче выделялись на нейтральной стене своей пестротой русские крестьянские вышивки и другие сувениры. Правда, перевешивать или передвигать что-либо было нельзя: темно-синий фон прочно хранил следы того, что было. Поэтому на главной стене осталась висеть картина Генриха Фогелера «Любовь», которую он сам повесил и которая, собственно, изображала Райнера. Но я и сегодня противница частых перемен обстановки в комнатах, которые затевают, приспосабливаясь к настроению или веяниям времени. (У Райнера эта страсть заходила иногда слишком далеко вследствие невольной подмены внутреннего настроя успокаивающим приспособлением к внешнему настроению.) Райнер очень любил мои комнаты, во многом из-за тех самых глубоких и четких цветных пятен за мебелью и картинами; эти пятна, словно тайные дороги, были готовы вернуть нас обратно в прошлое, служили маленькими воротами в непреходящее.

Две больших медвежьих шкуры, добыча Вилли Брандтса во время опасных охот в России, занимали почти весь кабинет, уставленный простыми книжными стеллажами из ели. Дела с библиотекой обстояли неважно, и не только потому, что после смерти мужа я принялась кое-что распродавать. Я с самого начала воздерживалась (и правильно делала!) от новых приобретений ради приумножения библиотеки мужа, что для него не только было необходимостью, но и доставляло ему огромную радость. Основу своей библиотеки девических лет я оставила в России; там были не только наши большие писатели, немецкие и русские, но и те, которых я тогда частично использовала для своего самообразования и частично с трудом, тайно приобретала на выручку от продажи подаренных мне украшений (например, сочинения Спинозы). Но главная причина плохого состояния моей библиотеки заключалась в следующем: тяжелые толстые тома трудно было читать лежа, и я чаще всего делила их на части, читала и больше уже не переплетала. Наконец, я постоянно давала книги почитать, особенно те, что были мне особенно дороги, и делала это из соображений, боюсь, не совсем нормального свойства: тысячекратно растиражированная книга казалась мне чем-то недостойным внимания, не соответствующим своему содержанию; в моих глазах содержание должно было, точно призрак, жить как бы самостоятельной жизнью и не иметь никакого отношения к бумаге.

В одном из своих рассказов («Дом») я уже в 1904 году сделала наш маленький дом ареной событий, для которых, изменив возраст, биографические данные и характер взаимоотношений, я

использовала самых близких мне людей, в том числе изобразила и Райнера в детстве, рядом со счастливыми родителями; с его согласия я включила в рассказ даже его письмо ко мне. Но еще раньше, в Шмаргендорфе, я выплеснула свою тоску по России и почти довела до завершения «Родинку»; мне очень хотелось, чтобы эту повесть прочитали, так как в ней рассказывалось о русских впечатлениях; все остальное создавалось мной исключительно или почти исключительно ради самого процесса творчества, который был для меня важен и почему-то жизненно необходим. Свою библиотеку рукописей я хранила в банковском сейфе и доставала оттуда – часто очень неохотно! – ту или иную с сомнением только по очень неблагородной причине: чтобы продать, когда возникала насущная нужда в деньгах. Правда, свои статьи на самые разные темы я не собирала, а публиковала где только можно; я писала их частично потому, что меня близко затрагивала тематика, частично по причине материальных затруднений.

Здесь я хочу признаться в одной странности: сочиняя статьи, работал с понятиями, я чувствовала, что занимаюсь сугубо женским делом, но когда дело касалось художественного творчества, я ощущала себя мужчиной; поэтому мои женские образы чаще всего увидены глазами мужчины. Причина того и другого связана с моими детскими и девическими переживаниями: в сферу понятий, которую прививал мне мой друг, оказалась втянутой моя любовь к нему как женщины; напротив, все, что возбуждало фантазию, наталкивалось на его запрет и могло избежать повиновения и утвердить себя только в форме мужской ориентации на неподчинение. Поскольку сексуальное поведение человека коренится глубоко в бессознательном, то нет ничего удивительного в том, что эти последствия ранних переживаний с возрастом – примерно в шестьдесят лет – исчезли…

Я неоднократно поддавалась искушению и проводила зимние месяцы в Берлине, куда меня приглашал Макс Рейнхардт, чтобы присутствовать на репетициях созданного им театра «Каммершпиле». Для меня это стало таким сильным переживанием, что все другие впечатления, отношения со многими людьми из его окружения отступили на задний план, а это немало значит.

При этом я имею в виду не спорность фигуры Рейнхардта, изведавшего и славу, и хулу, и даже не сами премьеры, а его неповторимую манеру работать; после него не останется традиций или учения, а только впечатление о неповторимости его творчества (которое потому было таким раскованным и

щедрым, что решение всех хозяйственных вопросов взял на себя Эдмунд Рейнхардт). Мне это представлялось так в том Рейнхардте, который мечтает и пассивно, как великий актер, вживающийся в порученный ему образ, впитывает в себя поэзию, аккумулируется огромная энергия, которая затем прорывается и овладевает сознанием актеров. Как актер он преодолевал робость, в общественной жизни тоже держался, скорее, неуверенно, но в работе демонстрировал такую увлеченность, которая объясняет его огромную выдержку и задор; мечтательность и почти грубая властность сливались в его манере работать в единое целое. В мою память прочно врезался один эпизод, подтверждающий, что и явная грубость Рейнхардта не производила отталкивающего впечатления: Агнес Сорма в «Призраках», всхлипывая и подавляя рыдания, выслушивала признания сына и никакие могла найти нужный Рейнхардту тон; репетиция закончилась всеобщей усталостью; когда, уже уходя, артистка от чрезмерного перенапряжения безудержно разрыдалась, Рейнхардт вскочил, поднял руку вверх и восторженно закричал: «Вот как нужно играть!», после чего рыдания пришлось повторять, репетируя пьесу.

От встреч с Рейнхардтом у меня осталось следующее впечатление: в то время как поэтическое содержание обычно передается благодаря удачно найденному звуковому оформлению, на репетициях Рейнхардта нередко возникало ощущение, будто оно изымается из головы автора, находя выражение в волевом акте в процессе работы с живыми людьми. Элемент поэтической мечтательности и момент волевого напряжения, сталкиваясь, создавали настроение повышенной экспрессивности, которое позволяло лучше представить на сцене то, что репетировалось. Сами по себе премьеры, даже блестящие, давали об этом довольно смутное представление; попять, как все происходит, можно было только в общении с актерами, занятыми в спектакле. Хочу подчеркнуть один немаловажный момент: все, что я узнавала о Максе Рейнхардте от людей, его окружавших (а среди них были такие интереснейшие личности, как Кайслер, Вассерман, Моисеи, Гертруда Эйзолцдт), отступало в тень перед теми представлениями, которые устраивал во время репетиций он сам.

В то время мне довелось пережить и нечто совершенно иное. Это было вовремя гастролей труппы Станиславского, которую я знала еще по Петербургу, и к которой Рейнхардт относился восторженнее других. В этой труппе место совершенствования игры до известной степени заняла общность интересов, объединившая всех этих актеров одного сословия и одинакового

образования; до недавнего времени такое в театрах наблюдалось редко. Душевный склад русского человека удесятерил роль этого обстоятельства. Я часто думала, что именно на таких принципах должен строиться действительно новый театр – на глубокой общественной потребности, а не только на потребности отдельных людей в искусствен развлечении… Однако и к технической, художественной стороне дела Станиславский тогда относился с глубочайшей серьезностью: «На каждую премьеру – до ста репетиций!», требовал он, на что Рейнхардт отвечал печальным вздохом: «Если бы такое было возможно!». Тем, что мне удалось услышать кое-какие разговоры самих русских актеров, я обязана многочисленным приглашениям, прежде всего к Хардену, который мастерски направлял ведшуюся на русском и на французском беседу в нужное для него русло. Наши прогулки вдвоем, от гостиницы «Унтер ден линден», где остановились русские, до его маленькой виллы были великолепным продолжением этих бесед; мы тогда без труда понимали друг друга, лишь во время войны я совершенно отдалилась от него, занявшегося публицистикой.

В промежутке между зимними месяцами в Берлине я много путешествовала; так, я ездила в Норвегию, Швецию и Данию, но не встречалась с Райнером, когда он задержался там летом 1904 гада, и произошло это вследствие моей совершенно непонятной неосмотрительности. Я знала, что он находится в Южной Швеции у знакомых Эллен Кей, и, когда проездом была в Копенгагене, отправила ему почтовую открытку с видом гостиницы, в которой остановилась, и отметила значком окно своего номера; получив открытку, Райнер приехал в Копенгаген, но меня уже не застал. С Эллен Кей я подружилась давно, примерно в то же время, что и с Райнером, свою третью поездку в Париж – в 1909 году – я предприняла вместе с ней, там мы встречались с Райнером, который был тогда секретарем Родена. Эллен Кей относилась ко мне по-человечески настолько хорошо, что даже терпела, правда, прибегая к помощи юмора, мое неприятие ее книг. «В таком случае, баранья твоя башка, я в следующий раз не приеду к тебе в Геттинген, а пешим ходом отправлюсь прямиком в Италию», – отшучивалась она. Она любила бывать у нас, как и я у нее, в ее доме на берегу Веттерского озера; однажды я провела там всю позднюю осень.

Во второй раз мы с Райнером едва не встретились случайно, когда он жил в замке Дуино, а я, возвращаясь из поездки на юг, ненадолго остановилась в «Систиано»; позже мы с удовольствием расписывали друг другу, как мы совершенно неожиданно могли бы встретиться на берегу моря во время утренней прогулки…

Куда более важным было, однако, то странное обстоятельство, что как бы редко мы ни виделись, но при каждой новой встрече – будь то у нас, или у него в Мюнхене, или еще где-нибудь – нам казалось, будто в промежутках мы странствовали по одним и тем же дорогам, стремились к одной и той же цели, и даже будто тайная, не существовавшая в реальности переписка между нами помогала нам выносить разлуку. Что бы ни происходило в нашей повседневной жизни, в точку встречи мы всегда прибывали вместе, и это обстоятельство придавало нашим свиданиям праздничное настроение, заботы и мрачные ожидания оборачивались раскованным весельем.

Побывала я и в Испании, причем задолго до Райнера. Но когда я приехала в Сан-Стефано, бой быков так сильно отпугнул меня от этой страны, что я предпочла остаться на земле французских басков (Сен-Жан-де-Люз). С годами моя любовь к путешествиям все возрастала, я стала значительно восприимчивее к впечатлениям извне, второстепенные подробности уже не заслоняли (как это было еще в Риме) событий, важных для внутренней жизни; я совершенно по-иному открылась навстречу деловым, благоразумным радостям жизни. Пауль Ре, который впервые научил меня весело относиться к жизни, вскоре заметил, как стремительно осваиваю я эту науку, и часто повторял, что при таких темпах я быстро состарюсь и отобьюсь от рук. Позже высказывалось предположение, что и юность моя была такой, при этом не раз возникало забавное недоразумение; во время веселой беседы в кругу людей самых разных интересов кто-нибудь громко утверждал, будто он много лет назад наверняка слышал разговоры о том, как я уезжаю куда-нибудь весной или осенью и возвращаюсь в буквальном смысле слова возродившейся. Я совершенно серьезно и с укором отвечала, что такого рода ложные обвинения нуждаются в основательном уточнении, ибо в своих путешествиях я никогда не придерживалась времен года.

В спутники себе я отнюдь не всегда выбирала одних и тех же друзей; разным странам и народам соответствовали разные способы переживания; а возвращение в уединение было для меня настоятельной потребностью. По сравнению с сегодняшними путешествиями, которые охватывают и Америку, тогдашние ограничивались маленьким кусочком Европы; на ее крайний запад меня никогда не тянуло. Мой самый длительный маршрут на юг включал в себя Боснию, Герцеговину, Далмацию, Болгарию, Монтенегро и Албанию, откуда я через Скутари добралась до Турции; земли, которые сегодня называют Югославией, поразили меня своими жителями и заставили вспомнить о России: мне они показались похожими на русских, вырванных из рабства и весело

наслаждающихся свободой; формальное турецкое владычество ничего не меняло, отношения между турками и славянами были хорошими. Редко доводилось мне видеть таких прелестных, рослых темно-русых женщин, резко отличавшихся от более полных, с неуклюжей походкой турчанок (по крайней мере, такими они были в ту пору), таких грациозных ребятишек; их движения, как бы по традиции, настраивались на изящество. Выражения лиц тоже несли на себе отпечаток красоты: всадники ли в своих национальных одеждах неслись на неоседланных лошадях с холмов, просто ли сидели люди у воды (при этом они могли заниматься стиркой или предаваться молитвам) – на их лицах была все та же сдержанность и строгость. Мы не раз проходили мимо древнего старца, он сидел на траве и, протянув руку, просил милостыню, но у него было лицо веселого престарелого князя, поэтому мы совсем не удивились, когда однажды другой рукой он вытащил голубой эмалированный портсигар и предложил нам закурить.

Все здесь выглядело еще более восточным, чем в России, еще более нетронутым и древним; позже мы с Райнером так живо обсуждали эти впечатления, точно вспоминали наши совместные путешествия. То, что так привлекало Райнера в религиозной жизни России, накладывало здесь в еще большей мере свой отпечаток на все вокруг, казалось, если угодно, более механическим, но, благодаря своей древности, своему «окостенению», и более действенным; никто не требовал, чтобы и другие придерживались таких же убеждений. Уже в русском богослужении, а тем более в армянском эта чрезмерная окостенелость производила сильное впечатление, она словно протягивала иностранцу пустую серебряную чашу, чтобы он вложил в нее свое собственное молитвенное благоговение. Нечто похожее наблюдается и в исламе, благодаря чему он так хорошо сочетается по настроению с греко-католическими ритуалами. Когда при входе в мечеть достаточно снять обувь, чтобы слиться с благочестивым молчанием молящихся, которые тихо стоят или сидят на корточках на красивых коврах, тогда и сам невольно впадаешь в состояние духовной концентрации.

Мне вспоминается первое впечатление, полученное однажды ночью; благодаря ему я получила представление о такого рода молитвенном благочестии. Наши окна выходили на узкие улочки, откуда непрерывно доносился шум торговцев, скрип повозок, рев ослов и прочие суматошные крики. И вдруг наступил момент такой внезапной тишины, что показалось, будто Вселенная затаила дыхание и сама природа подчинилась безмолвию, ведь умолкли даже вечно ревущие ослы: с минарета, что, подобно

указующему персту, вонзился в вечереющее небо, раздался крик муэдзина «Аллах акбар». Вырвавшийся из сердца всех живых существ, испытывающих страх и душевную тоску, этот призыв разнесся по границе между светом и мраком и напомнил, что вовсе не обязательно разделять содержание молитвы, важно настроиться на волну всеобщего благоговения; точно такое же чувство возникало и на рассвете, когда тот же призыв возвещал пробуждение жизни, в которой есть восходы и закаты.

Моя последняя поездка – в 1911 году – была в Россию и Швецию; возвращаясь домой, я из Стокгольма отправилась вместе с одним тамошним психотерапевтом в Веймар, где в сентябре проходил конгресс сторонников учения Фрейда. Год спустя я уже была в Вене, и с тех пор не предпринимала путешествий, не связанных с профессором Фрейдом или Райнером, не считая поездок, которых требовала моя профессиональная деятельность…

После того как мировая война навсегда отделила эти годы беззаботных посещений разных народов и стран от последующего периода, они, с их радостным и доверительным взаимопереплетением чужого и своего, казались ретроспективному взгляду отрезком жизни почти нереальным, сохранившимся только в воспоминаниях; на них можно было смотреть только глазами совершенно другого человека, каким я стала в последние пятнадцать лет, после 1914 года.

Вместо разностороннего обмена мнениями со старыми и новыми знакомыми теперь единомышленники все теснее сплачивались в единые коллективы. В Вене, в кружке Фрейда, тогда еще довольно немногочисленном, меня приняли как свою, я чувствовала себя связанной с ними братскими узами. Многое производило на меня такое же благоприятное впечатление, как когда-то в нашем с Паулем Рэ кружке; мне даже казалось, что вернулось то ощущение уверенности в себе, которое я испытывала, когда жила вместе со своими братьями: мы были очень разными, но происходили от одних и тех же родителей. Откуда бы мы ни прибыли, пусть даже из самых отдаленных уголков земли, из самых дальних стран, мы чувствовали себя единомышленниками.

В большинстве своем участники кружка были призваны в армию. Все три сына и зять Фрейда были на фронте. Намекая на мое хорошее отношение к мужчинам вообще, Фрейд писал мне однажды: «Ну, что Вы теперь скажете о братьях?! И сможете ли вы с вашей веселой доверчивостью быть после всего этого снова веселой?». Во власти симпатии к воюющим народам, погруженная в глубочайшее одиночество и внутренний разлад, я могла

ответить только одно: «Нет, не смогу».

Война – мужское дело, занятие для мужчин. Отсюда рукой подать до вот какого соображения: как изменился бы мир, если бы им управляли женщины! Как часто мечтала и размышляла я об этом, не принимая внутренне неизбежности человеческого удела! Разве трудно своими глазами увидеть то, что высится на всех границах между воюющими странами подобно огромному памятнику, – фигуру скорбящей матери, склонившейся над каждым павшим, над своим сыном? И все же было бы обманом зрения придавать невидимому образу только такое толкование. На деле все обстоит по-иному. Ибо материнское начало, мать, из которой возникает во плоти человеческий род, – это не только судьба вечно терпеть то, что происходит с каждым из ее сыновей, не в меньшей мере это и вечное повторение того, что в их лице угрожает самой жизни. Быть матерью означает по необходимости и страстную любовь, и такую же ненависть, означает неисправимую нетерпимость и жажду уничтожения, когда речь заходит о том, кого она родила для жизни, кого лишь отпустила от себя, видя в нем неотчуждаемую часть самой себя. Материнская наследственная доля придает каждому родившемуся на свет как силу жертвенности, так и силу жестокости, неизбежно делает его подобием всех других людей.

Как бы страстно ни стремился человек к миру, в глубине души каждого живет чувство, что он не отдал бы за это жизнь без борьбы, без гнева и яростного отражения всего, что ему угрожает. Поэтому в последовательном пацифизме, даже самом искреннем и возвышенном, не без основания подозревают холодное равнодушие; ибо где прокладывает себе дорогу такой дистиллят из здравомыслия и эмоциональной благовоспитанности, там явно будет недоставать страстной солидарности, идентификации с объектом агрессии.

Потому-то остается только внешнее различие между более грубыми, дикими временами и нашей цивилизованной, гордящейся своей культурой эпохой, которая умеет, с одной стороны, создавать хитроумное оружие и средства уничтожения, но, с другой стороны, считает своим моральным долгом лечить нанесенные противнику раны. Ведь мы только потому и ведем войны, что война идет внутри каждого из нас. Она гнездится в нас на двух уровнях, противостоящих друг другу и соперничающих друг с другом; как и каждый индивид, человечество, руководствуясь сферой инстинктов и сферой разума, ведет себя двояко. Правда, с развитием культуры появляется и третья возможность: сделать так, чтобы обе сферы находились в согласии друг с другом (к примеру, в духе тех

соглашений, что заключаются враждующими сторонами после войны), даже если это мирное сосуществование не будет время от времени нарушаться. К такой методике мы прибегаем, чтобы не довоеваться внутри себя до полного саморазрушения. Правда, это всякий раз порождает в нас стойкую тягу к маскировке, скрывающей суть дела и вводящей в заблуждение, повернутой не только наружу, но и внутрь, скрывающей не только лицо, но и душу; такое вряд ли было свойственно человечеству более наивному, разуму менее изощренному, значительно сильнее зависимому от сферы инстинктов. В противоположность этому такие времена вызывают к жизни и более глубокие переживания, обнажают самые древние пласты человеческой психики. Из того, что рассказывают много лет спустя вернувшиеся с войны, можно узнать много захватывающего и доселе неизвестного. То, что обозначалось словом «товарищество», братство, благодаря общности опыта далеко выходило за рамки дружеских или семейных отношений, вырастало в некую тотальность, одинаковость переживания, как если бы снова возродилось то, что объединяло и укрепляло людей задолго до того, как они стали отделяться друг от друга и осознавать свою обособленность. Из рассказов о войне, из описаний неведомого ранее единения с природой люди узнавали нечто новое, отличавшееся от привычного образа жизни, не сводившееся к практическим делам, к эстетизации войны или сентиментальным воспоминаниям о ней.

После подобных рассказов прямо-таки верилось, что это обновление можно пережить только под ударами судьбы, обрушивающимися на друзей и врагов и меняющими их облик, тогда как народы, которых война обошла стороной, – как и мы сами в мирное время, – узнают об этом из преданий, для них это всего лишь забавный исторический эпизод, случившийся где-то очень далеко. Пагубное постижение жуткой реальности имеет, вне всякого сомнения, огромное значение для человека, ибо именно люди, люди, люди открывают эту реальность в собственной душе: человек только тогда познает истинную цену жизни, когда отпадает необходимость скрывать что-либо от самого себя…

После окончания мировой войны военные действия продолжались беспрерывно еще добрую дюжину лет, несмотря на все попытки положить им конец. Еще до официального провозглашения мира русская революция окончательно разлучила меня с семьей и родиной! Произошедшие там перемены могли быть продолжены только благодаря революционному насилию.

Во время войны и в послевоенные годы глубинная психология Фрейда – как научная дисциплина и как лечебный метод – все больше и больше подчиняла себе мою личную жизнь.

Нет ничего более напоминающего войну, нежели беспощадное обнажение задиристо-воинственного начала, коренящегося в глубинах нашей души. Нет ничего, что лучше помогало бы понять скрытые причины военного противостояния, когда противники находятся в шаге друг от друга, на грани мира, нежели совместное погружение в тот основной пласт, на котором строится душевная жизнь каждого человека.

Что же произошло? Только то, что в комнату, не встретив ни любви, ни ненависти, вошел человек, деловито взялся за эту работу – и все же это было нечто куда более захватывающее, выходящее за рамки только живого сотрудничества.

Шли годы, редели ряды современников, одни умирали от старости, других, молодых, прибрала война, – а чужой человек оставался.

В последние дни 1926 года умер Райнер; 4 октября 1930 года скончался мой муж. Вскоре после этого я попыталась – скупо и плохо – воссоздать главные черты его облика, думая при этом только о ближайших его учениках и друзьях. Поэтому позже я выделила написанное в приложение к тому, что год спустя все настойчивее стало всплывать и ложиться на бумагу из непредсказуемых воспоминаний о моей собственной жизни: из тех свойственных человеку повторений прошедшего, которые не случайно настигают нас только в старости, словно им требуется долгий путь, чтобы предложить нам лишь самое непреходящее.

Кроме того, личные переживания каждого человека в отдельности не так уж и важны, как нам того хотелось бы; не так уж и важно, на каком отрезке бытия нам выпадает испытать его радости и горести. Ведь даже самый маленький, по видимости совсем незначительный из его смыслов может открыть перед нами неисчерпаемые глубины, ведь даже в самой блестящей и удавшейся жизни общая картина может оказаться недоступной человеческому глазу.

Ибо глаз видит только картинку-загадку: мы сами вписаны в ее бесхитростную тайну.

Ф. К. Андреас

Значительный человек, в отличие от тех, кого (большей частью опрометчиво) называют заурядными, – это личность более крупного масштаба, способная включить в себя всего человека, «со всеми его противоречиями», но и со всеми его проблемами, возникающими от столь близкого соседства противоречий. И то, что мы привыкли называть «дарованием», часто проявляется только благодаря внутреннему драматизму, трению при неизбежно возникающих попытках уладить конфликты, попытках, прибегающих к крайним, последним мерам. Так называемая гармония личности, являющаяся в известной мере целью всего человечества, в действительности есть или довольствование душевным покоем, доставшимся по дешевке вследствие сокращения отпущенных человеку возможностей, или же попытка создать незамысловатую схему совершенства, которую мы конструируем и иллюстрируем по образцу лишенных разума животных и растений, с завистью констатируя у них отсутствие таких далеко идущих осложнений, какие имеются у нас.

В пределах человечества бессознательное и осознанное противопоставлены друг другу как «примитивное» и «культурное», хотя одно является продолжением, а не ослаблением другого, так как то, что стало достоянием сознания, не врывается от бессознательного, а лишь надстраивается над ним, со своей колокольни мы рассматриваем это двуединство как соединение европейского и внеевропейского начала (несмотря на существование высокоразвитых культур вне Европы в древности); или же оно соответствует в наших глазах двум направлениям – преимущественно северо-западному и преимущественно юго-восточному. В конечном счете это противоречивое единство охватывает неразрешимую в принципе проблематику человечества вообще. Но возведение этого противоречия на индивидуальный уровень означает как прирастание душевного богатства, так и многократное отступление от борьбы между дарованием и встающими на его пути трудностями. Если человек рожден в месте внешнего столкновения названных выше направлений и возможностей, унаследованные им качества неизбежно будут не только взаимообогащаться, но и мстить друг другу, более того, это обстоятельство скажется на становлении главной черты его характера. Оно всякий раз напоминало о себе, когда я пыталась разобраться в облике Ф. К. Андреаса; он чувствовал себя зажатым между этими направлениями и отдавал себе отчет в их достоинствах и недостатках, поэтому я не могу не

попытаться понять его с этой точки зрения, хотя и сознаю односторонность такого толкования. Оно проясняет только одну, хотя и главную, черту его облика, и этой чертой я хочу ограничиться; дать его полный портрет мне мешает личная, слишком короткая дистанция, с которой я его наблюдала.

Фридрих Карл Андреас, по материнской линии внук северо-немецкого врача, человека высокой духовной культуры, переселившегося на Яву и женившегося на малайке, красивой, мягкой и очень любимой нм женщине, соединил в себе Запад и Восток уже фактом своего рождения; его мать, со своей стороны, связала свою судьбу с жившим в Исфагане армянином из княжеского рода Багратионов; по обычаю персидских межродовых распрей побежденная сторона меняла фамилию, в данном случае в качестве фамилии было взято имя Андреас. Когда маленькому Андреасу исполнилось шесть лет, его отец перебрался в Гамбург, четырнадцатилетнего сына он отдал в гимназию в Женеве, где тот обратил на себя внимание пылким честолюбием и – наряду с музыкой – усиленным изучением языков. В немецких университетах он сосредоточил свое внимание на востоковедении, а именно на иранистике, в 1868 году защитил диссертацию в Эрлангене, два года прилежно занимался специальными предметами в Копенгагене, пока из-за войны 1870 года не вернулся домой. К концу войны он отправился в Киль, чтобы усовершенствовать познания в персидской письменности и языке, но закончил свои исследования только в 1882 году, так как его в качестве сопровождающего послали с экспедицией в Персию. Это полностью соответствовало его желанию, он мог соединить свои научные изыскания с личным опытом и впечатлениями от Востока, но, с другой стороны, в нем возник разлад между преследующим свои цели европейцем и человеком, стремившимся на досуге впервые в жизни вернуться на Восток, на свою родину. Но то, чему так благоприятствовала судьба, не увенчалось успехом. Он отправился вслед за экспедицией с большим опозданием – она давно уже была в пути, – но задержался в Индии, где ему удалось сделать ценные наблюдения и находки, не имевшие, однако, ничего общего с тем, ради чего он был послан; его поведение вызвало возмущение, первые отчеты Андреаса из Персии тоже не встретили понимания, и его отозвали. Чашу терпения переполнил его темпераментный, источавший ненависть официальный ответ на предложение вернуться, после чего он продолжал упрямо и напряженно работать в Персии без финансовой поддержки государства. Шесть лет длилось его пребывание в Персии, большей частью это были годы горькой нужды. После возвращения, к которому его

вынудила болезнь глаз, нажитая при изучении надписей при ярком солнечном свете, он влачил жалкое существование, давая обременительные для него частные уроки, пока в Берлине не открылся семинар по востоковедению, где ему предложили должность профессора. Но вскоре он лишился и этой работы вследствие интриг – его упрекали в том, что и здесь он не соответствовал поставленной перед ним цели и выходил за рамки своей задачи, которая заключалась не в подготовке ученых, а в обучении дипломатов и заинтересованных в практических результатах торговых людей; это было тем более необоснованно, что его аудитория состояла только из ученых, для которых он был прирожденным наставником.

Главная опасность этих обусловленных внешними обстоятельствами недоразумений заключалась в том, что они выучивали внутренний разлад, свойственный его натуре; ибо даже там, где он без всяких помех мог отдаться исследовательской работе, перед ним вставала другая преграда: путь рационального доказательства казался ему бесконечным, так сказать, не имеющим конечной точки в сравнении с внутренней очевидностью, которой в его глазах с самого начала почти таинственным образом наделялись предметы научного исследования.

Основательность Андреаса, доходившая в своей чрезмерной педантичности до крайности, именно потому, что как нельзя лучше соответствовала его натуре, сталкивалась с неспособностью воздать должное другому его дару – провидческому. Одно от другого отделяла, проходя точно посередине, невозможность доводить дело до конечного результата. Один недоброжелатель Андреаса однажды очень точно выразился по этому поводу: «На востоке ты обрел бы себя в роли мудреца». Но в шатре под южным небом, делясь своей мудростью с учениками, Андреас думал не о себе, а о строжайшем научном подходе к своему предмету, он видел себя исследователем западного толка. Оба этих его качества не признавали взаимных уступок; каждое было целиком поглощено собой, да иначе и быть не могло у человека такого сильного темперамента. Ничего не изменилось и позже. Получив в Геттингене кафедру иранистики и западно-азиатских языков, он так и не удосужился зафиксировать и опубликовать результаты своих исследований, оставил их в виде предварительных заметок, то есть опять-таки не довел до завершения. Строго говоря, благодаря такой фиксации окончательный результат вряд ли был бы достигнут, проблему можно было бы и дальше исследовать вглубь и вширь, при желании даже посвятить ей всю жизнь. Смесь

чрезмерной основательности с даром предвидения и комбинаторскими способностями (последнее считалось сильной стороной Андреаса) не позволяла ему добиваться официального признания своих трудов и ни в коем случае не допускала их целенаправленного использования. Поэтому самая ценная часть научных изысканий Андреаса оставалась чем-то вроде его сокровенных прозрений, была его личным переживанием, хотя каждый, даже малейший элемент изысканий и аргументации был направлен на постижение целого и действительно помогал лучше увидеть суть этого целого.

Было, однако, одно место, где оба враждебных друг другу метода познания в нем соединялись: чудодейственное слияние предвидения и учености происходило в людях сходных исследовательских устремлений – в созревших для самостоятельного творчества учениках. Благодаря науке его не поддающиеся научному объяснению способности переходили к ученикам. То, что пятнадцать лучших лет своей жизни он провел без талантливых учеников (например, когда в Берлине обучал немецкому языку турецких офицеров), было для него смерти подобно. Только в Гёттингене он пережил высочайший взлет благодаря контактам с одаренными учениками – он значил для них больше, чем просто учитель или поучающий друг. Ученики были для него пашней, которую он засевал своими богатейшими знаниями – безошибочно, не ведая сомнений, как умел делать только он. Один из его коллег, знавший его со времен юности, так выразился о моем муже после его смерти: «Того, кто оказывался среди его учеников, он крепко держал в руках, требуя верности себе; зато каким заботливым наставником был он этим людям!». Трогательное отношение к Андреасу со стороны его бывших учеников почти вытеснило из моей памяти сам факт его смерти; говоря так, я имею в виду не их тоску по нем, не их соболезнования или чувство тяжелой утраты, а то обстоятельство, что образ его продолжал воздействовать на них с такой силой, будто Андреас только теперь обрел реальное существование. Мне хочется рассказать о том, что поведал мне один из самых любимых его учеников. Возвратившись с военной службы, на которой он провел несколько лет, этот ученик почувствовал себя оторванным от науки, так как тяга к ней и способ научного мышления уже не находили в его памяти соответствующего материала. «Заново выстраивать свой внутренний мир благодаря чтению книг казалось мне безнадежным делом; но стоило мне спросить себя, как было все тогда у Андреаса… в самый первый день и позже… какой вид был у него, когда он произносил слова, которые с самого начала так захватили меня, что, казалось, я

утону в них и не сумею с ними справиться, хотя мой прежний замечательный учитель внушал мне, что я «созрел для Андреаса», – стоило мне спросить тебя об этом, и под влиянием этих воспоминаний искомый материал снова всплыл в моей памяти. То, что менее всего было книжным знанием, что даже не сохранилось в моих конспектах, так как Андреас в процессе обучения всегда искал новое и вместе с учениками это новое находил, сохранилось во мне как живое переживание в полной неприкосновенности и с того момента могло снова развиваться вширь».

Благодаря личным качествам и знаниям в его учениках выстраивалось в единое целое то, что в нем самом находилось в непримиримом противоречии: очевидное, явное, не подлежащее сомнению – и бесконечное множество мелких фактов, требовавших детальной аргументации. Общее впечатление, им производимое, один из бывших его учеников определил как «поистине королевскую величавость», которую он когда-либо встречал и которая защищала Андреаса от любых нападок извне; она заключалась в осознании им своего духовного богатства и в полном отсутствии тщеславия, жажды внешних почестей, во внутренней независимости от всего этого.

Форма, в которой Андреас проводил свои семинары (не в университете, а дома, в своем рабочем кабинете), позволяла привлекать к процессу обучения чисто личные впечатления. Собирались ученики только вечером, так сказать, ближе к ночи, и расходились очень не скоро – Андреас, никогда не ложившийся спать раньше четырех утра, легко путал день с ночью. Неизбежно возникавшая в таких случаях усталость снималась чаем с печеньем (чай с восточной тщательностью заваривал сам Андреас) или же вином с бутербродами; от характера и темы обсуждаемого материала зависело, что появится на столе.

Проблемы учеников он воспринимал как свои собственные. В первые годы работы в Гёттингене ему с огромным трудом удалось обеспечить одному из своих учеников, отправлявшемуся с экспедицией в Персию, вполне удовлетворительную финансовую поддержку; кажется, никогда больше не видела я у него такого сияющего радостью лица, как в день, когда он вернулся домой и сообщил мне об этом; только в этот момент он окончательно забыл о тех неприятностях, которыми сопровождалось его собственное участие в той роковой экспедиции. И все же где-то в самых глубинах этого поистине спасительного удовлетворения от общения с учениками противоречивость характера Андреаса не растворялась окончательно. Подобно трагической возможности она таилась в его существе – и время от времени, пусть даже едва

обозначаясь, заявляла о себе. Например, когда кто-нибудь из его учеников переходил к собственному творчеству – предпочитаемый, поощряемый и любимый именно благодаря этим своим творческим способностям – и лучше, чем Андреас, приспосабливал свой талант к определенным целям. На созданное другим Андреас непроизвольно переносил тогда свое недоверие и свои сомнения: действительно ли все додумано до конца и созрело для публикации; он сомневался, не превратилось ли в жертву честолюбивым устремлениям и поспешности то, что составляло неисчерпаемый, абсолютно свободный от каких-либо конкретных целей смысл их совместной работы. Но кто может с уверенностью сказать, не была ли в конечном счете эта подозрительность для Андреаса чем-то вроде гигиенической необходимости – чтобы самому осознать подозрительность противоположного свойства: разлад между двумя методами его собственного творчества – ведущим к спонтанному результату благодаря интуиции, с одной стороны, и требующим научной аргументации, в принципе не признающим завершенности, – с другой. Его страх во всех случаях был страхом перед отвлекающим маневром дилетантизма, который внушает ложную веру в то, что постичь целое можно, только отказавшись от точности в подходе к частностям. В скрытой потенциальной ненависти Андреаса к любимым ученикам этот страх пересекался с грустью расставания с ними из-за боязни, что даже для них он не сумел в полной мере извлечь пользу из своих знаний. Это не притупляло его дружеского расположения к ним, а, наоборот, болезненно, с примесью ненависти, углубляло его. Молодой Гауптман нашел непревзойденно точные слова для выражения этой способности моего мужа любить: «Такой неукротимый – и такой нежный».

Нельзя не обратить внимание и на ту черту Андреаса, которая из-за раздвоенности его натуры вела к чрезмерным нагрузкам и перенапряжению; по временам он мог впасть в состояние внутреннего беспокойства, в некое лишенное радостей существование, которое не позволяло ему оглянуться назад и подытожить сделанное; в результате этот удивительно крепкий человек вдруг казался усталым и словно загнанным. Это приводило к тому, что в нашей совместной жизни лучше было не нарушать его сосредоточенности и не отвлекать его ни на что другое, даже если это другое могло показаться ему интересным (а этого духовно подвижного человека интересовало буквально все!). Отсюда же вытекала его беспомощность по отношению к чисто служебным обязанностям, связанным с определенными сроками и не требовавшим, так сказать, полной отдачи; он

отдавал им больше сил, чем требовалось, и это «больше» делалось с таким напряжением, что не могло быть доведено до конца. Такого рода внутренние противоречия так отражались на его физическом состоянии, что воспринимались как удары судьбы и вызывали к нему жалость. Поэтому на протяжении всей жизни в нем оставалась неутоленная тоска по тому, что не удалось свершить в молодые годы, и обида на то, что выпало ему пережить на немецкой родине. Я вспоминаю, какое впечатление на него произвел мой вопрос (меня попросил об этом человек, благоволивший Андреасу), не напишет ли он свою автобиографию для сборника жизнеописаний ученых. Муж как раз стоял и наливал себе чаю. Он ничего не ответил, но его загорелое лицо вдруг побледнело, а глаза угрожающе впились в одну точку на стене, словно именно там прислонился к ней смертельно опасный для него спрашивающий. Он быстро поставил на стол чайник, так как у него задрожали руки. Банальная причина, почему он поставил на место чайник, была в общем ясна. Но у меня осталось пронзительное впечатление, что даже мысль об этом была для него непереносима…

Но это и подобное этому никак не сравнимо с тем, что мы обычно считаем несдержанностью или недостатком самообладания: эти качества при определенных условиях тоже доходили у него до крайности. Вспышки раздражения случались у него только потому, что его эмоциональная сфера была восприимчивее, чем у других людей, и приходила в волнение даже по поводу того, что едва ли имело отношении к нему самому; она была рада неожиданно проявить себя в самой спокойной обстановке. Тогда его вспыльчивость пугала даже больше, чем повод, ее вызвавший.

Мне вспоминается в этой связи один характерный эпизод, случившийся в первые годы после нашего бракосочетания. Мы приобрели в качестве сторожевой собаки огромного водолаза, и однажды летней ночью мой муж крался из сада к входной двери, чтобы проверить, кого почувствует еще не привыкший к нему пес: хозяина или вора; он крался обнаженным, таким собака его еще не видела. Крался он так осторожно и ловко, с таким самозабвенно серьезным лицом и так напоминал подбирающегося к своей жертве хищника, что оба (это трудно выразить словами) походили друг на друга, как две тайны. Внутренняя драма, терзавшая собаку, эта борьба «за или против» так захватила Андреаса, что он, казалось, уже не играл, а весь отдавался двойному желанию в себе, ибо ему и впрямь хотелось, чтобы его новый товарищ не только охранял, но и любил его. Собака страшно напряглась, но все же с блеском выпуталась из этой

ситуации: угрожающе ворча, она отступила назад. Невероятно довольный таким исходом своей затеи, муж громко рассмеялся и принялся восторженно обнимать прыгнувшего ему на плечи пса.

Нередко в нем удивляла какая-то сдержанность, затаенность, едва скрываемая вопреки – или благодаря – внутреннему участию. Так, например, когда его ближайший друг Франц Штольце, сопровождавший Андреаса в поездке в Персию, рассказывал о проведенных там вместе с ним годах, как обычно рассказывают об интересных приключениях, муж мой чаще всего сидел рядом, отделываясь односложными замечаниями. Чувствовалось, что для него это не просто нечто интересное, а самое сокровенное, о чем – даже в самых общих чертах – распространяться нескромно. И не только из-за выпавших при этом на его долю тяжелых испытаний, но и по причине слишком глубоко пережитых мгновений счастья. Но случались часы, когда он делился этими сокровищами своей души и рассказывал друзьям и ученикам о вечерах у вице-короля, о своем слуге, о лошади, о любимом фокстерьере, с которым он расстался в великой печали, о своем хамелеоне. Однако лучше я снова дам слово одному из уже упоминавшихся друзей, который запомнил, как Андреас рассказывал о своих странствиях: «Когда под утро я уставал от своей непосредственной работы, но меня все еще не отпускали домой, мы продолжали беседовать. Однажды он прочитал мне вслух четверостишие Омара Хайяма в переводе Розена; это был не просто рассказ о Персии, это была сценка, разыгравшаяся под небом Персии. В стихах шла речь о восточной мудрости, о вине и любви, в них царил дух веселья и бесконечной нежности…». Или вот еще пример: «Кроме постоянно обновляемого творческого подхода, благодаря которому изучаемый материал давался не как нечто застывшее и готовое, всё, даже на первый взгляд сугубо формальное, касавшееся грамматики, было в его изложении частицей Востока. За производными рациональной науки чувствовалась кипучая жизнь, у которой это было позаимствовано, невыразимая, пульсирующая жизнь, и эта жизнь превращала для него слова и соответствующие правила произношения и склонения в образы реально существующего мира…».

Мне представляется, что в этом смысле «реальность» духовного начала в восточном человеке присутствует непосредственнее и осязаемее, нежели в человеке западного склада, для которого понятия «идея», «идеальный», «идеологический» всегда означали некоторую дистанцию к конкретному предмету, возвышающую или углубляющую его (если отвлечься от гётевской любви к Востоку и к природе,

которая «то и другое вместе»). Духовному началу придается выражение телесности, телесное же, в свою очередь, наделяется значением, выходящим за пределы конкретного. Этим, я думаю, можно объяснить своеобразие и суть характера Андреаса, в котором «духовное» и «телесное» пребывали в неразрывном единстве. Его ученики знают, как часто перед семинаром или после него вопросы личной гигиены обсуждались с такой же обстоятельностью, точно и они были частью учебного материала; и хотя Андреас никогда особенно не заботился о своем физическом состоянии или внешнем виде, телесное, то есть само тело, по-восточному опрятное и ухоженное, требовало к себе благоговейного отношения и в этом плане ничем не уступало началу духовному. В шутку можно было бы сказать, что духовное в нем не угадывалось явно, но неопровержимо давало о себе знать не столько неспешным выражением мыслей, сколько своими необъяснимыми спонтанными и экзистенциальными проявлениями. В связи с этим мне на ум все время приходит стишок из старика Маттиаса Клаудиуса (известный моему мужу, должно быть, еще со времен детства, проведенного в Гамбурге), который он цитировал всегда в тоне веселого лукавства и который, мне кажется, прямо вытекал из его внутренней уверенности в себе, и эту уверенность не могла поколебать односторонность темного телесного или светлого духовного начала:

Вон в небе месяц-тихоход
Ополовиненный плывет.
Но как округл, красив и ясен…

К этому следует добавить, что в том впечатлении, которое производил Андреас, молодость не столь резко отличалась от старости, как это обычно бывает. Оба эти возраста не отдалялись стечением времени друг от друга; не могу припомнить, был он раньше вдумчивее или неистовее; когда он бывал полностью самим собой, то в его облике чувствовалось что-то вневременное – тот до поры невидимый шарм, о котором можно сказать, что он «округл, красив и ясен». Именно благодаря ему он умел очаровать многих, в том числе и тех, кто знал его поверхностно или совсем немного. Невзирая на внутренний разлад, на причинявшую ему боль несовместимость некоторых черт характера, его овевала несокрушимая ясность, не покидавшая его вплоть до восемьдесят пятого года жизни, когда он, не ведая страха перед приближающейся смертью, тихо отошел в вечность. Когда он был уже в преклонном возрасте, я думала поневоле: проживи кто-

нибудь свою жизнь не так, как он, просто и естественно отдаваясь решению необычных задач, а как изверг, злодей и мот, но сохранив после столь долгой жизни такую же жизнерадостность, душевное веселье, способность впадать в гнев и исходить нежностью, – воистину, такой человек был бы достоин оправдания и пришелся бы по душе людям…

То, что я здесь о нем рассказываю, всего лишь попытка сослаться на суждения людей, сохранивших о нем добрую память; я убеждаюсь в этом, когда окидываю взглядом комнаты, в которых он обитал и в которых самые незначительные события повседневной жизни красноречиво напоминают о нем, вызывают к жизни его образ.

Или: я гляжу из окон на фруктовый сад и представляю, как Андреас, закончив работу, еще раз обходит его; это случается летом, в предрассветные сумерки, перед отходом ко сну. Чаще всего он еще переполнен научными проблемами, за решением которых забывал обо всем на свете, радостно отдаваясь своему тяжелому труду. Но видела я и нечто другое, видела, как он, пробираясь неслышной звериной поступью по саду, будил черных дроздов, так ловко подражая их голосам, что они тихо отвечали ему и вдруг затевали свою услаждающую слух болтовню; слышала, как петух, крепко спавший в курятнике, с задорным тщеславием старался перекричать кукареканье чужака-соперника.

Человек, который умел искусно подражать голосу дрозда и петуха, делал это не просто столь же основательно, как и все, чем он занимался за письменным столом; то и другое казалось ему одинаково важным и нужным, среди птиц он был как бы в обществе равных себе.

О том, чего нет в «Воспоминаниях» (1933)

Существенное и сокровенное человек не может высказать о себе сам. Следовательно, невысказанным остается самое главное. Но если замалчивается позитивная сторона этого главного, оно может выразить себя через негативное, обозначиться в своих ошибках и изъянах, наметить свои контуры с помощью умолчаний.

То, о чем я хочу сказать, началось внезапно, в пути, при очень личных обстоятельствах – возникло из недоразумения между другом моей молодости Паулем Рэ и мной; словно совершенно исправный экипаж столкнулся на полном ходу с препятствием и развалился на части.

Внешних препятствий на нашем пути встречалось немало, но мы беззаботно и безмятежно шли своей дорогой; куда бы ни вела эта дорога, она, как нам казалось, никогда не разойдется со стезей нашей собственной жизни.

Недоразумение возникло из-за того, что я сделала шаг в сторону другого человека, не сообщив – ради этого другого – своему другу, Паулю Рэ, правду об этом поступке.

Пауль Рэ, которому труднее всего на свете было поверить в то, что его любят, увидел в этом шаге доказательство внутренней готовности к разрыву и сделал свой вывод, обернувшийся позже ненавистью.

Он не подозревал, что никогда – ни до того, ни после – я даже близко не испытывала такой нужды в нем, как в тот момент. Ибо давление обстоятельства, из-за которого я совершила этот необратимый поступок, разлучило меня не только с ним – разлучило с самой собой.

Только тот, кто всесторонне и глубоко знал моего мужа, кто любил его за характер и темперамент, мог бы догадаться, что означают эти слова – «давление обстоятельства». Причиной, вызвавшей это давление, была неодолимая сила, жертвой которой стал мой муж. Неодолимая, ибо она не только заявляла о себе могучими зовами инстинкта, но и была одновременно неизбывной реальностью. И свое полное воплощение нашла не в уговорах – она сама воплотилась в моем муже, в его телесной конституции. Бессмысленно рассказывать об этом тому, кто не сталкивался с особенностями, которых я не встречала ни у кого больше, кроме моего мужа. Почти столь же нелепо сравнивать это с воздействием чего-то чрезмерного, жестокого, какого-то громадного, не останавливающегося ни перед чем создания – или чего-то очень нежного, совершенно беспомощного,

напоминающего птенца, раздавить которого, отринуть в его наивной доверчивости выше наших сил.

Примечательно, однако, что эти неуклюжие, скверные сравнения непроизвольно берутся мной из тварного мира. Но эти примеры дают представление о том, насколько ограничены критерии человеческого.

У меня осталось впечатление, что Андреаса совсем не интересовали тогдашние мои чувства, которые, как, например, эротическое возбуждение, могли бы подвигнуть на безрассудный шаг; наоборот, он строго отделял одно от другого. Что до моих чувств, то я относилась к этому совсем не по-женски; мое отношение к нему в этом вопросе было таким же нейтральным, как и к спутнику моей юности. Но там это основывалось на чем-то, что хотя и проявлялось почти незаметно, но все же отделяло чувство самой глубокой дружбы от любви, ибо чувствами мы – сильнее или слабее, но все же воспринимаем телесную чуждость. Здесь же о чем-то подобном не могло быть и речи: ни в самом начале, ни в последующие десятилетия.

По-видимому, тут могли действовать другие причины: та известная очень многим женщинам стесненность, которая яснее и лучше всего истолкована в психоанализе. Однако опыт моей поздней молодости опровергает верность таких умозаключений. Что бы об этом ни думали другие, мой муж тогда был уверен, что подобные «девические выдумки со временем пройдут». Однако «со временем» это обернулось всей жизнью и более того – вобрало в себя даже смерть, чего муж просто не принял в расчет.

Эта потребность в целокупной жизни занимала меня в куда большей степени, нежели упомянутый особый вопрос, на который я так и не дала ответа; меня еще переполняла скорбь по исчезнувшему спутнику; я поставила условием своему мужу, что не расстанусь с другом молодости, и он, будучи готовым на все, в конце концов согласился с этим. Когда задумываешься над тем, насколько он был старше и опытнее меня, и насколько я сама была наивнее и ребячливее в сравнении со своими сверстницами, то его надежды и несокрушимая уверенность кажутся почти чудовищными.

Но мы оба недостаточно знали меня, мою «натуру» или как еще можно назвать то, что без нашего ведома управляет нашими поступками. Девические представления или серьезно и основательно выработанные позже воззрения, которых я придерживалась, не играли для меня решающей роли. Эту сложную проблему я хочу объяснить на примере из совсем другой области, о чем уже рассказывала в своих воспоминаниях, – на примере своего выхода из лона церкви. Выход этот не был для

меня проявлением своеволия или, тем более, фанатизма правдолюбия, я боролась с этим побуждением, которое неизбежно повергало в печаль моих родителей и приводило к скандалу, боролась не только рассудком – я, так сказать, «морально» осуждала свое возможное поведение как форму экзальтации. В сущности, решала тогда не я, решал приснившийся мне ночью сон, когда я на церемонии конфирмации громко крикнула: «Нет!». Не скажу, будто, проснувшись, я убоялась, что поступлю точно так же и наяву; скорее, я только тогда окончательно поняла, насколько невозможно добиться от меня требуемого даже для проформы.

То, что мы считаем своими мотивациями и убеждениями, как бы ни были мы озабочены чистотой взаимосвязей между ними, при определенных обстоятельствах оказывается совершенно не имеющим для нас значения и напоминает паутину в пору бабьего лета, которая рвется и улетает от малейшего дуновения ветра.

Когда вдруг поймешь это, жизнь может резко измениться.

И вот однажды мы оба пришли к такому пониманию, хотя в тот момент хранили молчание и так никогда больше и не осмелились затронуть эту тему.

Быть может, его подтолкнуло внезапное решение застать меня врасплох, овладеть мною. Я, во всяком случае, проснулась не сразу. Меня разбудил какой-то звук, слабый, но с таким странно резким оттенком, что мне показалось, будто доносится он из бесконечности, с другой планеты… К тому же у меня было такое чувство, что мои руки не со мной, а где-то надо мной. Я открыла глаза и увидела, что руки мои сплелись на чьем-то горле… Они сильно сдавили его и душили. Странный звук был хрипом.

То, что я увидела над собой, глаза в глаза, я не забуду до конца дней своих… Я увидела лицо…

Позже мне часто вспоминалось, как незадолго до нашего обручения на меня чуть не пало подозрение в покушении на убийство…

Возвращаясь по вечерам домой, в свою квартиру, которая находилась довольно далеко, Андреас носил с собой короткий, тяжелый перочинный нож. Нож лежал на столе, за которым сидели Андреас и я. Спокойным движением он взял его и вонзил себе в грудь. Я, не помня себя, выскочила на улицу и бегала от дома к дому в поисках хирурга. Следовавшие за мной люди спрашивали, что случилось, и я отвечала, что человек упал и наткнулся на нож. Пока врач обследовал лежавшего на полу без сознания Андреаса, несколько брошенных им вскользь слов и выражение лица дали мне понять, кого именно он подозревает в

преступлении. Он не поверил мне, но в дальнейшем вел себя тактично и оставался любезен.

При ударе нож выскользнул из руки и сложился треугольником, поэтому лезвие не задело сердце, но рана долго не заживала…

Это был не единственный случай, когда мы оказывались на грани смерти, решали свести счеты с жизнью и улаживали свои дела с ближними, прежде чем навсегда покинуть этот мир. Нас обоих в одинаковой мере охватывало чувство беспомощности и отчаяния. Правда, это были всего лишь часы и мгновения, по которым нельзя судить о наших переживаниях в другое время. Нас ведь многое связывало: одинаковые склонности, сходное направление мыслей. Обычно – так мне кажется – эту сторону сильно переоценивают; да, такого рода близость наводит мосты, доставляет много радости и наделяет чувством деловой общности, но не менее часто она лишь прикрывает несходство, расхождения между людьми – и скорее сглаживает острые углы, нежели помогает лучшему взаимопониманию и более тесному сближению.

Само собой разумеется, я с самого начала старалась приспособиться к тем нормам поведения, которые соответствовали его жизненной цели. Я даже была готова оставить Европу, когда на первых порах у нас появилась возможность отправиться в Армению, туда, где находится монастырь Эчмиадзин. Наш образ жизни тоже все больше и больше отвечал запросам моего мужа; как и он, я стремилась к простоте в одежде и пище и к жизни на лоне природы; вопреки своим изначальным северным привычкам я решительно переменилась и осталась такой до конца жизни. Была еще одна область, где мы с мужем сразу нашли общий язык и на чем сошлись наши интересы: мир животных. Этот мир еще-не-человеческого потрясает нас смутным ощущением, что в нем наша человеческая сущность раскрывается в своем ядре более незамутнено, нежели мы сами обнаруживаем во всех осложнениях своей жизни. Мы с Андреасом совершенно одинаково относились к любому животному, но когда дело касалось отдельно взятого человека, наши взгляды чаще всего кардинально расходились.

В противоположность воинственно-деловой целеустремленности мужа моя готовность к приспособлению была частью моей натуры, чуждой тщеславию и не знавшей конкретной цели. Я даже не могла бы сформулировать, что для меня является крайне необходимым и главным, потому, видимо, что для достижения этого мне не требовалось напрягать внимания и прилагать усилия. За какое бы дело я ни бралась,

оно, если все шло как надо, непременно должно было привести к главному. К этому, правда, надо присовокупить тайное отчаяние, от которого я – каким бы ни было мое поведение – так окончательно и не избавилась. Разница между моим нынешним и прежним поведением – не относительно спутника моей молодости, а относительно моих спутников вообще – заключалась, собственно, в том, что если прежде вопрос, можно ли идти вместе с тем или иным из них одной дорогой и как далеко следует заходить по ней, казался мне до известной степени безобидным, имеющим разумный ответ, то позже вопрос этот едва ли имел для меня значение – по причине невыполнимости обязательств, которые я на себя возлагала. Вследствие этого любая духовная деятельность, которой я занималась, обретала чрезвычайную самостоятельность; работа становилась самоцелью, желанным делом, которое требовало самоуглубления и одиночества; она не имела отношения к нашей совместной жизни и к проблемам, которые эта жизнь перед нами ставила. Все то, что называют притиранием друг к другу, у нас практически отсутствовало. Поэтому годы, в конечном итоге четыре десятилетия, не принесли слияния интересов – но и не вынудили каждого из нас отступиться от того, что составляло смысл нашей жизни.

Все это вряд ли объяснимо только на понятийном уровне, и все же было бы неверно видеть здесь отсутствие близости, которое с годами только нарастало. Доказательством мог бы послужить небольшой эпизод, который произошел незадолго до того, как муж вступил в последний год своей жизни. Тогда, поздней осенью, я заболела и около полутора месяцев пролежала в клинике, а так как с четырех часов дня я продолжала свои занятия психоанализом, муж получил разрешение посещать меня до трех часов – официальное время посещения строго ограничивалось. Для нас было совершенно внове вот так сидеть друг против друга: мы, не знавшие, что такое семейные вечера «при уютном свете лампы» и даже во время прогулок старавшиеся не мешать друг другу, очутились вдруг в совершенно необычной для нас ситуации, которая нас просто захватила. Мы растягивали и берегли минуты, как некогда во время войны люди, чтобы выжить, берегли хлеб насущный. Свидание за свиданием проходило так, словно встречались после долгой разлуки возвратившиеся издалека люди; нам самим тогда пришло на ум это сравнение и придало насыщенности этих часов оттенок тихой радости. Когда я наконец встала на ноги и вернулась домой, эти «больничные посиделки» невольно стали повторяться, и не только между тремя и четырьмя часами.

Среди тех, кто в то время интересовался литературой и политикой, мы после нашего бракосочетания встретили человека, который был замечен и отмечен нами обоими. В первый момент, что часто случается, я пропустила мимо ушей его фамилию, как, впрочем, и он мою. Когда этот человек представился еще раз, я заметила, что он внимательно рассматривает мои руки; я уже собралась было спросить, что это его так заинтересовало, как он сам резким тоном задал мне вопрос: «Почему вы не носите обручальное кольцо?». Смеясь, я ответила, что в свое время мы не удосужились обзавестись кольцами, да так все и оставили… Тон его, однако, не изменился, когда он осуждающе произнес: «Но кольцо надо носить обязательно!». В этот момент кто-то шутя спросил у него, понравилась ли ему «летняя прохлада в Плетцензее», где он только что отбыл срок за оскорбление Его Величества. Я нашла забавным – и не скрыла этого, – что именно из его уст исходит такой высоконравственный упрек в мой адрес, но он так и остался в дурном расположении духа, хотя до этого был общителен и разговорчив.

Вскоре мы подружились, и через несколько недель, когда мы вместе возвращались с одного собрания, он признался мне в любви, сопроводив свое признание непонятными для меня, но, видимо, долженствующими извинить его словами: «Вы не женщина, вы – девушка». Мой испуг, вызванный этим его неведомо откуда взявшимся знанием, настолько подавил все остальные чувства, что – не только в тот момент, но и позднее – я так и не смогла осмыслить свое отношение к этому человеку. Вполне возможно, что и я испытывала к нему ответное чувство; но пока оно подспудно вызревало во мне, его напрочь вытеснило другое – чувство страха, быть может, даже более сильное, чем то, которое испытывает высоконравственная мужняя жена, когда замечает, что неожиданно для себя начинает влюбляться в другого. Ибо верность брачному таинству или общепринятым условностям значила для меня много меньше в сравнении с той нерасторжимостью, которая ради натуры и характера моего мужа исключала всякое разъединение. Довольно быстро я снова столкнулась с тем самым страхом, который мы однажды уже испытали накануне нашего «торжественного обета верности на вечные времена». Возбужденное состояние мужа, который не был слепым, но, тем не менее, предпочитал быть им, когда жаждал уничтожить соперника, а не поговорить с ним, стало обычным явлением нашей жизни. Отсюда, в свою очередь, во мне рождалось иное отношение к этому сопернику, чем просто влюбленность: это было желание убежать от ужаса, перед которым я была бессильна, и который превращал наши дни и

ночи в муку. То, как друг пытался помочь мне в редкие часы наших встреч, с истинным дружеским участием и благородством помыслов, навсегда оставшихся в моей памяти, было избавлением от почти невыносимого одиночества. Но этим дело не кончилось: волнения и опасения друга по моему поводу возбуждали его самого и доводили до крайностей, которые растравляли мои раны и угнетали и терзали меня не меньше, чем поведение мужа.

Насколько он не уступал мужу в силе ненависти, еще раз проявилось двадцать с лишним лет спустя. Крайне озабоченная политическими преследованиями своих родственников в России, я в кратком запечатанном письме попросила его навести справки и помочь советом. Он узнал мой почерк по написанию своего имени и слов «чл. Рейхстага». Письмо вернулось с почтовым штемпелем: адресат отказался принять.

Когда-то все закончилось тем, что я уступила требованию мужа не встречаться с другом.

Но истинное значение этого приключения для нашего брака заключалось в том, что оно показало полную невозможность дальнейшего продолжения нашего союза. О разводе, как и раньше, не могло быть и речи, и то, почему муж исключал этот вариант, очень характерно для его образа мыслей: он говорил не о надежде на будущее, не об ошибках прошлого, которые еще можно было бы исправить, а, вопреки всему, о приверженности тому реальному положению вещей, которое между нами сложилось. В памяти моей навсегда запечатлелся момент, когда он сказал: «Я не могу перестать знать, что ты моя жена».

После месяцев мучительной совместной жизни, прерываемых расставаниями, которые помогали справиться с одиночеством вдвоем, утвердился новый взгляд на вещи. Внешне не изменилось ничего, внутренне – все. Последующие годы были заполнены многочисленными путешествиями.

Однажды, в минуту трогательного примирения, я спросила у мужа: «Хочешь, я расскажу тебе, что со мной случилось за это время?».

Быстро, без колебаний, не оставив ни секунды для другого слова, он ответил: «Нет». С тех пор между нами и тем, что нас связывало, повисло тяжелое, упорное молчание, которое нам так никогда и не удалось преодолеть.

Причина заключалась не только в особом складе моего мужа, но и в мужском характере вообще, какими бы разными ни были конкретные поводы для такой реакции. Много лет спустя ответ одного моего друга на подобный вопрос после того, как я по совершенно невинной причине долго не могла с ним встретиться, был почти таким же – не вникая в суть дела, он на мое

предложение все объяснить на минуту задумался и решительно ответил: «Нет. Я не хочу этого знать».

Из-за нашей привычки к уединенной жизни о нас могли думать все что угодно; должно быть, люди по своему обыкновению полагали, что муж мне неверен, или я неверна ему. Никто и вообразить не мог, с какой страстью в любой период моей жизни я желала, чтобы у моего мужа была жена или ласковая, добрая, прекрасная возлюбленная.

Что до меня самой, то, вероятно, предыдущие борения и конвульсии, слишком грубо подавлявшие нараставшую тоску, способствовали тому, что впоследствии любовь встретилась на моем пути тихо и незаметно, как нечто само собой разумеющееся.

Я приняла ее не из строптивости, без какого бы то ни было чувства вины, а как благодать, благодаря которой мир обретает совершенство – не только мир отдельного человека, но мир вообще, сам по себе. Свершаются события, приход которых неотвратим и одобрен помимо нашего к ним отношения; нам остается только принять их, не прилагая к этому никаких усилий. Поэтому совершенно недопустимо сравнивать или измерять силу и продолжительность подлинной страсти: заполнила ли она собой целую жизнь и навсегда вошла во все ее практические дела или же допускались повторения. Первое можно воспринимать как нечто до непостижимости великолепное и при этом скромно осознавать собственную неполноценность, так как именно в этом случае все особенности любви легче поддаются как субъективному, так и объективному анализу и оценке. Но мы так мало знаем о тайне любви вообще именно вследствие нашей ограниченности чисто личностным моментом – вследствие того, что понимаем любовь только как любовь к определенному человеку. Взаимодействие между тем, что есть в нас человеческого, сугубо человеческого, и тем, что страстно тянется к сверхчеловеческому, искажается в наших оценках явлений, о которых сердце никогда еще не говорило разуму всей правды. Поэтому разуму не остается ничего иного, как попытаться проникнуть в тайны телесных процессов, которые в результате таких попыток лишь до крайности опошляются. Но не обстоит ли с этим дело точно так же, как с вином и хлебом святого причастия, которое благоразумно прибегает к вполне материальным питью и еде ради того, чтобы быть?

Человек, которому отдана наша любовь, независимо от степени духовной и душевной растроганности обоих, остается священнослужителем в церковном облачении, который едва ли сам догадывается, какому Богу он служит.

Поздно, но все же на целых два с половиной десятилетия

моему мужу досталась профессорская должность в Гёттингене; впрочем, уход на пенсию мало что изменил в его жизни: ученики и зарубежные коллеги, с ним работавшие, его не оставили. Однажды его едва не пригласили работать в Берлин, но приглашения так и не последовало из-за того, что готовившуюся к публикации работу нужно было завершить быстрее, чем полагал возможным мой муж. Вообще требования, которые невольно встают перед авторами работ научно-публицистического характера, помимо счастья заниматься любимым делом, доставляли Андреасу еще и немалую толику раздражения, которое рождалось из естественного желания возложить ответственность за свою медлительность на какие-нибудь внешние помехи; так, например, в нем разгорелась почти безмерная по интенсивности ненависть к хозяину расположенного напротив трактира, из которого к нам доносился звук (правда, весьма слабый) патефона.

Полностью отдавая себе отчет в недостатках его своеобычной личности, нельзя пройти и мимо того, что именно эта своеобычность подарила ему прекрасную молодость и сохранила в нем юношеский задор. Над чем бы он ни работал, все было овеяно мыслями о будущем; о благословенном или обреченном будущем, но о будущем вне каких бы то ни было временных рамок. Иногда он чувствовал себя беспомощным, иногда работал, не зная усталости, иногда впадал в состояние беззаботного ничегонеделания, но всякий раз его внутреннее содержание обновлялось с такой силой, какую я не встречала больше ни у кого. Даже в преклонном возрасте все оставалось прежним: годы согнули плечи, он хуже слышал, но седая голова придала его облику большую выразительность, а темные глаза, вопреки синим старческим кругам под ними, казалось, обрели еще большую проницательность, точно их сиянию мало было одной только темной глубины. Я во всех подробностях помню его семидесятилетие. Празднование, устроенное официальными лицами и друзьями, застало его врасплох, тем более что его шестидесятилетие и шестидесятипятилетие невозможно было отметить столь торжественно в силу тогдашних исторических потрясений. Его, ложившегося спать только под утро, в буквальном смысле слова подняли с постели. С каким внутренним волнением он стоял тогда среди собравшихся, отвечая экспромтом произнесенной речью на поздравления, на слова искреннего восхищения – и на деликатные напоминания тогдашнего ректора университета, что от него еще многого ждут. Пылко и убежденно Андреас набросал картину того, что вообще в состоянии дать наука; в грядущие десятилетия ему виделось уже

начинавшееся взаимодействие филологических дисциплин по примеру естественнонаучных… Кое-кто многозначительно улыбался, у других на глазах выступили слезы…

Я всегда живо интересовалась его внутренней жизнью, но она никогда не была темой наших разговоров. Мне кажется, в течение многих лет мы затрагивали ее лишь дважды. Нам была свойственна эта манера: не смотреть друг другу в глаза, а жить, как бы повернувшись друг к другу спиной; взаимоотношения наши менялись, но манера эта сохраняла свою немудреную и неизменную основу. Кроме того, мои занятия были сопряжены с молчанием, поскольку то, что я узнавала во время психоаналитических сеансов о переживаниях других, не предназначалось для пересказа; к тому же своими рассказами я легко могла отвлечь мужа от главного дела его жизни. Абсолютная свобода, с которой каждый из нас отдавался своему делу, в то же время осознавалась нами как общность, которую мы старались сберечь; пожалуй, можно даже сказать: элементарное уважение друг к другу, к которому мы в конечном счете пришли, воспринималось нами как общее достояние и взаимная защищенность. Ибо об одном только муж проявлял удивительную заботу, даже если был очень занят: чтобы другой уверенно и радостно шел своим путем. В доказательство приведу запомнившийся мне случай. В виде исключения я начала сочинять рассказы – урывками, так как с началом занятий психоанализом я совершенно отошла от прежнего своего увлечения, и необходимость концентрации в том и другом случае заставляла меня с головой погружаться в работу; терзаясь угрызениями совести, я потом со смехом восклицала: «Наверняка все это время я была ни на что не годна и невыносима!». На что муж с таким просветленным лицом, которое невозможно забыть, отвечал с ликованием в голосе: «Ты была такой счастливой!». В том, что мы могли радоваться успехам друг друга, была не только доброта, как бы сильно она ни проявлялась. Способность радоваться за другого, эта замечательная его черта, всегда означала, что он относится к другому как к равному себе, понимая, что в обоих действует одна и та же первопричина. Отсюда мощное, впечатляющее выражение на лице, которое у него появилось, – выражение открывшейся ему реальности. Даже и сегодня, вопреки смерти, о которой он никогда не думал, которая никогда его не интересовала, это выражение находит свое продолжение во мне: каждый раз, когда я погружаюсь в глубочайшие глубины своего естества, я встречаюсь с этой способностью радоваться вместе с другими. Быть может, именно он научил меня этому, когда, несмотря ни на что, признавал

правоту каждого из нас? Не было ли восхищавшее меня выражение его лица связано с тем, что оно отражало знание некоей конечной истины? Не знаю. Прости, прости: не знаю. Но в такие мгновения радости мне казалось, что они, эти мгновения, знают это лучше меня. Вспоминая о тебе, я думала не о том, что миновало, а о том, что ждет впереди. Не поминовением усопшего это было, а постижением жизни.

Перевод – В. Седельник

Фридрих Ницше в зеркале его творчества

«Mihi ipsi scripsi!» («Обращаю к самому себе!») – не раз восклицал Ницше в своих письмах, говоря о каком-либо законченном им произведении. И это немало значит в устах первого стилиста нашего времени, человека, которому удавалось найти, можно сказать, исчерпывающее выражение не только для каждой мысли, но и для тончайших ее оттенков. Тому, кто вчитался в произведения Ницше, слова эти покажутся особо знаменательными. Ведь, по сути, он и думал, и писал только для себя, и только самого себя описывал, превращая свое внутреннее «я» в отвлеченные мысли.

Если задача биографа заключается в том, чтобы объяснить мыслителя данными его личной жизни и характера, то это в очень высокой степени применимо к Ницше, ибо ни у кого другого внешняя работа мысли и внутренний душевный мир не представляют такого полного единения. К нему наиболее применимо и то, что он сам говорит о философах вообще: все их теории нужно оценивать в применении к личным поступкам их создателей. Он выразил эту же мысль в следующих словах: «постепенно я понял, чем до сих пор была всякая великая философия – исповедью ее основателя и своего рода бессознательными, невольными мемуарами» («По ту сторону Добра и Зла»).

Этим я и руководствовалась в своем этюде о Ницше, набросок которого прочла ему в октябре 1882 года. К самому «учению Ницше» я еще тогда не приступала. Однако из года в год, по мере появления новых произведений Ницше, мой этюд о нем разрастался. Свою исключительную задачу я видела в характеристике основных черт духовного облика Ницше, которые обуславливали развитие его философских идей. Тот, кто стал бы оценивать Ницше как теоретика, взвешивать, что внес он в отвлеченную философскую науку, тот испытал бы разочарование и не постиг бы истинного источника силы Ницше. Значение этих идей не в их теоретической оригинальности, не в том, что может быть теоретически подтверждено или опровергнуто; все дело в той интимной силе, с которой личность обращается к личности, в том, что, по его собственному выражению, может быть опровергаемо, но не может быть «похоронено».

Кто, с другой стороны, захочет руководствоваться лишь внешней жизнью Ницше для понимания его внутреннего мира,

тот опять-таки будет держать в руках лишь пустую оболочку.

Ведь в сущности никаких внешних событий в его жизни не происходило. Все переживаемое им было столь глубоко внутренним, что могло находить выражение лишь в беседах с глазу на глаз и в идеях его произведений. Монологи в миниатюре, которые составляют, главным образом, его многотомные собрания афоризмов, образуют цельные обширные мемуары, высвечивая его собственный духовный облик. Этот облик я и попытаюсь воспроизвести здесь, передавая события – картины – его душевной жизни через его же философские изречения.

* * *

Хотя за последние годы о Ницше говорят больше, чем о каком-либо другом мыслителе, основные черты его духовного облика почти неизвестны. С тех пор как маленький, разрозненный кружок читателей, которые действительно понимали его, превратился в обширный круг почитателей, он стал достоянием масс, испытав при этом судьбу всякого автора афоризмов. Отдельные его идеи, вырванные из контекста и допускающие вследствие этого самые разнообразные толкования, превратились в девизы для разных, порой противоположных идейных направлений, и раздаются в ожесточенных спорах, в борьбе убеждений, в столкновениях различных партий, совершенно чуждых их автору. Конечно, этому обстоятельству он обязан своей быстрой славой, внезапным шумом, который поднялся вокруг его мирного имени, – но то истинно высокое, истинно самобытное, что таилось в нем, по этой причине оказалось незамеченным, непознанным, быть может, даже отошло в более глубокую тень, чем прежде. Многие, правда, еще превозносят его достаточно громко, со всей наивностью слепой веры, не знающей критики, но именно они и напоминают невольно о его собственных жестоких словах. В своем разочаровании он говорит: «Я прислушивался к отклику и услышал лишь похвалы» («По ту сторону Добра и Зла»). Едва ли кто-то пошел за ним, прочь от людей и повседневности, в одиночество своего внутреннего мира, едва ли хоть кто-нибудь сопутствовал этому недоступному, одинокому, замкнутому, странному духу, который мнил себя носителем чего-то безграничного и пал под бременем страшного безумия.

Порою кажется, что он стоит среди людей, ценивших его, как чужой пришелец, как отшельник, который, только заблудившись, попал в их круг. С закутанной его фигуры никто не снял

покрывала, и он стоит с жалобой своего «Заратустры» на устах: «Они все говорят обо мне, собравшись вечером вокруг огня, но никто не думает обо мне! Это та новая тишина, которую я познал: их шум расстилает плащ над моими мыслями».

* * *

Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в семье пастора в Рекене близ Люцена. После окончания школы поступил на филологический факультет Боннского университета, а с 1865 года продолжил учение в Лейпциге, куда последовал за своим учителем – профессором филологии Ричлем. Еще до получения диплома 24-летнего Ницше пригласили занять кафедру. Ницше получил место ординарного профессора классической филологии. Лейпцигский университет дал ему докторскую степень без предварительного экзамена. Он также стал преподавать греческий в третьем (высшем) классе Базельского педагогиума, который представлял нечто среднее между гимназией и университетом. Ницше имел огромное влияние на учеников, обнаружив редкое умение привлекать к себе молодые умы. Историк культуры Яков Бургхарт говорил, что Базель никогда еще не имел такого учителя.

В 1870 году во время франко-прусской войны Ницше был добровольным санитаром. Вскоре после этого у него начались периодические приступы сильных головных болей. «Несколько раз спасенный от смерти у самого ее порога и преследуемый страшными страданиями – так я живу изо дня в день; каждый день имеет свою историю болезни». Этими словами Ницше описывает в письме к одному приятелю страдания, которые он испытывал на протяжении пятнадцати лет. В начале 1876 года из-за частых приступов он был вынужден уйти из педагогиума.

Ницше провел зиму 1876–1877 гг. в мягком климате Сорренто, где жил в обществе нескольких друзей: из Рима приехала его давняя приятельница Мальвида фон Мейзенбух (автор известных «Мемуаров идеалистки»); из восточной Пруссии прибыл д-р Пауль Рэ, с которым Ницше уже тогда соединяла крепкая дружба. Увы, пребывание на юге не облегчило страданий. Ницше был вынужден окончательно бросить преподавательскую деятельность. С 1879 года он оставил и профессуру. Вел, в основном, отшельническую жизнь, чаще в Италии – в Генуе, частью – в Швейцарских горах, в Энгадине, в маленькой деревушке Сильс-Мария. Пожалуй, внешняя сторона его жизни на этом и заканчивается, между тем как духовная его жизнь только

тогда в сущности и началась.

Его наружность к тому времени приобрела наибольшую выразительность, в лице его светилось то, что он не высказывал, а таил в себе. Именно эта замкнутость, предчувствие затаенного одиночества и производило при первой встрече сильное впечатление. При поверхностном взгляде внешность эта не представляла ничего особенного, с беспечной легкостью можно было пройти мимо этого человека среднего роста, в крайне простой, но аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие, выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими, начесанными вперед усами. Смеялся он тихо, тихой была и манера говорить; осторожная, задумчивая походка и слегка сутуловатые плечи. Трудно представить себе эту фигуру среди толпы – она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд; он сам полагал, что они выдают силу его ума. «Бывают люди, – писал он, – которые неизбежно обнаруживают свой ум, как бы они ни увертывались и не прятались, закрывая предательские глаза руками (как будто рука не может быть предательской!)» («По ту сторону Добра и Зла»).

Истинно предательскими в этом смысле были и его глаза. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не щурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью; они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабость зрения придавала его чертам особого рода обаяние: вместо того, чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то, что прошло раньше через его внутренний мир. Глаза его глядели внутрь и в то же время – минуя близлежащие предметы куда-то вдаль, или, вернее, они глядели внутрь, как бы в безграничную даль. Ведь в сущности вся его философия была поиском, изыскиванием в человеческой душе неведомых миров, «неисчерпанных возможностей» («По ту сторону Добра и Зла»), которые он создавал и пересоздавал. Иногда во время какой-нибудь волнующей его беседы с глазу на глаз он становился совершенно самим собою, и тогда в глазах его вспыхивал и вновь куда-то исчезал поражающий блеск; в угнетенном состоянии из глаз его мрачно струилось одиночество, высвечиваясь как бы из таинственных глубин – глубин, в которых он постоянно оставался один, делить которые не мог ни с кем и пред силой которых ему самому становилось жутко, пока глубина эта не поглотила,

наконец, и его дух.

Такое же впечатление – чего-то скрытого, затаенного – производило и обращение Ницше. В обыденной жизни он отличался большой вежливостью, мягкостью, ровностью характера – ему нравились изящные манеры. Но во всем этом сказывалась его любовь к притворству, к завуалированности, к маскам, оберегающим внутреннюю жизнь, которую он почти никогда не раскрывал.

Я помню, при первой моей встрече с Ницше – это было весной, в церкви св. Петра в Риме – его намеренная церемонность меня удивила и ввела в заблуждение. Но недолго обманывал относительно самого себя этот одинокий человек: он неумело носил свою маску, наверное, так, как носит обычное платье горожан пришедший с горных высот и из пустынь человек. Ницше сам сформулировал это, написав: «Относительно всего, что человек позволяет видеть в себе, можно спросить: что оно должно собою скрывать? От чего должно оно отвлекать взор? Какой предрассудок должно оно задеть? И затем еще: как далеко идет тонкость этого притворства? В чем человек выдает себя при этом?».

По мере того, как росло в нем чувство уединения, все, обращенное к внешнему миру, становилось притворством – обманчивым покрывалом, которое ткала вокруг себя глубочайшая страсть одиночества, как бы временной внешней оболочкой, видимой для человеческого глаза. «Люди, глубоко думающие, кажутся себе актерами в отношениях с другими людьми, ибо для того, чтобы быть понятыми, они должны надеть на себя внешний покров» («Человеческое, слишком человеческое»). Можно сказать, что идеи Ницше подобны «коже, которая кое-что выдает, но гораздо больше таит» («По ту сторону Добра и Зла»); «потому что, – говорит он, – нужно или скрывать свои мысли, или скрывать себя за своими мыслями» («Человеческое, слишком человеческое»). «Все, что глубоко, любит маски… Всякий глубокий ум нуждается в маске: скажу более, – у каждого высокого ума постоянно образуется маска»:

– Странник, это ты?.. Отдохни здесь… Оправься!.. Что послужит тебе отдохновением?..

– Отдохновением? Отдохновением? О любопытный, что ты говоришь! Но дай мне, прошу тебя?..

– Что? Что? назови!..

– Еще одну маску! Вторую маску!»… («По ту сторону Добра и Зла»).

И в той степени, в какой его уединенность и самоуглубление становятся все сосредоточеннее, значение каждой новой

маскировки делается все глубже. Истинная сущность прячется за формой выражения, внутренняя – за усвоенной маской. Уже в «Страннике и его тени» он указывает на «маску посредственности». «Посредственность, – говорит он, – одна из самых счастливых масок, которую может надеть высший ум, потому что в ней толпа, т. е. именно средние люди, не станут подозревать притворства, а между тем он наденет ее ради самих людей, – чтобы их не раздражать, нередко даже из сострадания и доброты». От этой маски невинности и незлобивости Ницше доходит, варьируя формы притворства, до маски ужаса, за которой скрывается нечто еще более ужасающее: «иногда даже глупость делается маской рокового, слишком уверенного в себе знания» («По ту сторону Добра и Зла»). В конце концов он приходит к обманчивому образу богоподобно смеющегося, и в нем стремится замаскировать скорбь красотой. Таким образом, в своей философской мистике последнего периода Ницше постепенно погружается в то последнее для себя уединение, в ту тишину, куда мы уже не в силах последовать за ним; с нами остаются только, как символы и указания, смеющиеся маски его идей и толкований, в то время как сам автор уже стал для нас тем, кем он сам назвал себя в одном из писем: «Навеки утраченный» (письмо от 8 июля 1881 г. из Сильс-Марии).

Чувство внутреннего уединения, одиночества составляют во всех блужданиях Ницше неизменную раму, из которой глядит на нас его образ. Он пишет своему другу (31 октября 1880 г., Италия): «Одиночество все более кажется мне и целительным средством, и естественной потребностью, и именно полное одиночество. Нужно уметь достигнуть того состояния, в котором мы можем создать лучшее, на что мы способны, и нужно принести для этого много жертв».

* * *

Не раз мучительная жажда выздоровления приводила Ницше к новым идеям. Но стоило ему отразить себя в них, ассимилировать их своей собственной силой – как его охватывала новая горячка, тревожно толкающая избыток его внутренней энергии, который, в конце концов, направлял жало против него самого, делая его больным самим собою. «Только избыток силы есть доказательство силы, – сказал Ницше в предисловии к «Сумеркам Богов». – в этом излишке сила его сама создает себе страдания, изводит себя в мучительной борьбе, возбуждает себя к мукам и потрясениям, которыми обусловливается творчество

духа». С гордым восклицанием: «Что не убивает меня, то делает меня сильнее!» («Сумерки Богов»), – он истязает себя не до полного изнеможения, не до смерти, а как бы нанося себе болезненные раны, в которых он так нуждался. Этот поиск страдания проходит через всю деятельность Ницше, образуя истинный источник его духовной жизни. Лучше всего это выразилось в следующих словах: «Дух есть жизнь, которая сама же наносит жизни раны: и ее собственные страдания увеличивают ее понимание – знали ли вы уже это раньше? И счастье духа заключается в том, чтобы быть помазанным и обреченным на заклание – знали ли вы уже это?.. Вы знаете только искры духа: но вы не видите, что он в то же время и наковальня, и не видите беспощадность молота!» («Так говорил Заратустра»).

«Упругость души в несчастии, ее ужас при виде великой гибели, ее изобретательность и мужество в том, как она носит горе, смиряется и извлекает из несчастия всю его пользу, и, наконец, все, что ей дано, глубина, таинственность, притворство, ум, хитрость, величие – разве это дано ей не среди скорбей, не в школе великого страдания?» («По ту сторону Добра и Зла»). Ницше всякий раз нужно, чтобы душа пламенела для того, чтобы получить ясность и яркий свет познания, но пламень этот никогда не должен превращаться в благотворную теплоту, а должен ранить сжигающими и сверкающими огнями.

Эта необыкновенная способность уживаться заново с самым тяжелым насилием над собой, осваиваться с каждым новым пониманием вещей существовала как бы для того, чтобы разлука со вновь приобретенным делалась с каждым разом все более потрясающей. «Я иду! Сожги свою хижину и иди мне навстречу!» – повелевает ему дух, и упрямой рукой он вновь и вновь лишает себя крова и идет в темницу, навстречу приключениям, с жалобой на устах: «Я должен снова подняться на ноги, на усталые, израненные ноги: но я вынужден это сделать, и на самое прекрасное, не имевшее силы удержать меня я оглядываюсь злобным взором – именно потому, что оно не смогло удержать меня!» («Веселая наука»). Как только ему становилось отрадно среди какого-нибудь миросозерцания, на нем самом исполнялось его же пророчество: «Кто достиг своего идеала, тот тем самым и перешагнул через него» («По ту сторону Добра и Зла»).

Перемены воззрений, склонность к метаморфозам лежат в самой глубине философии Ницше и как бы образуют лейтмотив его системы познания. «Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения, – сказано в «Страннике и его тени», – мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу

иметь мнения и иметь право менять их». В «Утренней заре» этот взгляд отражен в следующих прекрасных словах: «Никогда ничего не утаивать, не скрывать от себя того, что может быть сказано против твоей идеи. Это ты должен обещать самому себе! Это первый долг честного мыслителя. Нужно каждый день вести крестовый поход против самого себя. Победа и завоевание крепости уже касаются не тебя, а истины – но и твое поражение не должно смущать тебя!». Заглавием к этим мыслям служат слова: «Насколько мыслитель любит своего врага». Но эта любовь к врагу исходит из смутного предчувствия, что во враге скрывается, быть может, будущий союзник и что только побежденного ждут новые победы: она исходит из предчувствия, что однообразный мучительный процесс внутренних метаморфоз составляет необходимое условие всякого творчества. «Дух спасает нас от полного нетления и превращения в обгоревший уголь. – Спасаясь от огня, мы шествуем, побуждаемые духом, от мнения к мнению, – как благородные предатели всего на свете» («Человеческое, слишком человеческое»). – «Мы должны стать предателями, совершать измены, покидать свои идеалы» («Человеческое, слишком человеческое»). Этот одинокий человек должен был умножаться, распадаться на множество мыслителей по мере того, как он замыкался в самом себе – только таким образом он мог жить духовной жизнью. Влечение к насилию над самим собой было своего рода стремлением к самосохранению; только погружаясь во все новые муки, он спасался от своих страданий. «Я неуязвим только в моей пяте!.. И только там, где есть гробы, возможно воскресение!.. Так пел Заратустра» – «Тот, которому жизнь однажды открыла следующую тайну: “смотри, – сказала она, – я – то, что должно быть всегда побеждаемо».

Мучительное сознание собственного несовершенства влекло его к идеалу: «Наши недостатки – глаза, которыми мы можем увидеть идеал» («Человеческое, слишком человеческое»). Я прибавляю к этому три афоризма, которые он однажды написал для меня,1 и в которых его миросозерцание отразилось с особой резкостью:

«Противоположностью героического идеала является идеал гармоничного, всестороннего развития, – прекрасный и крайне желательный контраст! Но это идеал только вполне хороших людей» (например, Гете).

Далее: «Героизм – это стремление к той цели, по отношению к которой сам человек уже совершенно не принимается во внимание. Героизм – добровольное согласие на абсолютное самоуничтожение».

И третий афоризм: «Люди, которые стремятся к величию,

обыкновенно дурные люди, это единственный для них способ переносить самих себя». Слово «дурной», так же, как выше слово «хороший», не употреблены здесь в обычном своем значении и вообще не выражают никакой оценки; они только служат определением известного состояния души.

Словом «дурной» Ницше обозначает «внутреннюю войну» в человеческой душе, то, что впоследствии он называл «анархией инстинктов».

Он отличает гармоничную или цельную натуру от героической или состоящей из противоположностей; они являются типами деятельного и познающего человека, другими словами: типом его собственной души и диаметрально ей противоположной. Человеком деятельным он считает нераздельного и не знающего разлада, т. е. человека с инстинктом прирожденного властелина. Когда такой человек следует своему естественному развитию, его натура должна становиться все увереннее в себе и обнаруживать свою сосредоточенную силу в здоровых поступках. Препятствия, которые ставит ему внешний мир, только еще более возбуждают его деятельность: ибо нет для него более естественного состояния, чем борьба с внешним миром, и ни в чем его здоровье не обнаруживается полнее, чем в его умелом ведении борьбы. Все равно, велик или мал его ум: в том и в другом случае он стоит во власти этой свежей силы своей натуры и того, что ей необходимо и полезно. Он не противопоставляет в своих стремлениях самого себя своей природе, он не разлагает ее, не идет по своим собственным следам.

Совершенно иным представляется познающий человек. Вместо того, чтобы стремиться к объединению своих стремлений, к единству, оберегающему и сохраняющему их, он дает им развиться в какие угодно стороны: чем шире область, которую они стремятся захватить, тем лучше, чем больше предметов, к которым они протягивают свои щупальцы, и которые они рассматривают, щупают, слушают, тем полезнее это для его целей – для целей познания. Для него «жизнь становится средством познания» («Веселая наука»), и он говорит, обращаясь к своим единомышленникам: «Будемте сами объектами экспериментов, живым материалом для опытов!» (там же). Таким образом он сам разрушает свое единство – чем многостороннее субъект, тем лучше:

«Резкий и мягкий, грубый и нежный, доверчивый и странный, грязный и чистый, соединение глупца и мудреца – я все это и хочу всем этим быть – и голубкой, и в то же время змеей и свиньей».

«Ибо мы, познающие, – говорит он, – должны быть благодарны Богу, дьяволу, овце и червю в нас… также внешним и внутренним душам, глубину которых нелегко постичь, с их внешними и внутренними пространствами, до крайнего предела которых не смогут добежать ничьи ноги» («По ту сторону Добра и Зла»). Познающий обладает душой, «которая имеет самую высокую лестницу и может наиболее глубоко опуститься в землю, самую обширную душу, которая имеет возможность широко блуждать и бродить в себе самой, которая бежит от себя самой и нагоняет себя в самых далеких кругах; самую мудрую душу, которой безумие нашептывает сладкие речи, – наиболее любящую себя душу, в которой все имеет свое течение и истечение, свои приливы и отливы…» («Так говорил Заратустра»).

С такой душой человек обретает «тысячу ног и тысячу щупальцев» («По ту сторону Добра и Зла») и постоянно стремится убежать от самого себя и ввести себя в другое существо: «Когда, наконец, находишь самого себя, нужно уметь от времени до времени терять себя и потом опять находить. Конечно, это относится только к мыслителю: ему вредно быть всегда замкнутым в одной личности» («Странник и его тень»). То же самое говорят и его стихи: «Мне ненавистно вести самого себя! Я люблю подобно лесным и морским животным потерять себя на долгое время, задумчиво бродить в заманчивой чаще. Издалека, наконец, приманить себя домой и завлечь самого себя к себе!» («Веселая наука»).

Такая жизнь «в себе» становится тем менее воинственной по отношению к внешнему миру, чем более она полна войнами, победами, поражениями и завоеваниями среди своих собственных порывов. В одиночестве своего духовного самоуглубления и саморазвития она ищет скорее оболочку, которая бы оберегала ее от громких и наносящих раны событий внешнего мира. И без того внутренний мир полон страданий и ран. К этому типу познающего человека относится описание Ницше: «Вот человек, который постоянно испытывает необычайные вещи, видит, слышит, подозревает, надеется, мечтает; которого его собственные мысли поражают и ранят, как нечто приходящее извне, как своего рода события и удары» («По ту сторону Добра и Зла»).

Взаимная вражда порывов в душе его не уничтожена, а скорее, напротив, усилилась. «И кто будет судить об основных влечениях человека по тому, действовали ли они как вдохновляющие духи, демоны и кобольды, тот найдет, что каждое из них хотело бы выставить именно себя конечной целью мироздания, владыкою всех прочих влечений. Ибо каждое

влечение властолюбиво и старается философствовать в своем духе» («По ту сторону Добра и Зла»).

Именно поэтому «познание познающего» свидетельствует о нем самом, т. е. «о том, в каком отношении друг к другу стоят внутренние влечения его натуры» (там же).

Я помню одно устное изречение Ницше, которое очень верно характеризует эту радость человека, познающего ширину и глубину своей натуры – радость, порожденную тем, что его жизнь сделалась «экспериментом для познающего» («Веселая наука»). «Я подобен старому, несокрушимому замку, в котором есть много скрытых погребов и подвалов; в самые скрытые из подземных ходов я еще сам не пробирался, в самые глубокие подземелья еще не спускался. Разве они не находятся под всем построенным? Разве из своей глубины я не могу подняться до земной поверхности во всех направлениях? Разве через всякий потайной ход мы не возвращаемся к самим себе?»

Таким образом широта и сложность негармоничной, «лишенной стиля» натуры становятся громадным преимуществом: «Если бы мы хотели и осмеливались создать архитектуру, соответствующую нашей душе, то нашим образцом был бы лабиринт!» («Утренняя заря»), но не такой лабиринт, в котором душа теряет себя, а из запутанности которого она находит путь к познанию. «Нужно носить еще в себе хаос, чтобы родить блуждающую звезду», – это изречение Заратустры относится к душе, которая родится для звездного существования, для света как для своей истинной сущности, для своего апофеоза.

* * *

Чтобы понять до конца весь смысл Ницше, необходимо понять психологию религиозного чувства. Из всех дарований Ницше нет ни одного, который бы глубже и неразрывнее был связан со всем его духовным существом, как его религиозный гений. В другое время, в другой период культуры он помешал бы этому пасторскому сыну стать мыслителем. Но среди влияний нашей эпохи его религиозный гений обратился на познание. Все его развитие вышло в значительной степени из того, что он потерял веру, из «скорби о смерти божества», этой безграничной скорби, которая звучит вплоть до последнего произведения, написанного Ницше уже на грани безумия, – до четвертой части его «Так говорил Заратустра». Ведь если множество отдельных, не связанных между собой порывов распадается на две как бы противопоставленные одна другой сущности, из которых одна

властвует, а другая покоряется ей, человек находит возможность относиться к себе как к высшему существу. Тем, что он принес в жертву самому себе часть себя, он приблизился к религиозному экстазу.

«В человеке соединяются тварь и творец: в человеке есть материя, недоделанность, избыток, прах, нечисть, бессмыслица, хаос; но есть в нем и создатель, художник, есть в нем твердость молота, божественность созерцателя, настроение седьмого дня…» («По ту сторону Добра и Зла»). И здесь видно, как непрерывное страдание и бесконечное самообожествление обуславливают одно другое тем, что каждое создает сызнова свою собственную противоположность. «Всякий, кто когда-нибудь строил новое небо, находил силу для этого лишь в собственном аду» («К генеалогии морали»).

В этих основных чертах натуры Ницше заключаются причины утонченности и экзальтации, присущих, как жгучая пряность, всему высокому и значительному в его философии. Сильнее всего это должен чувствовать неиспорченный вкус молодых и здоровых натур – или же люди, защищенные безмятежностью религиозных воззрений и не испытавшие на самих себе борьбы и страданий атеиста с религиозными влечениями. Но именно это и делает Ницше в столь сильной степени философом нашего времени. В нем выразилось типичным образом то, что глубже всего волнует современность: невозможность удовлетвориться крошками от трапезы современного познания и невозможность отказаться от своего отношения к познанию. Такова великая и потрясающая картина философии Ницше: целый ряд мощных попыток разрешить эту задачу современного трагизма, угадать тайну современного сфинкса и сбросить его в пропасть.

Именно поэтому, если мы хотим разобраться в произведениях Ницше, нам следует обратить внимание на человека, а не на теоретика. В теоретическом отношении он часто опирается на других мыслителей, но то, в чем они достигли своей зрелости, своей творческой вершины, служит ему исходным пунктом для собственного творчества. Малейшее прикосновение, которое испытывал его разум, будило в нем полноту внутренней жизни. Он сказал однажды: «Бывают два типа гениев: один, который творит и хочет творить, другой, который дает себя оплодотворять и рождает» («По ту сторону Добра и Зла»). Он, несомненно, принадлежал ко второму типу. В духовной натуре Ницше было – доведенное до величия – нечто женственное; но при этом он настолько гениален, что совершенно безразлично, что давало ему первотолчок. Если мы соберем все, что было посеяно в его уме прежними учениями, у нас окажется лишь горстка

незначительных зерен; когда же мы вступаем в его философию, нас осеняет лес тенистых деревьев, роскошная растительность дикой, безграничной природы.

Перевод – Л. Гармаш

Мысли о проблемах любви

Глава из книги «Эротика»

В рамках эмоциональных отношений человека с окружающим миром, со всеми его живыми существами и вещами все можно, на первый взгляд, расположить в определенном порядке, разделив на две большие группы: с одной стороны – все однородное, симпатичное, интимно-близкое, а с другой – все неоднородное, чужое, враждебное. Наш природный эгоизм непроизвольно чувствует себя либо побуждаемым разделить радость, так проникнуться сочувствием к сущности другого, как будто речь идет о собственном «я», либо наоборот, что-то заставляет его замкнуться, съежиться, отвергая внешний мир, выступая агрессивно, угрожающе против него. Такой тип эгоизма в более узком значении слова есть своеволие, которое любит только себя и прислушивается только к себе, а все остальное подчиняет собственным целям; напротив, тип так называемого самопожертвования есть натура самаритянина с ее идеалом всеобщего братства; этот идеал признает в каждом, даже самом отчужденном существе, стремление к великому единению с Вселенной. Оба эти свойства беспрестанно и неумолимо заостряются в ходе развития человечества, и от того, как решится конфликт между ними, будет зависеть характер культуры каждой отдельной эпохи. Они никогда не смогут окончательно примириться друг с другом. И если одна из этих двух противоположностей резко поднимется до уровня единственного повеления, то произойдет это только в том случае и будет лишь тогда оправданно, если другая в силу своей утрированности будет нуждаться в особенно резкой коррекции.

В реальной жизни трудно в каждом отдельном случае верно провести границы между слабостью и добром, между суровостью и силой духа, и то, как люди должны объединять в себе добро и силу, – предложений и мнений на этот счет существует множество, словно песка в море. Между тем это обстоятельство психологически интересно тем, что человек не может вступить ни в одно из этих состояний, не вредя себе, и что они оба, несмотря на их видимое противоречие, все же, в конце концов, могут находиться во взаимодействии.

Эгоист, который, по возможности, многое для себя требует, так же, как и альтруист, который многое отдает другим, на своем языке творят одну и ту же молитву одному и тому же Богу – и в этой молитве любовь к самому себе нераздельно смешивается с

отреченностью от самого себя в одно целое: «я хочу иметь все» и «я хочу быть всем», они достигают своего апогея в сходстве самой интенсивности страстного желания. И что же?

Оба ничего не добиваются, ибо в этом и кроется суть противоречия. Эгоист должен перестать быть эгоистом, точно так же, как неэгоист должен стать эгоистом. Это наши стены, в которые мы упираемся и на которых мы рисуем свою картину мира.

Именно в абсолютном противоречии кроется новое, необыкновенно эффектное и плодотворное в них, поскольку оно вызывает такое состояние, что человек фактически уходит сам в себя и одновременно выходит из своей скорлупы обратно в целое жизни. Это касается и эротических отношений. Часто, – и не без основания, – замечают, что любовь – это вечная борьба, вечная враждебность полов и даже, если в отдельных случаях это звучит несколько преувеличенно, все же мало кто станет отрицать тот факт, что в любви встречаются две противоположности, два мира, между которыми нет мостов и не может быть никогда.

Не случайно в природе действует тот закон, который самое близкородственное размножение наказывает неплодовитостью, дегенерацией, гибелью.

В любви каждого из нас охватывает влечение к чему-то иному, непохожему; это новое может быть предугаданным нами и страстно желанным, но никогда не осуществимым. Поэтому постоянно опасаются конца любовного опьянения, того момента, когда два человека слишком хорошо узнают друг друга – и исчезнет это последнее притяжение новизны. Начало же любовного опьянения связано с чем-то неизведанным, волнующим, притягательным; это озарение особенно волнующее, глубоко наполняющее все ваше существо, приводящее в волнение душу. Верно, что полюбившийся объект оказывает на нас такое воздействие, пока он еще не до конца знаком. Но как только рассеивается любовный пыл, он тут же становится для нас символом чужих возможностей и жизненных сил.

После того как влюбленные столь опасным образом открываются друг другу, они еще долгое время испытывают искреннюю симпатию. Но эта симпатия, увы, по своей окраске уже не имеет ничего общего с прошедшим чувством, и характеризуется часто, несмотря на честную дружбу, тем, что полна мелких обид, мелкой досады, которую, как правило, пытаются скрыть.

В любви эгоизм распространяется не добросердечно и мягко, он во много раз заостряется как сильное оружие захвата. Но этим оружием не пытаются как-то захватить облюбованный предмет

для собственных целей, этим оружием он завоевывается лишь для того, чтобы оценить объект со всех сторон, чтобы переоценить его, вознести на трон, носить на руках. Эротическая любовь скрывает весь возросший эгоизм под доброжелательностью, возникшая страсть, беспечная к противоречиям, соединяет доброжелательность и эгоизм в едином чувстве.

Любящий человек чувствует себя сильным: он чувствует, будто завоевал весь мир в силу этого внутреннего союза собственного «я» с тем, что привлекало его как высшее проявление всех прекрасных возможностей и необычностей всего мира. Но это чувство – только оборотная психическая сторона того физиологического процесса, при котором человеку фактически удается возвыситься над самим собой, в котором он себя ощущает самым полным образом и добивается наибольшего успеха: в любовной страсти он соединяется с другим не для того, чтобы отречься от самого себя, а для того, чтобы еще раз превзойти самого себя – чтобы продолжиться в новом человеке – в своем ребенке.

Итак, эротические отношения – это промежуточная форма между отдельным существом, эгоистом, и социально чувствующим существом.

В действительности эротическое чувство само по себе является таким же своеобразным миром, как и все социально окрашенные чувства или чувства отдельного эгоистического человека; эротическое чувство проходит все ступени: от самых примитивных до сложнейших в своей собственной сфере.

Понятно, почему такое по сути противоречивое своеобразие как своеобразие любовных ощущений оценивается обыкновенно как зыбкое; почему это своеобразие лишь в незначительной степени считается эгоистичным и переоценивается скорее как альтруистское. Это второе противоречие, из которого оно совершенно очевидно и полностью состоит. Тут физические способы выражения смешиваются с духовными и, несмотря на противоречивость, все же уживаются. Мы привыкли отличать наши самые сильные физические потребности и инстинкты от наших духовных исканий, но мы также знаем и то, как тесно они связаны между собой и как непременно они сопровождают друг друга; таким образом, физические процессы не выступают с такой требовательностью, чтобы постоянно притягивать к себе наше внимание и чтобы через нас самих себя осознавать. Эротическое чувство наполняет нас как никакое другое, насыщая всю душу иллюзиями и идеализациями духовного рода, и толкает нас при этом жестоко, без малейших поблажек на жертву такого возбуждения – на тело. Мы не можем его больше игнорировать,

мы не можем больше от него отворачиваться: при каждом откровенном взгляде на сущность эротики мы словно содействуем древнему изначальному спектаклю процессу рождения психического в своем полном великолепии из огромной, всеохватывающей утробы-матери – физического.

Но здесь мы связываем понятия «физическое» и «духовное» как отдельные представления, точно так же, как невольно пытаемся это сделать и с понятиями «эгоистическое» и «альтруистическое», чтобы по возможности целостно понять феномен любви и выразить это единым представлением.

Отсюда – странный дуализм во мнениях об эротическом, и отсюда изображение эротического, исходящее из двух совершенно противоположных сторон.

Резкости этих контрастов способствует еще одно обстоятельство. Наша половая жизнь – точно так же как и все остальное – физически в нас локализована и отдельна от прочих функций. Половая жизнь воздействует централизованно и так же обширно, как деятельность головного мозга, но отличие ее в том, что при этом она выступает на передний план намного грубее и выразительнее.

Да, «темное» чувство этого феномена любви может само прийти к влюбленным, и, возможно, это явится одной из самых сильных причин того глубокого инстинктивного стыда, который будут испытывать совершенно юные непорочные люди по отношению к своей физической связи. Этот первоначальный стыд не всегда восходит только к недостаточному опыту, а возникает спонтанно: они считали и ощущали любовь как целостность, всей их взволнованной сущности, и этот переход к специальному физическому процессу, к процессу, на который падает ударение, сбивает с толку: это походит на то, как ни парадоксально это звучит, как если бы между ними двоими присутствовал еще и третий. И это вызывает такое ощущение, будто они сблизились преждевременно, в безусловном расточительстве своей духовной общности.

Тем не менее, это сближение пробуждает в человеке пьянящее, ликующее взаимодействие продуктивных сил его тела с наивысшим духовным подъемом. И хотя нашему сознанию наша же собственная телесность знакома довольно плохо и еще меньше подлежит контролю тот мир, с которым мы должны вступить в соединение, став единой сущностью – неожиданно возникает такая остроощущаемая иннервация между ними, что все желания вспыхивают в одночасье – разом и одновременно.

Справедливо утверждение: всякая любовь – счастье, даже несчастливая. Справедливость этого выражения можно признать

полностью, без всякой сентиментальности: понимая это как счастье любви в самом себе, которая в присущем ей праздничном волнении будто бы зажигает сто тысяч ярких свечей в затаенных уголках нашего существования, чей блеск яркими лучами озаряет всех нас изнутри. Потому люди с истинной душевной силой и глубиной знают о любви еще до того, как полюбили, – подобно Эмилии Бронте.

В эротическом опыте реальной жизни любовь и обладание другим человеком прибавляют к этому глубинному опыту особый вид счастья, счастья как бы удвоенного – подобно эффекту эха. Удивление и радость от того, что вещи изнутри откликаются на наш возглас ликования.

Поэтому любой вид духовно-творческой деятельности в эротическом состоянии с особой силой подвержен влиянию, порою он повышается, воодушевляется, и это случается даже в тех сферах, которые практически очень далеко лежат от всего личного.

Обращенный в эту творческую глубину, наш дух, находясь в таком бессознательно-эротическом состоянии, обнаруживает силы, которые до этого были неведомы нам, наряду с утратой других сил, которые были известны нам ранее.

Это звучит странно, но есть, тем не менее, чудесные стороны бытия, которые воистину в полной мере связывают влюбленного с часто хваленой детской непосредственностью гениально творящих натур.

Эта детская непосредственность, в которую, в силу эротического омоложения, может впасть самый благоразумный и закоренелый педант, отличает строжайшим и неподкупнейшим образом подлинно эротическое от любого рода похоти, ибо та всегда остается изолированной, локальной в своем телесном возбуждении и не вызывает того исключительного состояния опьянения, которое охватывает человека целиком.

Определенные вещи стилизуются, ощущаются как бы вне реальности в своем собственном мире, и может потому, что они поэтически наполнены, и могут только в такой форме вообще восприниматься.

Художник выбирает только те вещи, которые его настраивают продуктивно вплоть до гениальности, он может выбирать к тому же только определенные их стороны, а также только определенные отношения их сущности к самому себе, не обращая внимания на прочие качества.

Что касается объекта нашей любви, то не мы открываем его, как и не мы выбираем его для себя – мы выбираем в нем только то, что как раз необходимо нам, чтобы это открылось в нас самих.

Поэтому любовь и творчество в корне своем тождественны.

Вот почему чувство эротического в нас, без всякого сомнения, должно быть по сути своей точно таким, как гениальное творчество, которое воспринимают чаще как периодичность, которое приходит и прерывается, и чью интенсивность или полноту счастья совершенно определенно измерить в отдельном случае нельзя, как нельзя предположить и его продолжительность. И все же, при любых обстоятельствах, сильное любовное чувство неспособно поверить до конца в крах своих же иллюзий.

В любви, как и в творчестве, лучше отказаться, чем вяло существовать. Лучше верить, что периодичность высшего счастья в любви, как и в творчестве, естественна. И все же колебания чувств переносятся весьма с трудом, в особенности когда их фазы не всегда у двух людей совпадают.

Преходящий характер любой любовной страсти, как в творчестве, мог бы приводить к менее опасным кризисам, если бы к этому не добавлялись некоторые недоразумения.

Жизнь и любовь не совпадают и делают затем друг другу печальные уступки, чтобы вообще продолжать существовать: любви предоставляется несколько праздничных мгновений, но она неохотно соглашается снять после бала свои праздничные одежды и в самом скромном, повседневном платье ютиться в углу. Но этот печальный конец, который искушенный человек обычно с грустной уверенностью предвидит для всякого влюбленного, оттого и случается, что сначала блеск любви воспринимается как очень важный, но затем ее право на ее собственный и праздничный наряд и ее идею вечного возрождения праздника недооценивается.

Это, конечно, должно звучать печально, как проповедь все более глубокого одиночества для каждого, кто хочет выйти за его пределы. Между тем фактически только это возвращает любви ее право властвовать вместо того, чтобы отнять его после кратковременного первого опьянения и вместо того, чтобы смешать его с узкообусловленными выгодами жизни. Все же любовь действует как непрямой повод в том случае, если она используется любимым человеком в качестве огнива, а не в качестве самого огня, у которого он согревается. Однако за это остается ей ограниченная власть так долго, как она хочет этого, и так далеко, как только она может достичь во всех областях жизни. Дальше и дальше может она действовать подобно тому, как она поступает в физическом слиянии: охваченный ею, человек зарождает настоящую полноту жизни в контакте с другим человеком, в нем высвобождается его творческая сила, так дело

всей жизни, вся внутренняя плодотворность и красота могут брать свое начало только из этого контакта, ибо это именно то, что для каждого человека означает «все» – момент связи с недостижимой подлинностью вещей. Она – средство, при помощи которого с ним говорит сама жизнь, которая неожиданно становится чудесной, яркой, как будто она говорит на языке ангела, милостью которого она находит необходимые именно для него слова.

Любить – это означает знать о ком-то, чей «цвет мира» – способ видения вещей – вы должны принять так, чтобы эти вещи перестали быть чужими и ужасными, или холодными, или пустыми, словно, приближаясь к раю, вы приручили диких животных. Так в самых прекрасных песнях о любви живет соль самой эротики, которая тоскует о возлюбленной так, как будто возлюбленная – не только она сама, а также весь мир, вся вселенная, как будто бы она еще листочек, дрожащий на ветке, как будто луч, сверкающий в воде, преобразовательница всех вещей, одновременно способная преобразовываться во все вещи: так, дробясь и соединяясь, оживает образ предмета любви в сотнях тысяч отражений.

Наибольшая опасность кроется не в том безрассудном ослеплении любовной страсти, когда человек в другом хочет увидеть больше, чем есть на самом деле: опасней, если вместо этого он попытается наоборот – представить свою собственную сущность искусственно, «по образу и подобию» другого. Только тот, кто полностью остается самим собой, может рассчитывать на долгую любовь, потому что только во всей полноте своей жизни он может символизировать для другого жизнь, только он может восприниматься ею как сила. Ничего поэтому так не искажает любви, как боязливая приспособляемость и притирка друг к другу, и та целая система бесконечных взаимных уступок, которые хорошо выносят только те люди, которые вынуждены держаться друг друга лишь по практическим соображениям неличностной природы, и должны эту необходимость по возможности рационально признать. Но чем больше и глубже два человека раскрыты, тем худшие последствия эта притирка имеет: один любимый человек «прививается» к другому, это позволяет одному паразитировать за счет другого, вместо того, чтобы каждый глубоко пустил широкие корни в собственный богатый мир, чтобы сделать это миром и для другого. В этом причина такого своеобразного и все же отнюдь не редкого явления, когда после продолжительной и по видимости счастливой жизни смерть разделяет пару, и – оставшаяся в живых «половина» неожиданно начинает расцветать по-новому. Иногда женщины, которые были

для своих спутников слишком преданными, полностью сокращенными до «половины», узнают, став печалящимися вдовами, к своему собственному удивлению, чудесный поздний расцвет своей подавленной, почти уже позабытой собственной сущности.

На деле быть «половинами» всегда плохо для обеих сторон и всегда бывает тесно в их «жилище», если они к тому же еще «притерлись» друг к другу: хотя они говорят теперь «мы» вместо «я», но «мы» уже не имеет никакой ценности, когда захвачено «я», – и это относится не только к духовно бедным личностям, но свойственно и для личностей с богатым внутренним миром, где один у другого наивно отнимает его содержание, присваивает и пытается жить сам, и для этого прячет внутрь свое собственное, до тех пор, пока они не разлучатся. Теперь они, может быть, были бы друг для друга по-братски родными, если бы они не любили друг друга – с воспоминаниями и страстными желаниями – были бы, если бы только по ошибке из привлекательной, плодотворной новизны – которой они были друг для друга – они не стали бы смертельной банальностью друг для друга.

Люди говорят о любви с громким преувеличением. Зачем они преувеличивают? Они вынуждены это делать, потому что они не могут объяснить это по-другому – а в объяснении они никогда не были сильны – как же это все-таки происходит, что становятся все больше уверенными в себе, когда любят другого, и что двое только тогда становятся одним, если ли они остаются двумя.

Они потому так редко остаются «двумя», потому что единство, по большей части, означает искажение.

Отсюда постоянно растущее взаимное недовольство, столь сильно охватывающее любовную страсть. Опасаются стать ограниченными, опасаются отсутствия больших возможностей для развития и перемен и смотрят с растущим недоверием на «возможность вечной любви в дальнейшем».

В прежней их вере скрывалось много наивной нетребовательности относительно действительно оживляющего любовного чувства.

Современный человек уже лучше знает, что люди никогда друг другом не «владеют», что они получают или теряют друг друга в любой момент жизни, что любовь вообще «существует» только в их фактическом спонтанном воздействии. По этой причине сегодня трудней отделить легкомыслие или игру от подлинной любовной страсти, и все же они перемешаны не сильней, чем раньше. Но если раньше даже довольно незначительное и бедное в чувственном смысле весьма малоплодотворное внутреннее отношение пытались представить

божьей милостью, то теперь можно отказаться, при обстоятельствах, от относительно богатой и глубокой любовной связи спустя непродолжительный отрезок времени (так, как раньше «от флирта»), потому что приходит понимание того, что она все же не является абсолютно всем, что может дать любовь, и что лучше – идти дальше порознь. Конечно, в таком понимании лежит определенная жестокость. Эта жестокость знает, что там, где любовь хочет быть большим, чем чувственное или мечтательное времяпрепровождение, она должна сотрудничать с той же самой великой задачей жизни, которой принадлежат наши самые высокие цели и самые святые надежды, – и что она из своей области, из самой себя должна завладеть отрезком жизни после другого. Самая совершенная любовь останется всегда такой, пока ей удается самым совершенным образом в большинстве моментов и областей «сделать» так, что человек переживает все посредством другого человека, – да, до тех пор, пока они в состоянии вместе быть «всем»: влюбленными, супругами, братом и сестрой, друзьями, родителями, товарищами, играющими детьми, строгими судьями, милосердными ангелами.

Если мы взглянем в мир простейших существ, то мы обнаружим, что маленькие амебы совокупляются и размножаются, причем они попарно вжимаются одна в другую, абсолютно сливаясь с другим существом. Нам кажется естественным, что люди в области физической уже не способны на столь полное слияние; наше тело удовлетворяется тем, что лишь частичка его самого должна «пойти» для оплодотворения, лишь она должна принять участие в этом полном слиянии и только в узкоограниченной функции.

Странным образом, но в том, что касается души, а не тела, нам хочется, чтобы это взаимопроникновение распространялось еще дальше, – так, как это происходит у амеб. Душой мы хотим того же самого, что и телом: не растворения в другом человеке, а – наоборот, благодаря своему контакту, – плодотворного становления, усиления, удвоения, вплоть до плодотворного роста. В таких же отношениях состоят художник и его творчество. Потому что автор, даже не соприкасаясь при этом с предметом, пребывает с ним в этом «амебообразном соитии», поскольку этот предмет оплодотворил его фантазию.

За этой полной аналогией физических и духовных способов выражения любовного восприятия стоит то, что при этом речь идет только о двух сторонах одного и того же процесса. Как творческое возбуждение коренится в процессах фантазии, так эротическое возбуждение, подобно процессу творчества, нельзя

вычленить из фантазии, являющейся его порождающим центром. Несправедливо относятся к эротическому процессу, если его ограничивают лишь грубым физическим действием, а все дальнейшее больше не хотят признавать. Но с не меньшей несправедливостью относятся к нему те, которые его лишь морализуют и эстетизируют, искажая при этом половую жизнь. Эротическое – это все то, что относится к изначальной силе притяжения, преодолевая при этом существующую разделенность и несходство между телесными и духовными проявлениями его сути, подчеркивая физический момент в духовном и наоборот.

С этой суверенной областью – ведь эротическое являет свой собственный целый мир во всех его физических проявлениях – пребывают в разнообразных конфликтах другие области человеческой жизни и различные мнения человека. Пример тому – то, как часто люди могут одновременно любить и презирать. Я при этом предвижу, в очень частом случае, что наше «презрение» только привито, и что именно любовь в действительности совпадает с нашей глубинной оценкой вещей.

Притягательность предмета остается источником сильного опьянения, но опьянение нашей целостной сущности существует лишь только в пределах определенных моментов, в то время как в другие моменты наступает уныние, разочарование. Если эта симпатия возникает в очень чувствительных местах души, ей противостоят в нашей сознательной личностной направленности очень сильные пристрастия и оценки: таков исток борьбы между любовью и презрением, и, странным образом, от каждого человека, без исключения, ожидается, что он преодолеет свою страсть, хотя никто – даже он сам – не может предугадать, какие боги в глубине глубин борются тут за его сердце, и на какой стороне может быть самая тяжелая потеря, серьезное увечье.

Как своеобразный итог этих размышлений напрашивается вопрос: почему любимый предмет так часто настолько мало нам подходит – по сравнению с большинством симпатичных нам людей – и почему, тем не менее, для нас все сосредотачивается в нем одном? Почти в каждой любовной страсти живет это недоразумение и, невольно спрашивая себя о причине выбора и тайне своей зависимости, мы, как правило, не в состоянии их объяснить.

Это происходит тогда, когда в основе любовной страсти лежит физическое впечатление, причем это физическое впечатление говорит на совершенно «другом языке», так сказать, символизирует, обещает совершенно иное, нежели то, чем оказывается душа этого человека при более близком знакомстве. Это происходит так, как будто его походка, его вид, его улыбка,

его интонация, короче, все, до самых мельчайших черточек его существа, рассказало о совершенно другом человеке, чем он есть на самом деле.

Если речь идет о страсти легкого рода, то этот парадокс не сильно ее разрушает, ведь она, собственно, и любит только физического человека, и потому она не находится в трагическом конфликте, подобно конфликту между любовью и презрением. В своих физических впечатлениях она не ошибается и никогда не ошибется: в этом человеческие инстинкты не могут заблудиться. Но может случиться так, что то, что она видит и чувствует в этом отдельном индивидууме, явственно подчеркнуто только физически – может быть, возрастом, предками, особенностями семьи, может быть, с детства – т. е. то, чего он лишился со временем, что было отрезано приобретенными позднее внутренними свойствами. Тело – более консервативная сила, и многое медленно в него «внедряется».

То, что мы любим, схоже со светом тех звезд, которые от нас так далеки, что их свет мы видим только после того, как они сами уже погасли. Мы любим потом нечто, что есть, и чего одновременно нет, но даже потом мы любим не зря. Ибо даже потом этот еще видимый, уловимый луч угасающего света может зажечь огонь всей нашей сущности, который не смог бы так вспыхнуть ни от одной другой, самой богатой действительности. Эротически мы любим только то, что в самом широком смысле физически выражено, что, так сказать, стало физическими символами, обрело материальность. Это подчеркивает всю окольность пути от одной человеческой души к другой. Это означает, что мы уже действительно никогда не приблизимся друг к другу, и нечто подобное только изображаем физически. Между тем, по причине дарованного нам физического повода, сами в себе мы создаем блестящий портрет другого, и тем самым все наши силы высвобождаются и воодушевляются. В этом кроется и причина того, почему в некотором смысле искалеченного или обезображенного человека можно продолжать безумно любить, поскольку он уже прежде подал нам не обезображенно и не изувеченно свою физическую символику.

Любовь – это как раз и полностью физическое, и самое глубоко-духовное, спиритуалистическое, что в нас проявляется: она всецело удерживается в теле, но и в нем всецело является символом, подобием для любого человека и для всего, что прокрадывается через ворота чувств в нашу самую сокровенную душу, чтобы ее разбудить.

Вечное отчуждение в вечном состоянии близости – древнейший, извечный признак любви. Это всегда ностальгия и

нежность по недосягаемой звезде.

Только творческий человек знает, что счастье и мучение являются одним и тем же во всем самом интенсивном, самом творческом опыте нашей жизни. Но задолго до него чудак-человек, который любил, – моля, простирал руки к звезде, не спрашивая, будет ли это радостью или страданием.

Перевод – Л. Гармаш

Amor

Романтический набросок

От авторов

Этот набросок, предлагаемый на суд читателей, создавался не совсем обычным способом. В беседе двух литературных знакомых возникла мысль передать в повествовательной форме летучие настроения, сопутствующие некоторым тяжелым жизненным драмам. Один из них тут же стал слагать в небольшую цельную вещь отдельные подробности намеченной темы, которые, казалось, могли быть допущены в непритязательном беллетристическом произведении. Другой передавал на бумаге возникающие черты рассказа. Так написались эти несколько страниц, которые в черновом виде подверглись тщательной обработке.

В одном из отделений спального вагона шла оживленная беседа. Голоса разговаривающих доносились через открытые двери в соседнее отделение – особенно один голос, нервный, слегка хрипящий, переходивший на верхних нотках в фальцет. В тоскливой духоте вагона слова его звучали страстно и убедительно:

– Меня волнует этот процесс. Я ненавижу газеты, с их рекламами и шантажными сообщениями, я никогда не читаю душераздирательных описаний всех этих убийств из-за любви, с финалом на скамье подсудимых. Но в этом процессе есть что-то особенное.

В руке говорившего зашелестела газета.

– Вы, Адриан Петрович, пожалуй, не поймете того, что именно произвело на меня такое впечатление… Эта девушка не выходит у меня из головы. Почти библейский образ! Она омывала ноги своего любовника. А он бил ее по голове.

Адриан Петрович вынул тонкий носовой платок и, медленно развернув его, ударил им по коленям, стряхивая дорожную пыль и пепел. Потом он смял платок в руке, молча и пристально посмотрел на собеседника и ответил мягким приятным баритоном:

– Для меня эта подробность, с омовением ног грубому любовнику, только противна. В этом есть что-то истерическое. Восторженная любовь, коленопреклоненная – и в результате окровавленный нож. В этом есть что-то невыносимое для нервов.

Право, я удивляюсь вашему пафосу, Сергей Дмитриевич. Не нужно никакой особенной морали, – достаточно одной капли эстетического чувства, чтобы понять всю пошлость этой мелодрамы.

Собеседник ответил стремительно, но несколько смущенно:

– Вы не поняли… Меня заинтересовал не финал, не само убийство, а совсем, совсем другое. Ведь настоящая трагедия разыгралась гораздо раньше – тогда, когда эта девушка перестала омывать ноги своему любовнику, когда кончились все эти истерические, как вы выражаетесь, нежности. Нежности-то и спасали любовь от грубости жизни. Любовь – как нежное растение, за которым надо ухаживать, осторожно, бережно… Умерла любовь, наступило отчаянье с его безрассудными жестокостями.

Адриан Петрович пренебрежительно рассмеялся.

– Экая поэтическая душа у вас, Сергей Дмитриевич! – заметил он. – К чему эти цветы красноречия! Любовь всегда одинакова, она живет мгновениями, много-много часами: загорается, потом потухает. Такова она была от рождения времен, такой она и должна быть – случайной, летучей…

– Нет, вечною! – острым фальцетом вскрикнул Сергей Дмитриевич. – Вечною, до смерти. Но для этого надо жить любовью, не разлучаться, отдаваться ей, служить ей – и ничему другому. Ничему и никому, ей одной.

Адриан Петрович соболезнующе вздохнул и сказал с игривой улыбкой:

– Я вижу, мой друг, вы в каком-то сентиментальном настроении!.. Уж не хорошенькая ли блондинка, которая только что проходила по коридору? Хотите знать, кто она? Я был ей однажды представлен. Она вдова, а теперь, говорят, у нее завязалась какая-то любовная история. Кажется, им пришлось на время расстаться…

Поезд выбежал из тесной горной лощины и загремел по высокому железному мосту. Гудение колес заглушило слова собеседников.

Молодая дама, сидевшая в соседнем отделении, у самой двери, напряженно прислушивалась к замирающему разговору. По ее бледному продолговатому лицу, которое казалось измученным, помертвевшим, пробегали живые тени. Облокотившись на мягкую сафьяновую подушку, она с заметным волнением следила за горячим спором, доносившимся из открытых дверей. Одного из собеседников она назвала про себя «романтиком». Его доводы что-то шевелили в ней. Она чувствовала себя одинокой, подхваченной отливающей от берега

волной, которая уносила ее вдаль, и она невольно цеплялась за каждое слово, которое соединяло ее с прошедшим. Когда беседа заглохла в шуме и грохоте колес, она откинулась к спинке дивана и закрыла глаза. Пред ней встало неправильное, острое, страдающее лицо того, с кем она простилась сегодня на станции железной дороги. Он стоял без шапки, и потом, склонившись, припал пересохшими губами к ее руке. Он целовал эту, затянутую в перчатку руку безмолвно, долго и, удерживаясь от рыданий, слегка защемил ее губами. Раздался свисток локомотива, вдоль поезда пронеслось хлопанье вагонных дверей. Колеса дрогнули… Ей вспомнилось, что в последнее мгновение, когда он, не отпуская ее руки, пошел за двинувшимся вагоном, она произнесла одно только слово: «Осторожно!». Поезд ускорил ход…

Теперь они неслись по открытой равнине, залитой солнечным зноем. В вагоне было тихо. По коридору то и дело пробегал поездной кельнер, призываемый тонкими электрическими звонками пассажиров, которые требовали освежающих напитков. Из соседнего купе вышел молодой человек, среднего роста, с бледным, безбородым лицом. Она сейчас же подумала, что это «романтик». Проходя обратно, он по ошибке схватился за ручку ее двери, растерянно посмотрел близорукими глазами, вспыхнул и, многократно извинившись, скрылся. Разговор за стеной возобновился, но уже более сдержано, негромко.

Она продолжала чутко прислушиваться к долетавшим до нее отрывочным словам. Ничего нельзя было разобрать. Она нетерпеливо встала, прошлась по купе и, выйдя в коридор, остановилась у окна, прильнув лбом к прохладному стеклу. Ей хотелось бы еще раз взглянуть на «романтика». Его слова, вырвавшиеся в горячем споре по поводу петербургского судебного процесса, вызвали в ее душе целым рядом неотвязчивых воспоминаний образ только что покинутого человека. И он говорил недавно то же самое. И он говорил, что любовь – чувство нежное, которое боится всякой, даже случайной резкости и дуновения житейского холода. Он не хотел, он боялся разлуки. Он убеждал ее бросить все эти заграничные дела, которые остались нераспутанными после смерти ее мужа. Она взвесила их значение перед судом общественного мнения и с доверием к своему сердцу решилась на время уехать.

Теперь ей было больно, жалко, как если бы она выбросила из гнезда неоперившегося птенца – их новорожденную любовь.

Поезд, тяжело пыхтя локомотивом, подошел к пограничной станции. Публика хлынула на платформу. Молодая женщина сейчас же заметила «романтика» и, узнав его собеседника, пошла

к ним навстречу. Они провели некоторое время, сидя за общим столом, в незначительной беседе. Возвращаясь в вагон, она приветливо предложила обоим спутникам провести некоторое время в ее купе.

Будьте как дома, – сказала она с улыбкой на бледных губах. – Если курите, пожалуйста, не стесняйтесь. Я сама курю.

Романтик сел возле нее, по-студенчески заложив ногу на ногу. Адриан Петрович сел у окна напротив нее. Он провел своей выхоленной рукой с длинными пальцами по густым, низко подстриженным волосам. Это тихое движение руки по темной щетине волос, очевидно, доставляло ему неуловимое удовольствие. Затем он вынул из жилетного кармана небольшую матово-серебряную спичечницу с золотой монограммой, чиркнул спичкой и закурил тонкую сигарету. Казалось, он чего-то ожидает. Он бросил беглый взгляд на своего товарища, приготовляясь к молчаливому участию в его беседе с красивой блондинкой. На нее он как будто не смотрел. Но когда она вынула папироску, он вежливо нагнулся и протянул ей зажженную спичку.

– Это вы, Сергей Дмитриевич, заинтересовали меня вашею беседою, – сказала она, обращаясь к «романтику» с покровительственной добротой в утомленных глазах. – Ваши мысли казались мне более верными, чем возражения Адриана Петровича, и даже прекрасными. Только в одном пункте я с вами совсем не согласна. Вы отказываете любви в способности выдерживать разлуку. Мне кажется, вы этим оскорбляете любовь.

– О, нет, я боготворю любовь! – с живостью отозвался романтик. – Но именно потому-то я и говорю: нужно любить любовь, чтобы не потерять ее.

Она ответила не сразу. В душе ее толпилось много возражений, но слова не приходили. Она не могла уловить их. И, кроме того, что-то мешало ей в эту минуту. Она потянула дым из папироски и, выпустив его, невольно подняла глаза на Адриана Петровича. Он все еще как будто не смотрел на нее, занятый игрою собственных мыслей. Солнце клонилось к закату, и красновато-золотистый столб света шел от окна. Вдруг она заметила, что прямо навстречу легким крутящимся кольцам ее папиросного дыма быстро неслось голубоватое облачко, выдыхаемое ее красивым молчаливым спутником. Два дымка сплетались, смешиваясь в солнечной полосе, и вместе улетучивались в открытое окно. Это повторялось всякий раз, как она выпускала тонкую дымную струю своей папиросы.

Несколько смутившись, она сказала:

– Я совсем не философ, Сергей Дмитриевич. Я только что

ощутила сильное возражение вам, но оно куда-то улетучилось… Впрочем, это понятно: любовь – как музыка, которая поется сердцем, а не рассудком. О ней трудно рассуждать. Ум молчит, но сердце мое говорит мне, что вы неправы. Оно говорит мне, что настоящая любовь сильна, смела, мужественна. Она может все переждать и перетерпеть.

– Какие сильные слова вы употребляете для такого нежного предмета! – заметил «романтик» с грустным упреком в голосе. – Мне кажется, любовь похожа не на бестрепетного героя, а на слабого ребенка, жизнь которого всегда в опасности. За ним надо следить во все глаза, иначе он не вырастет. Вспомните, как изображается Амур: это дитя с мягкими крылышками.

Молодая женщина опять промолчала. В купе сгущались сумерки. Беседа прервалась. Глаза ее невольно следили за тем, как на светлом фоне окна все еще сплетались, сливались и отлетали два играющих дымка. Теперь для нее было несомненно, что дым сигареты посылался ей с тонким расчетом – как раз в тот момент, когда она рассеянно выпускала свои маленькие, расплывающиеся колечки. Что-то странное, тревожное разлилось по ее телу. Она почувствовала, что серые глаза Адриана Петровича остановились на ней и смотрят ей в лицо упорно и откровенно.

Кондуктор вошел в купе, чтобы зажечь фонарь, вставленный в потолок. «Романтик» встал и на несколько минут вышел в соседнее отделение. Когда кондуктор удалился, молодая женщина внезапно почувствовала неловкость. Острая боль кольнула ее сердце. Этот чуждый ей человек что-то губил в ней – дорогое, важное, нарушал священное одиночество ее любовной скорби. И однако у нее не было сил сопротивляться. Она чувствовала раздражение и смятение во всем своем существе. В окно неслось прохладное веяние вечернего воздуха, и она ощутила в теле легкую дрожь. Чтобы прервать томительное бездействие, она встала и потянулась к сетке, в которой лежал ее плед. Адриан Петрович приподнялся помочь ей, и так как на быстром ходу поезда она покачнулась, он поддержал ее свободной рукой, слегка обняв за талию. Она не противилась: рука его казалась тяжелой и вместе с тем приятной. Чуть слышное дуновение пронеслось в ее душе. Она ничего не сказала и опустилась на скамью, выронив поданный ей плед. Он поднял его, развернул, прикрыл ее колени и заботливо расправил на ее ногах до самых носков.

Когда вернулся Сергей Дмитриевич, в купе стояла тягостная тишина. Он попробовал возбудить разговор, но спутники почти не давали отклика. Молодая женщина все более и более уходила в

себя. Представления ее теряли форму, расплывались, а над ними брезжил новый тусклый свет. Ей хотелось остаться одной. Романтик казался ей теперь наивным, а другой, который незаметно вторгся в ее настроение, становился ей невыносим. Оба заметили ее тревожную молчаливость. Оставалось только вежливо распрощаться до завтрашнего утра и уйти.

Теперь она была одна. Служитель приготовил постель. Она закрыла за ним дверь и, медленно раздевшись, легла. Мысль ее с внезапною силой вернулись к тому, с кем она рассталась, и от кого поезд уносил ее все дальше и дальше. Но черты его лица ускользали, теряли свою живую пластичность. В первый раз она со страхом и болью поняла, что время заключает в себе разрушительную силу. Где он теперь? Что он чувствует? Холодная ночная мгла лежала между ними. Курьерский поезд несся с сумасшедшей быстротой. Тяжелые колеса вертелись с гудением и ревом, в котором слышался суровый ритм. Она лежала в полузабытьи, и неизвестно почему прозвучало в ее душе последнее слово, сказанное ему на прощанье: «Осторожно»… И с каждым поворотом колес слово это само собою повторялось и как бы сливалось с угрожающим напевом бегущего железного чудовища.

Вдруг ей почудилось, что кто-то ходит по коридору мимо ее двери. Это стало волновать ее. Она раздраженно поднялась, приникла к двери ухом и ясно услышала, что шаги как раз подле ее купе замедляются. Она сейчас же поняла, кто еще раз пытается нарушить глубокую скорбь ее опасного одиночества. Она с отвращением и негодованием бросилась на постель и зарыдала…

В половине шестого утра поезд остановился у Центральной станции Берлина. Молодые люди бросились к соседнему купе, чтобы предложить новой знакомой, чтобы помочь вынести вещи, но она была уже в коридоре и, отвернувшись, быстро вышла на платформу. Она еще раз мелькнула перед ними в толпе с мертвенно бледным лицом.

Лу Андреас-Саломе, Аким Волынский
Перевод – Л. Гармаш

Моя благодарность Фрейду

Открытое письмо профессору Зигмунду Фрейду к его 75-летию

I

Дорогой профессор Фрейд!

В статье Томаса Манна Вы вышли очень хорошо! Но – или я ошибаюсь? – также и в этом случае, как обычно бывает, не было исключено крупное недопонимание. Разве у Томаса Манна не происходит в какой-то мере так, будто существенная часть хвалы и прославлений скорее заимствована им у своего подобия? Ведь он, со своей стороны, является ярым поборником рационального только потому, что, даже будучи поэтом, со всем возможным самообладанием сдерживает лавины своих романтических прихотей: по крайней мере, мне так кажется, – а я втайне люблю поэтические прорывы в нем больше, чем его стойкость. Вас же он совершенно незаслуженно упрекает в первой цензуре такой стойкости к диагностированному им духу времени возрождающегося романтизма, – тогда как Вам сложно дается только одно: уступать этому духу. Ведь нам, всему Вашему окружению, это известно лучше, нам известно, какой жертвой для Вас было столь глубокое проникновение в иррациональное, какого требовали Ваши великие обнаружения. Для всех нас делом Вашей жизни и Вашего духа является именно то, что Ваша рациональность принуждала себя заниматься раскопками вещей, совсем Вас не привлекавших, по отношению к которым Вы – положа руку на сердце! – часто предпочли бы разделить недовольство всех типичнейших ученых конца прошлого столетия.

Вы, наверное, еще помните, как за чаем в мюнхенском Хофгартене, после волнительного Конгресса 1913 года, Вы рассказывали мне из своей недавней практики о якобы «телепатическом» и с легкой нескрываемой гримасой добавили:

«Если ради исследования действительно понадобится войти в это болото, то пусть это случится не на моем веку».

При всем уважении к Томасу Манну, у которого «все, что он говорит, всегда обосновано», Вы в своем письме касательно написанного им Вашего портрета замечаете:

«Он, кажется, не довершил свое исследование о романтиках, и тогда, как выражаются столяры, фанеровал его психоанализом».

На наш взгляд, дело обстоит так, как раз потому, что все

обстоит примерно обратно тому, каким это хочет видеть Томас Манн, наше доверие к обнаружениям Фрейда и стало столь непоколебимо глубоким, сколь глубока первопричина самих этих обнаружений. Или я могу говорить это только от своего лица? Нет! То, что результаты Ваших исследований вовсе не относились к желанным для Вас направлениям, не только несравнимо укрепило наше доверие, это укрепило и наше человеческое сотрудничество сверх чисто исследовательского поведения. Это создало человеческие условия для нашего преемства в работе над глубинным исследованием. Совершенно непроизвольно тут вспоминается полушутливый, но противниками также подчас серьезно поднимавшийся вопрос: кто же и как анализировал самого создателя психоанализа, раз он считает такой способ обязательным для всех членов? Что ж, создателем он стал именно благодаря этому способу: через свою борьбу с тем, что мы на нашем языке называем «сопротивлением», с сопротивлением своей природы тому, что она с равной охотой сохранила бы «вытесненным», тому, что было неприятным ее вкусу, «сопротивлялось» ему, – и в чем она, в трении с самой собой, стала гениальным свершением.

Вы создали психоанализ, став первым анализандом самого себя.

И тем самым было получено основание, на котором смогло прочно утвердиться другое сопротивление: сопротивление предрассудку и поношению, издевке и возмущению людей. Тем самым была задана позиция, исходя из которой приносились жертва за жертвой ради дела, которое было осрамлено и поставлено к позорному столбу не только в том смысле, в каком это обычно происходит с новыми движениями, а из тайных движущих мотивов опасения и бегства от самого себя, из-за которых человека «здесь, очевидно, отвлекает от собственной персоны особое препятствие и мешает ему в правильном познавании» (Фрейд).

Нам всем стало легче встречаться с любой мыслимой невзгодой – после того как было раскопано общечеловеческое, первоначально раскрытое Вами при отречении от самого себя и от собственного личностного материала. С того времени самопознание стало возможно осуществлять без опасений и без бегства как добровольное признание. Но одновременно, через раз и навсегда проведенный живой факт, благодаря Вам для нас, прочих, воля к исследованию и воля к пожертвованию навсегда объединились, чтобы посвятить нас в прекраснейшую из человеческих профессий.

II

Над прекраснейшей профессией стоят Ваши слова врача:

«Больной всегда прав! – Болезнь не должна быть для него чем-то презренным, напротив, скорее она может стать для него достойным противником, частью его существа, руководствующейся добрыми мотивами, из которой нужно извлечь ценное для его дальнейшей жизни».

Эти слова снимают с больного изоляцию, в которой он находится, словно стоя среди пустоты; они снимают с него недопонимание позора и открывают контакт человека с человеком. Они основывают контакт на равенстве человеческого свойства и поэтому одновременно отрицают его в любом смысле индивидуальной привязанности.

Как бы то ни было, для анализанда эта привязанность предстает индивидуально обоснованной, ведь весь анализ опирается на «перенос». Чтобы точно установить его особенный характер, Вы, почти с самого начала, обратили внимание на то, что анализанд просто «переносит» на аналитика свои аффекты за и против него из собственного самого давнего аффективного прошлого, просто увешивает его ими, словно уже с готовностью подставленную вешалку для одежды, и что он до последнего осуществляет этот способ двойственным манером: отчасти с помощью своих, аналитически поднятых из вытеснения воспоминаний, отчасти там, где с ними возникает перебой, в неумышленных и непроизвольных акциях за и против, – тем самым косвенно, в агирующем поведении доводя подавленное до сведения других. Но ведь Вы указали и на то, каким образом нечто, имеющее такое происхождение, вообще пригодно для наших аффектов и привязанностей, рассказали о том, что их корневая причина раньше всего и давным-давно присуща нашим впечатлениям и из этого прошлого надстраивает еще и настоящее, – как вследствие этого конечное отличие переноса задается только во время анализа через реагирование на это аналитика: он должен не отвечать на него, а использовать его, эксплуатировать как средство исцеления вне зависимости от того, имеет ли этот перенос расстраивающую установку, будь то через приукрашивание материала воспоминаний в ухаживании и симпатии, будь то в «сопротивлении» в духе противника. Только с увеличением проникновения анализанда в это внутреннее положение дел начинается полная совместность работы, исследование взаимосвязей в бессознательном, т. е. того, что только в этом впервые открывается для обоих.

Именно этот момент столь обоснованно отделяет глубинное

исследование, с одной стороны, от практик исповеди, с другой стороны, от практик гипноза (из которого оно изначально выходило), – от того, что разведывает сознательные мотивы действования, чтобы повлиять на них воспитанием, а также от того, что стремится создать душевный автоматизм, пока внушаемость по отношению к гипнотизеру не захватит сознание врасплох. Что-нибудь из этих двух, гипноз или исповедь, может ошибочно попасть в глубинное исследование, если перестанут достаточно строго следовать его методике, как только желание суггестивно воздействовать сотрет внутренние движения, происходящие в анализанде, – сделает неясным, что в них является самодеятельным, а что нашептанным. Такая сверхактивность легко возникает совершенно без всякого намерения к ней, в зависимости от того, преобладает ли в аналитике чрезмерное «желание вести за собой» или же чересчур навязчивое участие: потому что люди «с золотым сердцем» не менее ошибочно путают психоанализ с самаритянством. Но, с другой стороны, следует также сказать себе, что палку нейтральности и объективности тоже можно перегнуть, и такое нередко происходит: в преимущественно интеллектуальной установке, нацеленной на сбережение нервов от изнурительности профессии и при этом склонной забывать, до какой степени вслушивание и вчувствование в чужие душевные проявления предполагают абсолютное сдерживание собственного бессознательного, и что для этого «активное» и «пассивное» должны действовать вместе, сообща, что не удается нам, если мы себя «экономим». Не меньше, чем сплочение всего себя для такой службы, необходимо, чтобы помощник и нуждающийся в помощи встретились в своих двусторонних усилиях на достаточной глубине, в частности, там, где мы можем встречаться и помогать просто потому, что все мы люди.

Ведь что мы хотим уяснить для себя, мы, все, кто работает в этой профессии, в этом призвании – наше превосходство от случая к случаю заключается только в двух вещах: во-первых, в выработанном для нас фрейдовской методикой знании, и затем в простом факте, что мы являемся тем вторым человеком, кто помогает Мюнхгаузену вытаскивать себя из воды за собственную шевелюру, и без которого, в данном случае, не смог бы обойтись даже самый искусный аналитик. Это дополнительно обретает величайшую важность благодаря тому, что заболевший словно сам носит в себе свою болезнь как этого второго, как отщепление от своей личности, которое вмешивается в его волю к выздоровлению, использует, бессознательно для него, как хитрый обманщик, его сознательные старания и пытается их сорвать. В

борьбе этой двойственности в нем лишь постепенно возникает понимание: он не идентичен страданию, а только поражен им, связан с ним, но отделим от него; но и посреди окончательного отделения любая болезненная реакция сохраняет то же враждебное коварство – один пациент живо ее описал: будто в разлетевшемся на сотню осколков зеркале в самом последнем осколке еще виден лик врага целиком. Пока ненависть к этому захватчику в счастье выздоровления не превратится в столь же неразделенный гнев, не сконденсируется таким же образом, каким когда-то происходило пассивное предоставление свободы. Потому что с избавляющими воспоминаниями поднимается и воспоминание об изначальных страхах, от неизбежности которых отталкивался невроз, и демонстрирует их освобожденной реальности в их жуткой призрачности. Это один пациент также выразил как новое, сильно захватившее его размышление: мысль о том, что подобное лежит позади человека, за каждым человеком, в беспомощности первых переживаний, и перед решением, справится ли человек с ними и останется ли здоровым, – эта мысль образовала бы основополагающее знание в противоположность человеческому знанию, которое избавило бы каждого отдельного человека, каким бы тривиальным он ни казался нам в дальнейшем, от простоты банальности.

На самом деле мне кажется, что от анализа одинаково неотделимо как то, что он разбирает отдельного человека по волокнам, по кусочкам, так и то, что он дает ему прочувствовать главное значение, по ту сторону стыда и гордости, значение, которое даже болезнью не ставится под сомнение, а только подтверждается. Ведь не случайно именно врач нашел путь к глубинному исследованию. До Вас психологи почти всегда брали за исходную точку так называемого здорового человека либо приближали патологическое к мистическому. По большей части происходило примерно так, как если бы люди, сидя на краю водоема, обменивались мнениями по поводу невидимо плавающих в нем рыб: либо философски сочиняя о них басни, либо вылавливая какую-нибудь из них, чтобы бросить в кучу мертвой добычи, уже приготовленной для скрупулезной разделки. Только теперь раненую рыбу снимают с крючка, чтобы она – в своем ранении столь же доступная исследованию, как и мертвая рыба, – известила о своей рыбьей сущности, а затем снова укрылась в своей стихии. Это, как мне представляется, обрело большое значение для нашего обыкновения вообще применять на практике понятия закономерности и каузальности. На этот счет Вы ясно высказались, что психоанализ полностью зависит от вопроса детерминации. Однако здесь само собой

осуществилось детерминирование в двойном смысле: одновременно в применении разумного диагноза к отдельному экземпляру, а также применении все новых обоснований и условий в примыкании к совокупности живого существа, насколько глубже оно еще может быть приближено к методу разума. Наиболее ошеломляющим в мире сновидений Вам должно было показаться то, как, от слоя к слою, в меняющихся обстоятельствах деталей каузально постигнутое видело себя «сверхдетерминированным», а причиняющее и причиненное при этом скрещивалось все глубже: прямо-таки неисчерпаемо даже для работы по толкованию всей человеческой жизни. Однако что же Вы тогда просто предвосхитили своим понятием «сверхдетерминации» – нечто из того, что в научном хозяйстве давно вводило «кондиционализм» вместо «каузального ряда» и далее давало пространство трактовке, согласно которой познанными условиями можно обойтись только в системах, которые воображаются произвольно замкнутыми. Потому что наш логически приобретаемый внешний опыт, научно разрастаясь и становясь все более полезным день ото дня, точно также широко может распространяться в еще не изобретенное, подобно тому, как наш внутренний опыт проникает на все большую глубину.

Однако для нас, психоаналитиков, из этого следует точно такая же необходимость лишь тем более строго детерминированного манипулирования нашей техникой и методикой, как для естествознания – его техникой и методикой. Только в раскрытой части мы предохраняем себя от недопустимости и ненадежности субъективных догадок, намеревающихся угнездиться в науке, и, опять же тормозя их, вмешиваем их в безусловность свободно текущих впечатлений от переживаний. Там, где наши противники – или просто «благожелатели» – так охотно наступают со своей синтетикой, которой им хотелось бы дополнить психоанализ, они тем самым только загрязняют его, – примыкая к нему в качестве советчиков педагогического, моралистского, религиозного или еще какого-либо сорта. Вместо высокомерного доверия, которым они тем самым отдают дань самим себе, им следовало бы лучше довериться бессознательному знанию истинно выздоровевшего человека, который, как возвращенная в свою стихию рыба, в воде не нуждается ни в каком указателе пути, и которого, таким образом, просто удерживают на чужой земле. Совершенно не говоря уже о том, как усилилась бы тем самым привязка к причинам его заболевания: к только что устраненной зависимости его инфантильности.

Вы справедливо указали на то, что нормально, если

анализанд не вспоминает о своем аналитике, подобно тому как здоровый человек перестает быть привязанным к бутылочке с лекарством. Я, напротив, с трудом могу представить обратную ситуацию: что аналитику тяжело забыть своего бывшего анализанда именно из-за неповторимого спектакля, который тот для него разыграл. Ведь в чем состоит, при более точном рассмотрении, уникальность каждой душевной ситуации? В том, что только внутри нее исследователю в нас поставляется материал, который, будучи столь интимным и жизненным, был недоступен даже самому близкому другу, и что, тем не менее, именно перед его чисто исследовательским обращением к нему раскрывается глубина нашей все-человечности, как если бы она открылась его собственному самопознанию. Таким образом, речь идет о двойном результате отдачи и получения, при этом исследовательская цель становится достижимой только на основании переживания от человека к человеку, и это переживание со своей стороны выступает лишь как успех исследовательской объективности. Когда потом, в конце своей работы, если она была поистине успешна, аналитик видит человека, делающего шаг в открытую дверь, ведущую обратно в дневную жизнь, тогда он, вероятно, втайне задается вопросом: «А сумел бы и я это преодолеть и свершить?», тем более, что ему должно открыться то, как часто падение в невроз имеет предпосылки в самом тонком душевном честолюбии и перенапряжении. Поэтому в последних словах прощания при расставании заключено самое серьезное уважение, с которым человек должен относиться к человеку.

Но знаете ли Вы, что мне это сильнее всего напоминает? Один Ваш семинар в зимнем семестре 1912 года. То, как Вы, начав с конца, слой за слоем, несколько раз разъяснили нам один случай невроза, – а потом вдруг, легкой рукой, будто вытряхивая пирог из его жестяной формы, одним движением в неповрежденной целостности представили его на наше обозрение. Меня – нас – в тот момент потрясло именно неизбежное, Вами абсолютно не замышлявшееся ощущение, уверенность: человеческая жизнь (ах! жизнь вообще) – это поэзия. Бессознательно для себя мы живем ею, день за днем, часть за частью, но в своей неприкосновенной целости это она живет нами, она пишет нас. Как же далека от этого старая фраза о «превращении своей жизни в произведение искусства» (от такого самолюбования надежнее всего излечивает психоанализ, да пожалуй, только он один и излечивает); мы – произведение не своего искусства.

Но здесь мне окончательно стало ясно то, что уже часто

прежде приходило мне в голову: почему в упомянутом контрпереносе аналитика на анализанда, в роде его интереса к нему обнаруживается некоторая ошеломляющая аналогия с отношением поэта к его героям. Это та степень объективности, нейтральности, при отдаче без остатка, которая подспудно, неумышленно, целиком и полностью основывается на последнем человеческом равенстве. Поэтому ее не трогает обстоятельство, оформляется ли здесь нечто, что было бы отвергнуто при вопросе индивидуального выбора, не проявляются ли в этом прямо-таки отталкивающие черты, усердно раскрытые и зарисованные, нас самих, совершенно без учета этого; остается та безаффектная соединенность, из-за которой нам, например, в возмущении хочется схватить за горло того, кто, испытывая брезгливость к сотворенному таким образом, устроенному так персонажу, захотел бы сказать, что он достоин лишь презрения. Два вида отнесенности к объекту – у аналитика и у поэта – можно было бы рассматривать как несопоставимые, несмотря на одинаковый отказ от привычной фразы фотографа: «пожалуйста, улыбайтесь», несмотря на это уверенное помещение себя во внутреннюю ситуацию человека, вне зависимости от того, какова она, как будто в любом случае она ему подходит; можно было бы отталкиваться от противоположности обоих методов как направленного максимально аналитически и направленного максимально синтетически. И тем не менее, их противоположность, по сути, говорит только о том, что в одном случае на ткань смотрят с изнанки, учитывая пролегание отдельных нитей, их переплетения и узелки, – а в другом случае весь образец рассматривается с лицевой стороны и учитывается впечатление от общего вида.

Не только в случае заболевания бывает так, что «лицевая сторона образца», совокупное впечатление, перестает быть доступной зрению целиком, бывает также такого рода здоровье, которое мешает видеть ее целиком, – в тех случаях, когда человек довольствуется малой толикой возможностей своего существа. Не так уж редко, например, при «учебных анализах», в поиске самой личной точки, на которой «учение» сможет раскрыться практически, у человека возникает вопрос: «Не чересчур ли ты здоров?» вместо более привычного: «Чем ты заболеваешь?». И тогда вместо двух обычных «сопротивлений» в анализе – удерживания вытеснения и удерживания симптоматики вытесненного – можно испытать третье сопротивление, поначалу кажущееся очень оправданным, столь же оправданным, как само хорошо сохранившееся здоровье соответствующего человека: ведь это здоровье относится к неудовольствию, к неодобрению

вмешательства в свой хорошо обустроенный безупречный домик и свой скарб – в известной степени непозволению прикасаться к единости своей персоны. Речь при этом идет о скрываемом опасении, что слишком рано и прочно выстроенные вокруг нас осторожные привычки могут вдруг стать словно прозрачными при просвечивании очертаний строений более далеких, более крупных, чем те, что мы учли в нашем слишком узком плане, – что они могут рассеяться даже в большую безграничность, чем та, на которую мы когда-либо отважились бы. Поэтому, пожалуй, следует отличать здоровое от «здорового», если мы не хотим способствовать неправильному толкованию, которое иногда упрекает нас, что мы якобы переоцениваем оздоровление и что некоторая болезненность якобы раскрывает более перспективные возможности. Больное означает для нас расстроенное в своих функциях, здоровое же может получать ложную дефиницию как убавленное в своей субстанции, но интактное внутри. То, что обычно называют «людской массой» и отличают от выдающихся индивидов, не совпадает с этим понятием; человек, индивидуальному развитию которого препятствовали обстоятельства, может иметь полный доступ к своей первопричине как к тому, что жизнетворно устремляется в нем наверх из бессознательного; с другой стороны, самый развитый человек может пренебречь этим доступом как невыгодным для того, что намерены сделать с его судьбой рассудок и практика. Такое простое использование и сознательная комбинируемость универсального, вместо отдавания себя во власть собственной глубины, изображает его как во многом ущемленного, несмотря на все поверхностные успехи.

Там, где анализ подействовал полностью, он превращается для выздоровевшего в улучшенное видение возможности собственного оформления. Возвращение к себе происходит у него как возвращение к чему-то, что, пожалуй, является им самим, но также является и чем-то большим, чем он: это возвышается для него как некая фигура, чтобы из самого забытого, самого неблизкого теперь превратиться в стимул к собственной личной жизни. Поэтому тут станет ощутимым не простой замысел или принятое решение, просто проникновение в болезнетворное или лишь его осуждение – нет, именно высвободившаяся вспышка влечения должна преобразоваться в этом в обновленное любовное блаженство. Я нарочно выбираю это сильное слово: выздоровление – это любовная акция. Погружение в себя становится возвращением домой только в чувстве принятости, одариваемости в совокупном; только в нем оно становится собственным импульсом к задействованию, вместо прежнего

застревания в себе и хождения в пустоте. Ведь психоанализ не создавал ничего – словно нечто выдуманное, взятое из воздуха, – он только что-то раскапывал, открывал, раскрывал, пока – как подземные воды, журчание которых мы снова слышим, как остановившаяся было кровь, пульсирование которой мы снова ощущаем, – взаимосвязь не смогла дать нам живое свидетельство о себе. Психоанализ представляет собой не что иное, как обнажающий маневр, который, избегаемый больным человеком как разоблачение, здоровым переживается как освобождение; даже тогда еще, когда оставшаяся между тем неизмененной внешняя реальность со всех сторон напирает на него трудностями: потому что тем самым впервые встречаются действительность с действительностью, а не призрак с призраком.

III

Может быть, быть, Вы сочтете, что я эмпатически говорю о возможных успехах полностью проведенного анализа (т. е. такого, при котором не урезалось время для окончательного довершения и хватило выдержки желанию выздороветь). Тем не менее, мои утверждения основывались на Вашей констатации того, до чего должен дойти каждый анализ, чтобы стать поводом к обновлению, – а именно, той первопричины в нас самих, которую Вы окрестили «нарцистической»: последней познаваемой границы нашей компетенции, дальше которой «наш грубый анализ» уже не распространяется. То, о чем Вы говорили мне сначала устно в 1912 году, и что затем как «Введение нарцизма» обозначило столь решительный рывок вперед в психоаналитическом исследовании, постоянно казалось мне проникновением, так и не использованным в полной мере: причем как раз потому, что наши авторы в большинстве случаев размыто переименовывают в нарцистическое «самолюбие». Вы однажды согласились с моей жалобой, Вы считаете, что сознательное и бессознательное самолюбие, возможно, не были различены с достаточной точностью; но не содержится ли именно в этом та точка, в которой «Самость» оказывается перевернутой в свою противоположность? То есть где любовь к себе еще нераздельно содержит в себе – самоотверженно – изначальную взаимосвязь со всем? Эта пуповина, неучтожимо продолжающая воздействовать на заднем плане наших сознательных возбуждений влечения, – самым явным образом укоренившись в нашей телесности, нашем собственном неотделимом «внешнем», которое, тем не менее, является самими нами, – сделала появление нового термина по-

настоящему необходимым. В области телесного скорее всего может произойти перепутывание «самолюбия» (в обычном словоупотреблении) с таким охватыванием всего-в-одном, еще не выделяющим Самость в отдельности, поскольку в нашем физисе внутреннее и внешнее с множеством противоречий постоянно отображаются вместе. Ведь это же побудило Вас применить к нарцистическому образ манер, вытягивающих ложноножки, чтобы затем снова растворить их в комочке собственной протоплазмы – подобно тому, как мы перед каждой новой загрузкой объекта вбираем наше либидо обратно в себя, словно в резервуар еще нерасчлененного мира Я и окружающего мира. (Между прочим, я не могу не вставить здесь еретического высказывания о том, что использованное полностью понятие нарцизма, кажется, делает отрадно излишним понятие Вашего более позднего «Оно», к которому я не очень хорошо отношусь. Ведь Оно уже не рисует границу для пребывания в прежнем состоянии, а простирается дальше нее в философские определения понятия, по которым этих Оно уже почти столько же, сколько философов, что психоаналитически сбивает нас с толку, мы как будто усаживаемся за стол, за которым уже давно не осталось места.)

Причину, почему мы никогда не сможем полностью отдать должное великой значимости первично нарцистического, я вижу в том, что нам, людям, более поздняя сознательная Самость непроизвольно присуща только со стороны достигнутой прибыли сверх исконного состояния. Мы плохо представляем себе, насколько одно в сопоставлении с другим заключает в себе также вынужденное ущемление. Наша полная индивидуализация и осознание нас самих были бы не только дополнением, добавлением, увеличением – скажем так – наличествования, но одновременно и утратой, вычетом неделимо действительного. Быть передвинутым к отдельному, собственному постоянно может толковаться двояко: быть выделенным и быть отстраненным. И помнить об этом обстоятельстве представляется тем более важным, что «пограничнo-нарцистическое» всю жизнь может выступать в двойной роли: как основной резервуар всех способов душевного проявления вплоть до индивидуализированного или до самого тонкого, а также как место любого соскальзывания назад, любой регрессивной тенденции, прочь от того, что было развито нашим Я, к его начальным проявлениям через патологическую «фиксацию» на инфантильности. Подобно тому, как и у наших органов, как бы они ни дифференцировались, остается резерв протоплазмы, из которого они берут свою жизнеспособность, и как, с другой стороны, их жизнь все же проявляется в способности к дифференциации до мельчайших

деталей. Ведь вот что является подлинной задачей психоанализа, предваряющим условием для его практического шедевра – атаковать патологическое, деградировавшее, с целью вскрытия созидательного живого в самом «нарцизме».

По ту сторону того, что еще можно ухватить как пребывание в одном состоянии, вдоль нарцистических пограничных проявлений, душевное переживание нашей сознательной добавочной проверки прячется уже в процессах биологической природы, – т. е. уже оттуда мы совершаем переворот, после которого душевно окрещенное перестает быть для нас душевно сопровождаемым и теперь может быть исследовано только извне, противопоставляется нашей сознательности как телесность. Только в одном пункте мы можем ошибочно полагать, будто сам переворот стал для нас очевидным: как нечто, что одновременно превращается в душевное возбуждение и все-таки может прослеживаться также как физиологический процесс, т. е. «извне», – в сексуальном процессе. Может показаться странным, почему именно в этом месте раздались глупые антифрейдовские выкрики о переоценивании сексуального: разве для того чтобы подняться по ступенькам лестницы, не нужно сначала посмотреть на то, как она стоит на земле, т. е. взглянуть туда, где лестница и земля, скажем так, еще означают одно и то же? Даже при самых «воодушевленных» заявлениях вся лестница опрокинется, если она сдвинута со своего места (разве что это будет известная лестница на небеса). Но зато остается неважным, на какой из ее перекладин она была исследована в поисках «сублимированного» или самого яркого телесного обнаружения. В противоположность распространенному и похвальному обычаю сначала давать аккуратное определение вещам, о которых намереваются говорить, в этом пункте лучше всего было бы перемешать обозначения (подобно ступенькам, которые все равно останутся ступеньками, если их поменять местами), идет ли речь о сексуальности, сладострастии, половости, эросе, любви, либидо или прочем.

Ибо плотское, разделяющее вещь от вещи, персону от персоны, в «очевидной тайне» является тем, что абсолютно и единственно объединяет одновременно внутренние процессы и процессы внешние: ведь наша собственная плоть представляет собой не что иное, как самую близкую к нам часть наружного – неразлучно интимную для нас, идентичную нам, и все же отделенную от нас настолько, что мы должны знакомиться с ней и изучать ее подобно всем прочим вещам извне. Так и в наших объектных связях она – одновременно плоскость, разделяющая нас со всем, и точка встречи со всем (самое отграничивающее в

нас и самое всеобщее в нас), вплоть до химической формулы, уподобляющей нас неорганическому как то же самое. Это обстоятельство так точно ставит нашу плотскость в центр всей любовной суеты между объектами, на середину моста влечений, который, от нашей изоляции через личные плотские очертания, переводит нас к родственности всему через плотскость, как если бы в ней, и только в ней, протестовало первое воспоминание о равенстве всех нас, остаток которого, скажем так, еще образуют наши любовные побуждения, исходящие от человека к человеку. Однако, с другой стороны, в каждом появляется также враждебность к плоти вследствие этого противоречия изначальных тенденций к развитию собственного Я, развитию, которое, в своем персональном ограничении, равным образом что-то в себе имеет, т. е. имеет многое против того, чтобы быть превзойденным и отказаться от себя ради единения. Это двусмысленное отношение к плотскому, эту «амбивалентность» нашей душевной установки к нему справедливо отметил создатель термина (наш старый друг и оппонент Блейлер); также и без какого-либо «этически» направленного объяснения такой тормозящий принцип встроен в нашу структуру – как крепость для отражения противника. Ведь как бы ни называли то, что вызывает здесь у нас опасения, – сексуальным опьянением ли, триумфом эроса, властью любви, жалом сладострастия или другими его многочисленными именами, в любом случае остается причастность к бессознательному и, следовательно, вспышка насилия по отношению к упорядоченным укреплениям, возведенным в нашем сознании Я.

Ничто не кажется более характерным для этого, чем тот факт, что наши самые ранние сексуальные фазы одновременно демонстрируют пассивный и активный компонент, компонент самоотдачи и компонент агрессии, обороняющейся или желающей осуществить захват, что, таким образом, в парах противоположностей вперед выступает то, что развертывается в инфантильных парциальных влечениях на эрогенных зонах плоти (как это, после Вашего установления, более подробно изложил наш незаменимый Абрахам). Создается впечатление, будто то, что неразличимо и бессознательно еще содержит в себе все, по меньшей мере в этом включении в себя даже противоположного себе, хотело бы еще утвердиться при переходе в сознательное (это в особенности объединяет в себе – забавным образом названный в честь определенных персон – садомазохизм). Если К. Г. Юнг по этой причине забраковал фрейдовские «парциальные влечения», говоря, будто с ними Вы вернулись в прежнюю школьную психологию отдельных «способностей», то может существовать и

обратное мнение, что это разветвление, разложение изначальной тяги на плотское отдельное дает наилучшее объяснение – именно словно последнее провозглашение любви всем окаймлением плоти, прежде чем с вызреванием плоти это провозглашение сожмется до специального хранилища в самостоятельном индивиде. Кажется, можно увидеть, как первоначально весь кожный покров в томлении простирается к сорванному продолжению материнского внутреннего мира, еще не нуждавшегося в тяге влечений, чтобы быть поглощенным в целом; оральное сладострастие еще вбирает с грудным молоком само себя как несправедливо отнятую часть себя, – еще мгновение оставаясь истинно аутоэротическим, пока с прорезыванием зубов не заподозрит, что за этим есть еще более агрессивное овладение «другим»; в любовной зрелости мы охотнее всего возвращаемся к этому «предваряющему удовольствию» зоны рта, в котором, как в обыкновениях древнейших племен, плотское связывается с аллегорическим, каннибализм – с сакральным служением. Мощным в этих раннеинфантильных сексуальных фазах вообще является то, что плотское и душевное еще существуют вложенными друг в друга, поскольку с еще ничтожным знанием человека о самом себе отсутствует также и то, что позднее ссорит «две души в груди его», а именно – осуждение. Мне сильнее всего бросилось это в глаза в том сексуальном влечении, что осуждалось раньше всего, – анальном, презрительные названия которого практически всю жизнь перенимались для осуждения всего аморального, такого как «отбросы», «грязь», «то, что вызывает отвращение», «самое низкое», «самое зловонное» и т. д. За этим, часто и нами тоже, оставляется без внимания то необычайно важное, что также позитивно осуществляется в переживании анального относительно нашей духовной установки к миру; в борьбе за первую чистоплотность маленький ребенок на собственном опыте познает свои телесные выделения одновременно как части наружного мира, как чуждые объекты, которые человек удаляет, отвергает, и тем не менее, также еще как самого себя, как часть себя, которую он хотел бы сохранить в себе и возле себя; по-разному и самоотнесенно он узнает в этом, вместо аутоэротического путания, возведение моста между внутренним и внешним именно по их различению: и именно это является началом нашего пожизненного духовного дела – обучения взаимодействию все более значимых различений и сильных тисков влечения, удерживающих нас в связке с противостоящим нам миром.

Поэтому субъект и объект в своей вечной проблематике не только доходят оттуда до философских спекуляций взрослых

людей, но и еще раз становятся персоной и самым зрелым чувственным переживанием: в прославленной способности матери ощущать рожденное ею в равной мере как себя и как часть вне себя – последний источник любой привязанности, а для нас, людей сознания, также источник любого духовного осознания противостоящего нам мира, отграничивающего себя от узости нашей отдельности. Если ранние сексуальные фазы – к примеру, требующие чувства осязания, влечения к оральному поглощению или анальному отчуждению – направлены навстречу объекту любви, то есть еще и инфантильный поворот, характерным образом от объекта удаляющийся: с одной стороны, уже заранее полностью направленный на гениталии, несмотря на то, что они должны прийти к своему осуществлению на объекте только с пубертатом, с другой стороны, отклоненный назад к некоторой аутоэротичности, которая тем не менее уже очень рано перестает быть замкнувшейся в самой себе. Исходя из этого объясняется малая доля некогда единогласного осуждения, осыпавшего человеческий способ онанизма еще более сильными проклятиями, чем какое-либо другое детское сладострастие, пусть даже довольно хитро спрятанное под многообразием его техник, на которое, в любом случае, чересчур охотно закрывают глаза. Потому что нужно дойти до античности, чтобы встретить такие убеждения (как те, что отметили Вы), которые не возвеличивают любовное влечение как таковое и не возвеличивают, в частности, его отнесенность к объекту его любви, к верности к партнеру, жертвование для него, в общем и целом, следовательно, одновременно обращение к этике, пока в любовном вопросе окончательно, споря, не будут противостоять «плоть» и «душа». Это настолько ожесточенно проявляется в вопросе об онанизме, что в нем даже не различались разнородные тенденции – как, например, физиологически вызванное раннеинфантильное мастурбаторное раздражение или мастурбация как необязательное подсобное средство при реальных несостоятельностях в жизненной судьбе, или подлинный онанизм как предпочтение мастурбаторной сексуальной цели перед партнерской сексуальной целью, что обычно имеет скрытые патологические причины. В то время как действительно вредящей во всех трех случаях является только (как бы то ни было, особенно вероятная в отсутствии партнерства) чрезмерность; моральная угроза и наказание, как известно, наносят истинный вред только через вызываемые при этом воздействия вины и страха, чреватые последствиями гораздо более значимыми, чем это раздутое дело. То, что чувства вины и страха при этом реагируют с такой удивительной силой, как ни при какой другой

угрозе наказанием, указывает на самое существенное в этом инфантильном предосудительном поступке – на сопутствующие ему фантазии. В борьбе между изначально фиксированным «всемогуществом мыслей» нашей инфантильности и не принятием его во внимание разочаровывающей реальностью наша фантазия вынуждена заниматься уравновешиванием, становясь одинаково восприимчивой и чувствительной как к тому, что реально грозит наказанием, так и к тому, о чем горячо мечтали и чего упорно добивались. Но то и другое осуществляется с силой, которую мобилизует только страстность ранних возбуждений, еще не способная ни на какие примиряющие разбирательства с практикой и логикой. Только в маленьком ребенке еще возможно то слияние действительности и фантазии, которое позднее снова испытает разве что прирожденный человек искусства, черпающий из этого источника для сновиденческой действительности своего произведения, или которое случается с больным, тонущим в этом слиянии.

Я вспоминаю прежнюю дискуссию между Вами и К. Г. Юнгом, где речь шла об (отмеченной в «Инфантильном неврозе») проблеме «первопереживания или фантазии» при первых сексуальных реминисценциях, и где я не могла отвязаться от мысли: речь идет не о том и не о другом, а об обстоятельстве, что оба взаимно способствуют друг другу, даже позволяют друг другу осуществиться. Только в ребенке в дополнение к этому остается еще достаточный пережиток от его «аутоэротического смешения», от слабости разграничения между реально принятым и нафантазированным; мир, окружающий ребенка как единственный близкий ему, столь интенсивно отдает себя этим двойным отсыланиям, как будто ребенок еще вбирает в себя совокупное значение неизвестного мирового целого; самый любимый из родителей так осыпан сновидениями, как позднее самый любимый человек лишь приблизительно может стать для нас безмерным воплощением неба и земли – с другой же стороны, он представляет собой саму реальность, несокращенную бросающуюся ребенку навстречу и врывающую его в себя. Только в испытанных разочарованиях внутренний процесс и внешнее происшествие постепенно начинают расходиться фактически, образуя между собой пропасть. Объект любви совершенно невозможно представить достаточно обращенным к сновидению и даже в достаточной мере отнесенным к реальному, чтобы вообразить это раннее осуществление жизненных разочарований, делающих нас потом такими умными. Таким образом когда-то, в таком рассвете сознания, переживается эдипов комплекс, превращается в тайно осуществившийся факт, и его

соскальзывание в абсолютно неосуществимое – хочется сказать: из ночной таинственности в день – должно быть отнесено к самым мощным воздействиям раннего времени на более позднее бытие в целом. Контраст того, что реализовано словно бы в безмолвии и во мраке ночи, и поставленности перед тем, что ярко освещается трезвостью дня, должен озадачивать ребенка, оставаясь невысказанным между родителями или воспитателями; поэтому он и продолжает быть «невысказанным», остается двойным миром, замалчивается, пока, оставшись безмолвным, не ускользнет от ребенка в успокаивающее «вытеснение», и это произойдет тем скорее, чем тщательнее родители вытесняли то, что сами когда-то проделали, как то, «о чем не говорят». За спиной каждого ребенка лежит тайна утаенного «прошлого», в котором не признаются самому себе как в чем-то, что позднее стараются забыть или пытаются отрицать перед самим собой. В этом событии проводится серьезное испытание на крепость здоровья: здесь все последующее зависит от того, смог ли человек позволить себе тайные исполнения счастья, первые любовные акции, решающее объятье с бытием, и возможны ли, несмотря на все это, вместо такой эфемерности, со временем переносы на «более соответствующие Я» приспособления к окружающему миру и другим людям или нет. Таким образом, здесь принимается решение о болезни и здоровье на всю жизнь, застревание в инфантильном вместо дальнейшего развития до человеческой зрелости или обретенная в инфантильном переживании способность выстоять все после дующее.

Однако и там, где человек избежал этой опасности, крушение его жаждущей всемогущества установки желания не происходит без того, чтобы в его душевный лик не была вписана черта безропотности, рожденного разумом смирения (примирения со своей человечностью!). Ведь именно это учит его понимать заболевшего, даже если в нем самом это означало только такой же след, заживший рубец, излечимое ранение. Если мы слишком редко, по крайней мере в прежнее время, замечали что-то из этого в детях, то это происходит именно из-за того, что маленькие дети преимущественно постижимы только телесно, душевно же еще нераскрыты, поэтому их боли и изначальные желания мы непроизвольно считаем безвредными, – в то время как взрослого нам много легче утрировать до демонического, хотя демонизм, еще действующий в человеке в процессе становления, уже пришел в нем к уподоблению практикологическому, т. е. то, что он переживает, является уже вторичным. Потому что то, что мы переживаем полностью сознательно, происходит уже будто бы у подножия древних гигантских формаций, в которые соединились

когда-то устремившиеся вперед огромные массы земли, пока их членение не превратилось в более близкий нам ландшафт предгорий и озер, лесов и дорог. Только тот, кто заблудился в непроходимости первичного, в древних оледенениях гор, еще знает об этом, – хотя и не может об этом рассказать. Но характер и вид освещения также и наш очеловеченный ландшафт еще полностью обретает от того гигантского, что уносится от нашего устремленного вверх взгляда в почти невидимое, расплываясь с бесплотностью похожих на сновидения плывущих облаков. Бытие, настроенное только на безобидную идиллику или полезную практику, – это самообман; до конца прожить в этом вторичное, сознательное для человека – уже означает пережить это перед лицом чего-то возвышающегося над ним, целиком и полностью объемлющего это.

То, что Вы говорите о двукратном начале сексуальности как о своеобразии, присущем человеческому роду, для меня тоже сюда относится. Прежняя сексуальная всесторонность, распространяющаяся от эрогенных зон в парциальных влечениях, спадает с притоком генитальности, в которой она затем собирается: будучи необходимой в своем служении только как «предваряющее удовольствие», как и примат гениталий со своей стороны тоже притязательно всплывает уже в ранних сенсациях (между этим встречающимся восхождением и нисхождением посредине образуется, пожалуй, та в сексуальном плане относительно «мертвая точка», которую Вы назвали временем латентности – своего рода сохранение пространства для развития человеческого Я и для воспитательных влияний культуры). Но и после этого наша эротическая человеческая порода остается отмеченной в обоих направлениях, они постоянно влияют друг на друга, уже постольку, поскольку мы и внутри нашей зрелости не можем стать полностью однополыми, т. к. рождены от двух родителей. Поэтому сильнее всего это бросается в глаза в области инверсии – гомоэротики, воспользуемся здесь выражением Ференци (вместо уже мерзко испохабленного слова «гомосексуальность»). Вы энергично подчеркиваете, что ее нельзя причислять к перверсиям, сворачиваниям от сексуальной цели, застрявшим в инфантильности, также что она может быть дана от природы соответствующим усилением компонента противоположного пола, как плотски, так и душевно, а также что ее нужно рассматривать как патологическую и как поддающуюся лечению в тех обстоятельствах, когда она характеризуется неврозом навязчивости – как колебание между мужественностью и женственностью со сверхкомпенсациями к ультраактивному и ультрапассивному. Однако, как мне кажется, и среди нас не

всегда в достаточной степени подчеркивается (наряду с акцентированием недостатков в обоих направлениях инверсии) то дополнительное позитивное, которое является преимуществом и перед более обычной гетеросексуальностью. Я имею в виду: в том, что в известной мере препятствует гомоэротику сделать последний шаг, чтобы унифицировать себя гетеросексуально, – в этом мешкании перед окончательной зрелостью, – он еще несет в себе нечто от главной эротической характеристики, которой обычно обладает только ранний эрос, но это нечто собрано и сохранено так, как этого еще не умеют отдельные ранние протекания инфантильной сексуальности. Пока он удерживает их вместе, они обретают своего рода зрелость, от которой ему снова пришлось бы отказаться, если бы он превратился в однополую «половину». Мне кажется, будто для гомоэротического, по крайней мере временами, в ранних сексуальных проявлениях словно отбрасывалась часть их самой инфантильной материальности (подобно тому как, согласно нашей трактовке, из них могут «сублимироваться» творческие или исследовательские или прочие эротико-духовные побуждения). Ведь в гомоэротических человеческих союзах часто отмечался особенный подъем, переизбыток мечтательности, эта – можно было бы даже сказать – захваченность неким третьим, объединяющим, совместно боготворимым, в чем оба впервые находят себя окончательно, словно в общей матери (пусть даже именно эта черта, несомненно, может вызывать особенное подозрение в неврозе навязчивости). К слову сказать, я полагаю, что это также характеризует подлинную сущность так называемой дружбы, касательно осуществимости которой между различными полами до старости с известной справедливостью выдвигались сомнения: также и она является таковой только в чем-то третьем, за чем оба друга закрепляют свою эротическую взволнованность (не важно на каком уровне, объединяющим посредником может быть как спортивное фанатство, так и Господь Бог). Таким образом, в дружескую привязанность легче всего попадает сверхличностно страстное и тем самым опять же в некоторой мере компонент, лишающий телесности. Гомоэротика схожим образом словно содержит в себе самой сверхсмысловой и бессмысленный элемент, не только в «сублимирующем» направлении вверх, т. е. через воспитание Я, а именно элементарно; где решающийся момент приписывается не этому элементу, где личная сексуальная привязанность вместо этого подражает тет-а-тету гетеросексуальной любви, насколько это возможно, там она поступается преимуществом, которое имеет перед нею – известной неординарностью переживания, основывающегося на

том, что в этом еще что-то от нераздробленной целости более инфантильного объединяется с теми более усиленными, способными к одухотворению устремлениями Я. Но одновременно, поскольку в этом раскрывается и особенная опасность, именно там, где тонкие позитивные преимущества «космогонического эроса» провозглашаются с наибольшим пониманием, должно быть сказано, в частности, что пустота мистической экзальтации едва ли не может не поколебать его. Тогда он как будто вообще не принадлежит никакому естественному сексуальному союзу, в то время как именно из инфантильно-всенаправленного существа он черпает свою самоотдачу развитию человечества, свою более объективную преданность ему. Его большая значимость для всей человеческой культуры (что также постоянно признается) тем самым обращается к избыточности, подозревающей культуру, не осознающей дух, к перепутыванию того, что в нем является инфантильно созидательным порывом, с его собственной человеческой зрелостью.

Было бы интересно поразмышлять, из-за чего и при гетеросексуальной любви в полном проявлении ее власти непроизвольно осуществляется сублимация влечения – в частности, вследствие идеализации ее объекта. Мне кажется, что это происходит потому, что собственная противоположнополовая сторона сущности, выдворенная из любовной игры, ускользает в просветленную томлением даль, в красоту недостижимого и наслаждается этой красивой эротикой и эротической красотой в проекции на партнера. Отчего, правда, разочарование, в реальной любовной борьбе с воображенным объектом, становится более неизбежным, чем для такого гомоэротика, который, выходя за рамки персонально объективированного, скажем так, возвращается в причину своей собственной сущности.

Для половины человечества, в частности, для женщин, в нормальном случае эти трудности решаются сами собой и по милости природы. Потому что ей, женщине, в материнстве дарится то, что одновременно включает в себя и мужскую роль ведущей, охраняющей. И это только тем сильнее выражено, что по сравнению с мужчиной женщина привязана к роли пассивного как биологически, так и душевно, только так специфически женское счастье может эротически полностью развернуться (ах, как благодатно то, что наконец и среди нас пробивается это понимание – понимание условий счастья вместо условий покорности судьбе женского пола). Мужская половина человечества нигде не поднимает сама себя из расщепленности надвое – желания быть большим, чем только половина; мужчина,

который, будучи полностью гетеросексуальным, делает последний шаг, окончательно прибегает к другому полу как дополняющему его, тем самым обрекает себя на мужскую односторонность, на конкуренцию между отдаванием себя семье и деловой, профессиональной, общечеловеческой самоотдачей. Только он остается закованным в противоположность самостоятельного развития Я и подсмеивающейся над ним эротической первичной тяги. Однако тем самым, конечно, только он также принимает на себя всю сложность парадоксальности человеческого; только он, от случая к случаю, с полным задействованием занимается решением нерешимой проблемы: «утверждение Я или требование любви». Вероятно, только он посмеяться над сегодняшними рецептами, в которых построение самых прекрасных браков и любовных союзов объясняется приправлением солью и острым перцем по собственному самостоятельному выбору; он хорошо знает, почему именно это как раз может отбить всяческий интерес к браку. Только мужчина и женщина, человеческая пара, устраивает полное испытание для любовного переживания, которое единственно уничтожает всякий последний «пафос дистанции», со всеми потрохами отдающий себя реальности партнерства – пара, в зачатии, с ответственностью и с немного безрассудной смелостью, дает нашему спорному бытию нового человечка.

Однако каким бы человек ни был или какой бы он ни сделал выбор, в колебаниях эротических судеб глубочайшее различение дано не только в каких-то методах бракосочетания с партнерским. Прежде мы должны вернуть себе себя вплоть до самого исконного, т. е. вернуться в изначальную, еще не имеющую предпосылок основную единицу плотско-душевных манер проявления в нас самих. Потому что только от эротического в любое время след ведет туда, или правильнее: только в эротическом мы в конечном счете остаемся там в любое время и, подобно упомянутым вначале манерам, только вытягиваем ложноножки, к «наружности» которых поэтому нельзя относиться абсолютно серьезно, зато внутренность которых не может свидетельствовать о тотальном отличии от внешнего. Только так в нас преодолевают себя противоположно направленные тенденции относящегося к плоти и к душе. Во всем остальном мы никогда не выбираемся из какой-то подчиненности или превосходства обоих, либо духовно позволяя себе плотские наслаждения, сохраняя терпимость к ним, либо наоборот, когда чувственная радость теснит и смущает нас в нашем «воодушевлении» как незаторможенная алчность. Только в оглупевшей чрезмерности эротического часа то и другое

сливается в одно пламя, обеспечивает глубину выдыхания, которая лишь изначально еще могла бы соответствовать нашей основной сущности; надорванные эросом до изначальной почвы, мы в избавлении бросаемся к партнерству и в любовных объятиях чествуем торжественный символ того, что в районе сознания может удерживаться только словно в обманчивом внешнем отражении, и из чего мы получаем опыт, как из сновидения.

И ради этого плотскость повсюду кружит в центре эротического, от его самых примитивных до самых пропитанных сознанием томлений – и даже тот, кто ищет для него непременно более «божественную» базу, должен с этим смиряться: потому что мы в любом случае не можем не подходить к плотскому и божественному повсюду одинаково.

IV

Эрос никогда не прекращается: где его страстные опрометчивые поступки не вздымаются высокими волнами, там его воздействие все-таки осуществляется в том, что скрепляет нас со всем в большом материнском чреве, и пуповина никогда не испытает самого последнего движения ножниц. За всем собственным развитием и Я-отграничением, как бы оно ни сдерживало и ни приглушало ее, нас постоянно трогает совокупная широта окружающего мира. Этот поразительный феномен можно переживать только потому, что в случаях, когда распадается любовный союз, не так уж и редко эта ослабевшая соединенность вызывает возрастание понимания к упущенному партнеру: им перестают злоупотреблять в эротической чрезмерности как простым транспарантом для любой просвечивающей восхитительности, а начинают более объективно, более вдумчиво отмечать его особенности – вне собственных специальных намерений и любовных притязаний к нему. Отсюда в известной степени может возникнуть обновленный вид почитания, то, что с готовностью вернет его в миры и широты, различаемые нами и тем самым, пожалуй, «снова поставит его в прежнее положение», однако одновременно в смысле предоставления на его усмотрение большей родины, чем только родина нашего индивидуально самого узкого окружения. Эта более общенаправленная область чувств, связывающая отдельных людей менее тесно и резко и тем безопаснее их объединяющая, в беспорядке притязаний на реальность наших влечений могла бы практически обрести значение последней райской лужайки, где даже агнец и лев еще оставляют немного

места друг для друга. Тому, что обычно титулуется привычной высокопарной фразой «общеечеловеколюбие», только в этом скромном месте, вероятно, мог бы причитаться какой-либо постижимый смысл, если в удобной абстракции «человечество» буйствуют не только наши самые личные смятения чувств. Потому что в близком соседстве с названной мирной лужайкой живет уже наше требовательное самоакцентирование и берет ее в единоличное обладание как свою основу: для своих перепутываний и мнимых переносов, которые остаются только тем субъективнее погруженными в себя, с чем большим пылом экзальтации они выходят.

Это наглядно демонстрируется на наших внечеловеческих отнесенностях, будь то отношение к животному, растению или даже к впечатлениям от предметов и ландшафтов, – которые уже сами по себе превращаются для нашего чувства в простые аллегории, чтобы тем свободнее от расстройств раствориться среди них в наших направленных на получение пользы и оправдание предрассудков целях. Этот простой «эстетический» побочный интерес нашей чувствительности перевешивает и при любви к растениям; даже существо, способное на удовольствие и боль часто находит сторонников именно среди людей хладнокровного склада (по высказыванию одной маленькой девочки): «у любителей животных, а не любителей людей». Потому что партнер-человек оказывается гораздо более притязательным объектом, он обходится нам далеко не так дешево, как существо, которое можно накормить крошками любовной пищи, и оно уже за одно это примет нас в свой непостижимо дополняющий и сказочный мир (что является настоящим большим событием в отношениях с любым животным). Именно это, эта ни с чем не смешанная простота так всецело захватывает наше чувство, в приближающем очертании сходства всего со всем, в то время как усложненности слишком человеческого вырывают его из простой радости за другого и сострадания, бросая в то слишком сложное, что чувствует себя окоченевшим из-за более мелких несхожестей человека с человеком. Поэтому (как ни неприятно это слышать, самому будучи «любителем животных») ничего не значит тот факт, что опасные преступники, сидя в тюремной камере, подкармливают от своей скудной хлебной пайки знаменитую крысу; и поэтому мало о чем говорит даже то, что описывает в одном из своих удивительных писем Роза Люксембург: как она испытывает страстную жалость к изъеденному муравьями майскому жуку (или не жуку, неважно). Ведь майский жук здесь получает безмерную выгоду от реактивной ненависти революционерки, и

легко заподозрить, что речь идет о настоящей невротической попытке возмещения, которой разные толстые майские жуки отомстили бы ей.

Но в целом дело складывается так, что в индивидуально отдаленных и внечеловеческих отнесенностях мы получаем необходимый покой, чтобы изживать их без ненависти. Ведь там, где наша индивидуальность видит себя загоняемой в любовную привязанность к другой индивидуальности, она тотчас вынуждена рисковать, вступая в борьбу за утверждение своего Я, причем с той же настойчивостью и радикальностью, с какими страстность и исключительность угрожают сохранению ее Я. Вынужденная взаимозависимость ненависти и любви, которую Вы всегда отмечали, проявляется уже при первом шаге, который мы делаем, выходя из известного благожелательного равнодушия, без преувеличения относящегося ко всему и даже к нам самим.

Абсолютно неправильно мы называем «ненавистью» то, что, каким бы брутальным, грубым или хладнокровным оно ни было, стремится к собственной пользе и преимуществу, однако не ведет к влеченческому столкновению с другим человеком, препятствующим в этом, – следовательно, не имеет сладострастного желания навредить ему. Ненависть, в смысле влечения, слепо следуя к цели, не просто опрокидывает встречающееся на пути препятствие, но и замирает возле него в жестоком наслаждении: только компонент сладострастия, спаянный с целью Я, позволяет распознать ненавидящего человека, которым иногда бывает любой из нас. Нам не так легко осознать свою ненависть, мы думаем, что нас охватило усилившееся неприятие, в то время как за этой сопряженной с Я деловой рационализацией разверзается жутчайшая бездна человеческих противоречий, – пусть даже видимая только словно через узкую темную щелку. Предметы своего неприятия люди предпочитают встречать корректно, даже вежливо, потому что так встреча быстрее заканчивается; жестокие терзания нелюбимого – всего лишь мучительны и задерживают цели Я: только эротически притягательное пробуждает жестокость, любовное влечение поглощается влечением к власти и перверсирует его в средство сладострастия. Такая сцепленность с другим человеком, – имеющая право существовать только в самом начале инфантильности, в неразличении Самости, – позднее может нанести подлинно жестокому человеку через сенсационное сопереживание причиненного им страдания такие раны, что он станет сверхчувствителен к любому чужому страданию. Здесь мы стоим на месте «реактивных» качеств, которые Вы с такой удивительной убедительностью раскрыли в человеке как

противоположность позитивно наработанному, т. е. «сублимированному». Реактивное потому остается столь неопровержимо близким патологически угрожаемому, что то, что инфантильно наносит в нем ответный удар – посреди уже достигнутых упорядоченностей прочего развития, – снова смешивает в кучу Я– и Ты-отнесенности.

Но как же в нас не будет такой неразберихи, если мы всю жизнь, с одной стороны, должны оставаться в самих себе и, с другой стороны, должны включать в себя все то, что окружает нас внешним миром, потому что оно состоит из того же материала, что и мы, и, следовательно, вся отделенность от него, как и все соединение с ним должны скрещиваться в вечном противоречии. Ведь это неразрывное связывание того и другого вошло в мир вместе с ребенком с самого первого дня его жизни; от разрозненности, в которую видит себя вброшенной его не имеющая желаний всесущность, человек практически сразу бросается в обе стороны, и «любя», и «ненавидя», в преувеличения того, что мы впредь будем называть его «душой». При первом шоке, с которым мы сталкиваемся при рождении, мы ныряем в страх перед экзистенцией другого человека, заставляющей нас самих терпеть убытки, падать из всего в ничто (Фрейд: «Страх рождения – прообраз любого более позднего страха») словно из жизни в смерть. Однако одновременно, с первыми изменившимися жизненными движениями, эта тяга обратно в материнскую темноту также должна становиться уже неизбежным побуждением к спасению изувеченного остатка, которым мы только еще являемся, побуждением не дать редуцировать его еще больше, так чтобы смерть и жизнь перепутались между собой. Смерть и жизнь встречаются в том, что Вы окрестили изначальной кастрацией, в чем уже выражается, что из этого изначального события вырывается желание остаться живым, навстречу которому оттеснялось наше созревшее для рождения тело. То и другое, выгода и утрата, с самого начала сливаются в этом до такой степени, что наши душевные порывы фактически могут означать лишь одно: в начале была амбивалентность.

Пробившись из бессознательного, ствол души, – словно от первого соприкосновения с внешним воздухом, – делится надвое: обе части – вторичное выражение того, что еще соединяется в глубине, недоступно человеческому зрению. Именно в этом внутреннем факте свернул с нашего пути А. Адлер: он относил эротические влечения к влечению к значимости, оспаривал полноту их прав, он использовал их, как цветы, срезаемые под корень, отделяемые от корней, для того чтобы легкой рукой расставлять их по различным вазам. Я поначалу была поражена,

когда недавно Ваша трактовка пары «любви и ненависти», преданности и агрессии, по крайней мере одной чертой стала отличаться от адлеровской меньше, чем прежде: тем, что Вы перестали принимать за исходную точку агрессивного компонента самоутверждающее обеспечение себя пространством снаружи, которое, если впустить его внутрь, превращается в насилие над нами самими, – пока постепенно не удастся самый душевно утонченный фокус, «обращение против собственной персоны». Теперь вместо этого влечение к агрессии у Вас имеет некоторую степень самостоятельности, не нуждающуюся сначала в усилении через внешнее притеснение, а поднимающую себя на высоту в своей собственной деструктивной тенденции. Вместо момента, в корне объединяющего оба направления влечения, влечение к власти, получающее удовольствие от деструкции, уходит от той общей последней мотивации, которая происходит из еще различного хотения быть всем и хотения все иметь (и которая до сих пор даже обращение против собственной персоны еще представляла допустимым в его раздражении из-за столкновения с собственными внутренними границами). Меня смущает то, как сложно все-таки понять ее, эту самовластность такого влечения к агрессии саму по себе, – ее едва ли можно проследить эмпирически и аналитически. (Я также вспоминаю работу Федерна, которому в его старании следовать за ней, чтобы ухватить влечение in nuce пришлось спуститься до психотического, туда, где психоз меланхолии – в своем тупом равнодушии, т. е. без удовольствия и немотивированно – ведет себя навязчиво деструктивно по отношению как к себе, так и к другим: но допустимо ли на основании психотического, которое как раз характеризуется наиболее полным разделением смеси наших влечений, сделать вывод о всезначимости такого рода заболевания и сцепленности, как если бы такая всезначимость, только более скрытая, лежала также и за нашей нормальностью, в которой влечения более соединены между собой?)

Как бы то ни было, вспоминая ранние годы нашего психоаналитического движения, я должна была согласиться: несмотря на гораздо меньшее подчеркивание тогда Вами обособившегося влечения к разрушению в сравнении с консервирующим влечением в нас, все мы когда-то все же стояли под угнетающим признанием его власти, поскольку чем больше удавалось раскопать человеческую душу, тем больше оно проявлялось. Противоположность дикой, полной ненависти необузданности к тому, к чему стремятся культура и социальность, при рассмотрении ее в обратном направлении казалась все более разительной, – но ведь нам было также

известно, что только «первородный грех» самой индивидуации придает этому такую кажущность, будто она просто делает невидимой для нашего глаза великую, покоящуюся над этим невинность, поскольку доступность человека анализу начинается только с ней, и что оба заклятых врага все же рождены из братства по крови. Не является ли, между прочим, это также разрешением разногласий в часто разворачивающейся сейчас среди нас дискуссии о крайностях: преступниках и святых? (Это действительно справедливо не только, как упоминаете Вы, для более близкого к крайностям русского типа.) Преступнику, если подразумевать под ним человека влечений, подвергающегося влиянию инфантильности (или даже фиксированного), нужно было бы лишь вернуться укороченным путем туда, где поза его Я еще была бы раскрепощена в столь лабильную для сознания, что не до конца относилась бы даже к нему самому, – а скорее относилась бы к тому, в чем святой отбрасывает себя назад, более «самоотверженно» выкидывает себя в то, что объемлет его вместе со всем остальным. Это немного сняло бы груз чудовищности, бесчеловечности с «преступника», а «святого» немного спустило бы со сверхчеловеческого на ровную землю, – то и другое лишь на немного, потому что контраст остается сильным. Окультуренный гражданин остается посредине между ними, сама его культура против таких насильственных шагов и интенсивного поведения; он тратит свою изначальную силу к необыкновенному в множестве более мелких шагов, спокойно продвигаясь вперед. Отсюда исконная «криминалистическая» сила примитивных народов и детей; увлекаемость более инфантильных людей позволяет им резкие преобразования и омоложения. То, что прорывается из еще более бессознательного с силой первого падения, после того как из бесконечных трещинок, мелких источников и подземных протечек соберется на близкое к сознанию место сбора, не может не вести себя столь безудержно, насколько позволяют ему новые преграды; насильственно избавившись от береговых плотин, оно лишь позднее по каплям все более плавно перетекает в какое-нибудь широкое зеркало моря.

Конечно, нужно строго разделять оба направления влечения внутри того, что поддается человеческому анализу, вне зависимости от того, насколько далеко их можно проследить. Однако с появлением суверенности, которую Вы в особенности приписываете влечению к деструкции, обратному ему влечению пришлось довольно много заплатить из своего кармана: оно уже не производит такого впечатления, как раньше, когда оба терялись перед нашим взглядом в выравнивании

бессознательного, но оно, чтобы стать видимым, должно в известной мере взобраться на плечи другому, оно кажется скорее севшим на шею более сильному влечению – воле к агрессии. Если воспользоваться мифологией (что нам приходится делать каждый раз, когда мы вообще обобщаем и предполагаем что-то относительно эмпирически данного), возникает следующая иллюстрация: первоначальное состояние и цель – это неорганическое, смертный покой всего того, что попутно, в протекании органического развития, к примеру, состоянием какой-либо нужды было принуждено идти окольной дорогой, проходящей между смертью и смертью, к мнимой живости, скажем так, к своего рода пляске смерти, которой служат эротические влечения. Таким образом снова достигается унифицирующий стиль: однако в сравнении с Вашим прежним, с полным правом подчеркивавшимся, психологическим дуализмом, два направления – как мне представляется – недолго остаются достаточно дуалистически разделенными. Сразу хочу добавить, что я не только ничего не имею против «направления к смерти» как такового, но, наоборот, считаю, что и оно в это недостаточно далеко вовлечено. В частности, исходя из логически постижимого, все, – следовательно, также и подбадривание к эротической мнимой живости, – просто «мертво», является только физическим, «материалистическим», механическим, дробящим и расчленяющим, постижимым для нашего рассудка, потому что только так наш рассудок может в этом разобраться, т. е. ориентиром для него служит путеводная нить его собственного метода. Все сверх этого, любая попытка хоть немного соответствовать «живому», несоразмерному, только загрязняет этот метод, ничего не оживляя, – она лишь убивает по-настоящему. Ведь из практики психоанализа нам уже известно, что механизированная, дробящая работа по раскопкам способна была только освободить то, что было «погребено заживо», но сделать с ним самим ничего не могла: самое верное, что тут можно сделать, – целиком и полностью остаться в этом дуалистом. Однако взглянем и с другой точки зрения: в переживании этого освобожденного нет никакого протекания смерти – только жизненная интенсивность для нас, схваченная нами через сходство с процессами нашего собственного переживания. При этом, антропоморфизируя, мы добавляем от себя не больше, чем убавляем от впечатлений при расчленяющей механике, чтобы втиснуть их в схему нашего сознания. Также и то, что мы называем «неорганическим», лишь намекает на это окончание нашей способности к сопровождению, т. е. в известной мере на доказательство нашей глупости, разменявшей свою

понятийную, великую и высокопродуктивную мудрость. Если нечто было увидено живым или мертвым, это означает лишь, что оно было увидено с точки зрения механизированного или психизированного для нас, и то и другое не может дуалистически в достаточной мере придерживаться своей собственной линии: пока мы, также и на линии психического впечатления, не придем к естественному окончанию нашей способности к сопровождению, аналогично тому, как это происходит относительно того, что наиболее чуждо нам, относительно «неорганического», – и обе линии для нас, людей, могут, пожалуй, протягиваться одинаково далеко.

Этим другим окончанием мы называем наше примыкание к бессознательному, распространяющемуся дальше, чем мы можем «знать»; а знать мы можем только одно, – поскольку это выдает нам психоаналитическая работа над живым, – что то, что вытеснено глубже всего, до уровня могилы, то, что погребено как самое отмершее, то, что больше всего исключено из сознания, как раз поэтому не может «умереть» и прекратить воздействовать, а представляет собой почти «навеки» консервированное; именно «мертвый» покой прочно удерживает его в «резервуаре жизни», если оно не может «вспыхнуть и быстро сгореть» (Фрейд) от осознания. Если для нас это проявляется узнаваемо «влеченчески», то разум и физические чувства причисляют это к жизни, и такое их поведение логично, как бы деструктивно ни выглядело содержание такого побуждения. Какое бы «умирающее» настроение ни было у кого-то, или как бы сильно ни нападали на бытующего человека с тыла его ненависть и гнев, или отдавание им себя внеземному сверхчувственному, – в любом случае, дающая о себе знать в этом часть аффекта нацеливается на живое удовлетворение (причем также в стороне от наполовину или полностью патологических смешений, так часто побуждающих к убийству наудачу – вплоть до самоубийства – посредством бессознательно симулированных исполнений желаний). Конечно, болезнь, изнеможение, усталость, разочарование, тоска принимают крайне «дружественный смерти» облик в том, что касается как физического состояния, так и психического поведения; только здесь в не меньшей степени заявляет о себе «удовольствие от чего-либо», самоудовлетворение, по меньшей мере в мирности как представлении о блаженстве; в конце концов и нирвана буддиста представляет собой только одобрение вследствие того обстоятельства, что она осуществила в себе самой все отрицания, – на чем покоится вообще большая часть радостно допускаемой готовности азиата к смерти в сравнении с

европейской неуверенностью перед смертью как насилием, совершаемым кем-то с косой в руке. Но и в западноевропейском человеке такое время от времени проявляется, когда рассказывают о восторгах, просветлениях во время агонии или до нее; возможно, иногда их слишком поспешно приписывают просто влияниям сильной набожности. Ведь на самом деле умирание не просто причиняется нам, мы сами им являемся: это мы психически осуществляем его на погибающем теле; мы не просто претерпеваем сопротивление этому, мы также не противоречим ему, не только являемся предметом распада упроченных связанностей в нас, но и воссоздаем то, что никогда не переставало окружать нас позади всего сознательного переживания, направленного прочь от этого.

Зато мне всегда казалось знаменательным, когда и в результате чего ребенок впервые начинает опасаться смерти. Чаще всего я замечала это в том повороте, который ребенок, еще играющий «всемогуществом мыслей», совершает, обращаясь к желанию «убрать», разрушить, уничтожить препятствие. Он как будто впервые вводит самого себя в мир в качестве смертного, когда вообще допускает, впускает смерть. С этих пор к нему приходит жуткость смерти, и сознание даже не может представить себе ее с достаточной силой. С созреванием личности этот угрожающий мистический скелет отступает обратно в прочее, не просто нарастив больше мяса, – он растворяется в нем как выражение этой самой жизни; это может даже усиливаться соразмерно телесной слабости, как если бы там, где ее уже недостаточно для полной четкости сознания, она ориентировалась бы во мраке всеобщей родины в менее заглушенном свете (если оставшиеся неулаженными вытеснения, теснящиеся потому обратно в сознание, не напугают ее подобно блуждающим огням – как, например, благочестивую мать Дюрера, который жаловался, что эту добрую, благородную женщину на смертном одре терзали жуткие пугала).

В зависимости от того, к какому резонансу переживания мы более склонны душевно, эхо от него звучит как «смерть» или как «жизнь»; в зависимости от этого мы используем слова, названия, преимущественно в негативном смысле понятийного внешнего рассмотрения или внутреннего события. (Лишь потому могло произойти так, что разработанные Вами влечения к смерти и к жизни почти одновременно получили обратное именование у двух столь одинаково мыслящих людей, как Ш. Ференци и А. Штэрке, у которых жизнь должна была функционировать как смерть, а смерть – как жизнь: при этом отпускающий Я, гасящий сознание момент эроса служил смертельной тенденции, а

направленное на Я, алчное до власти обособление отдельных людей друг от друга служило утверждению жизни.) Дело в том, что придумывание названий, которые, сверх заданного состояния, должны указывать нам на его совокупное значение, остается ни к чему не обязывающим; мы, даже будучи антифилософами, все равно рождены для философии, – т. е. для необходимости приводить рассмотренное понятийно и пережитое внутри к образному уравниванию, загоняющему мышление и чувствование друг в друга. Я вспоминаю наши вечерние беседы зимой 1912 года (верно переданные маленькой книжицей в красном кожаном переплете), в которых Вы и я – так задолго до Ваших сегодняшних формулировок – рассуждали на одну и ту же тему; в которых мы соглашались друг с другом, что и при одинаковой понятийной установке вещи (в не меньшей степени, чем, например, в искусстве) остаются vu a travers un temperament. Но уже тогда противники и полупротивники упрекали психоанализ в том, что он выступает как бы «адвокатом смерти», создает своего рода невротическую ситуацию, которую, по его утверждению, он как раз должен излечивать, – в частности, не соответствуя верящим, надеющимся предпосылкам, которые только и делают жизнь жизнью. Теперь это недопонимание наконец прояснилось. Зато на смену ему пришло другое (на основании Ваших более поздних сочинений, – хотя Вы отстаиваете в них все то же, что и раньше), а именно, смутная перспектива культуризации человеком влечений, при которой он должен умертвить себя, как бы при живой плоти, чтобы зажечь свет над хаосом влечений и научиться следовать «примату интеллекта». В частности, громкое «Браво!» раздалось из уст всех тех, кто прежде сердился на Вас за Ваши разоблачения влечений: человек оказался, по определению, «животным, приведенным к аскезе», и все «высшее в человеке» тем самым оказалось Вами признанным и спасенным.

В одном из Ваших последних сочинений упомянуто, что сначала Вы лишь для черновой попытки, так сказать, на пробу, подчеркнули суверенность влечений к смерти, и постепенно для Вас стало невозможным думать об этом по-другому. Теперь нам важно поразмыслить, почему так могло произойти: или правильнее – это стало очень важным для меня. Потому что я вижу, что в этом воздействует нечто совершенно иное, даже практически противоположность того, что видели люди, которые когда-то бранились на это, а сейчас кричат Вам за это «Браво!». И причем как раз потому, что я ощущаю увиденное a travers un temperament, непроизвольно философское, как в высшей степени личностное. То, из-за чего Вы, кажется, перешли на сторону смерти, для меня не является дружественностью к смерти, ни из-

за возраста, ни из-за какой либо усталости от жизни, напротив, это, как раньше, – категоричность Вашей солидарности со всей живой действительностью; она заключается в том, что ничто так не отталкивает Вас, как оптимистическое приукрашивание действительности, ее фальсификация бредовой желаемостью, как будто только такой она достойна нашего переживания. Только там, где мы имеем перед глазами ее саму, без симуляции и очковтирательства, действительность соединяется с нами в нечто большее, чем просто кажущееся переживание: в опыт, на котором могла бы прийти к воздействию ее и наша последняя изначальная общность, – каким бы неприступным это ни оставалось для противопоставления понятий реального и субъективного. Я по себе знаю опасность, что субъективная жизнерадостность непроизвольно врисует свой собственный портрет в противоположность фактических результатов; поэтому я уже писала или говорила Вам от себя: ничто не нравится мне больше, чем бежать на поводке, который держите Вы, – только это должен быть достаточно длинный поводок, – так, чтобы как только я где-нибудь заберусь слишком далеко в сторону, Вам нужно было бы только натянуть поводок, чтобы я оказалась рядом с Вами на одной с Вами земле. Потому что «рядом с Вами» для меня значит там, где, как я знаю, Вы всегда близки к самой глубине: рядом с тем, что лежит ближе всего.

V

В том, как абсолютно важно ограничиваться реально данным, фактически лежащим перед нами, меня убедила не только образцовость Вашей манеры работать, но и, шаг за шагом, психоаналитическая практика во время собственной работы. Потому что к самым сильным моим впечатлениям – никогда не устаревающим, всегда оживающим снова – относится то, что каждый раз весь психоанализ словно открывается заново, как будто он только становится событием, непосредственно пережитым в том, что наши субъективные добавления могли бы только умалить. Ядро того, что может стать для человека опытом, обнажается в точной, сдерживающей работе по удалению его обшивок, вместо них вновь надевается тонкая оболочка – чуждая, стирающая контуры, – при максимальном учитывании методики и техники, довольствующейся такой помощью, без высокомерного добавления от себя. Это постигается при размышлении о том, от чего кто-то заболел – от насильственной деятельности тех обшивок, которые преждевременно (как чересчур хорошее предохранение) нарастила ему власть взрослых и власть жизненных впечатлений и хотела спугнуть ими его внутренний мир обратно беспомощно в самого себя. Определение здоровья нельзя было бы перефразировать лучше, чем словами «природа не является ни ядром, ни оболочкой», или «что внутри, то и снаружи», – правда, совершенство интактности существует лишь в теоретических конструкциях, и нам, поистине, не нужно становиться невротиками и метаться из стороны в сторону для того, чтобы оказаться между снятием оболочки и вытаскиванием ядра, между опасностью ограждения от внешнего или выпадения в пустоту. Трудно представить, как иначе должны были бы вести себя имеющие влечения создания, одаренные сознательностью или обреченные быть сознательными (называйте, как хотите!), в происходящих с ними приключениях. Потому что у каждого, чем дальше, тем больше, изначальное инфантильное ожидание, еще путающее само себя с воплощением космоса, должно пережить разочарование, следовательно, прийти в искушение либо скрыть и вытеснить то полное ожиданий безмерное, либо отдаться ему вместо окружающей реальности.

Любой невроз содержит эту часть самообмана, этот слишком рано удавшийся фокус подложной ориентации, утраченную экономию прямого, самого короткого пути, принятое приглашение пойти, казалось бы, более надежными окольными

путями, уводящими все дальше в сторону. Любой невроз симулирует вожделенное соглашение внутреннего и окружающего мира, причем попеременно одно мнимо уступает место другому – освобождает место: обретают ли внутренние процессы такую консистентность, как если бы в них размещалась совокупная реальность, и за это все внешнее растворяется в призрачное ничто, или в превосходстве внешних процессов и их требований собственная сущностность видит себя беспомощно предоставленной страхам и сомнениям. Кто тут не вспомнит Ваше глубокое разъяснение «жуткого» как того, что выходит из вытеснений самого неблизкого нам, изначально самого интимного, и поэтому, как пугающе воздействующий revenant из положенного в гроб прошлого, должно призрачно скрывать то, что за ним стоят духи древнейших блаженств и ожиданий, от которых мы отказались. Именно жуткость распространяется для невротика на все переживание, пока эта смена места не выразится в головокружениях и заблуждениях, в которых «что внутри, то и снаружи» получило противоположный смысл. Потому что в умаления «здорового опыта реального», в трещины и пробелы, создающиеся в нем, тотчас втискиваются призрачные исправители пробелов, то рисуя поверхность там, где подстерегает кромешное ничто, то заставляя заподозрить последнюю путеводную нить, будто именно она ведет в непроходимое.

Оба наших больших вида невроза – еще заметные и различаемые во всех душевных заболеваниях – истерия и невроз навязчивости – по-братски делят двойную жуткость, которая походя может охватывать и здоровых людей и так искажает больного, что он уже не знает, не является ли она самой его экзистенцией. Мне всегда казалось, будто предрасположенность к истерии с ошеломляющей непосредственностью примыкает к уверенности желания изначальных ожиданий (т. е. к их еще несломленной природной силе), как если бы они претворились в жизнь и нужно было бы только противопоставить это отрицающей реальности как fait accomplit (ведь и истерическая симптоматика представляет собой позитивное исполнение желаний, пусть даже и вынужденное в силу превращения в нечто негативное, в то, от чего защищаются). Поэтому истерия является словно своего рода действительностью, которую добились своим упорством, которая утверждается постоянным повторением по любому поводу, как если бы каждый содержал в себе снова и снова доказательство совершившегося, – и одновременно это внутреннее утверждение становится возможным через игнорирование реальности, через такое тотальное ограждение от реальных осуществлений, как

если бы их вовсе не существовало; из-за чего они, при сильнейшем высвобождении страха, могут восприниматься только как смерть и ужас, как нечто, совершенно не относящееся к жизни. Отсюда кажущееся отсутствие чувств вины, часто в воспоминаниях открывающихся только уже выздоравливающему человеку (когда им присущ уже более интересный, а не подавляющий материал). Поэтому так часто предпочтение, беспечно оказываемое преступникам, у которых это получилось, разбойникам и ворам, имевшим успех, а также вообще мечтательные идеализации, от которых не уходит даже самое несоединимое, и которые, следовательно, также без труда сцепляют воедино мужественное с женственным, или то, что ощущается как эфирное, с грубосексуальным. Поэтому вспышка истерии тем тотальнее овладевает плотскостью, что в этой части реального, единственно оставшейся у нее, она только и может обмануться своим иллюзионизмом, причем конкретно на телесной зрелости, – для которой из-за этого использование более инфантильных применений сексуального остается лишь вынужденными заменами, поскольку вне этого истеричный человек больше не продвигается в партнерское. Отсюда и соседство истерии страха и конверсионной истерии: переносимость возбуждений страха, зажатости в самом себе, на телесные процессы, так что вся безнадежная ситуация замещающе передается параличам, болям, судорогам и т. д. – превращается в душевно-несведущее. Понятно, что в громких разрядках, плотских способах выражения, из человека также охотно выходит и истерия страха – в том «катарсисе», который Вы когда-то подчеркивали как неизбежный, и появление которого я наблюдала в двух случаях, с почти психотически шумными прорывами влечений. Это остро убеждающее в решающем «сдвиге выздоровления», как можно было бы сказать, выявляет полноценность, неубавленность силы истерической иллюзии с такой же полнотой, с какой делает это и исходный пункт самого заболевания, так что мы мним, будто чувствуем, как близко заболевание граничит с от рождения данной богатому конфликтами человечеству жизненной уверенностью, подкрепленной природными силами. Расположенные в тесном соседстве, как выражение нормального и выражение патологического, они резко переходят друг в друга там, где невроз сваливает человека с ног, – а там, где невроз пережил лишь временную удачу, они опять же избегают друг друга, выбирая различные направления.

То, что именуется нами неврозом навязчивости, даже там, где он только еще спорадически начинает появляться, соответственно этому гораздо сложнее представить себе быстро устраненным,

поскольку он менее включен в изначальную нормальность или, скажем, тварность, в только-только ставшую сознательной человечность. Человек в нем словно продвинулся дальше, но от этого его невроз еще усугубился, несмотря на то, что человек не повторяет худшее осуществление истерии – глубину вытеснения до первоначальной неразличимости реального и иллюзионного, галлюцинаторного. Меньшая глубина вытеснения, хотя и оставляющая пространство для разбирательств с реальностью, имеет беду, несчастье, заключающееся в том, что эти разбирательства не могут до конца убедить ни одну, ни другую сторону. Характер желания у влечений сохраняется, несмотря на приспособление к власти и авторитету внешних требований, но остается сомнительным; между ощущаемым подчинением и защитой от него, которой желают влечения, сохраняется противоположность, которая должна была бы заново выравниваться каждый миг, чтобы обеспечить то, что дало бы нормальному человеку такого склада веское преимущество перед большей единостью тварного. Опасностью, также и внутри нормальности, является колебание, качание туда-сюда от тенденций завышенной самооценки к опасениям неполноценности, от активного к пассивному – что, по отношению к угрожающей жизненной действительности, слишком естественно для требования нашего влечения, но одновременно также является чем-то, что в самом здоровом человеке может стать раздражителем, трением великолепной взаимовыручки. На это, как мне кажется, мог бы ответить вопрос о том, насколько было возможно исключить чувства вины. Истерик избавляется от них тем, что ограждает себя от любых воспоминаний о действительности; однако в другом человеческом типе, как будто лучше развитом, эти чувства коренятся уже вследствие одного лишь основополагающего факта, с осознанием которого перед нами встает реально противостоящий нам мир: что eo ipso с нашими желаниями влечений поступают несправедливо. Мы стараемся оттеснить их обратно и усмирить, из-за чего они лишь получают менее развернутое, тем более жуткое бытие, или же мы избавляемся от них ради тем более абстинентного послушания, против которого наше возмущенное удовольствие от агрессии остро протестует и окончательно разделяет нас с нашей влеченческой человечностью надвое. Тут остается только компромисс «и того, и другого», чтобы избежать полного признания сложностей и решений, также и там, где еще не обязателен компромисс в невротическом смысле, в частности, такой, который ставит на место сознающего реальность решения опосредующую конструкцию, нечто среднее,

которое, невзирая на сменяющиеся реальные случаи, приводит само себя к вечному повторению. Из этого, несмотря на плавность линии перехода, получается «уже болезнь» или «еще здоровье», получается в том пункте, из которого невроз навязчивости обрел свое название: там, где в качестве третейского судьи для двух колебаний было сконструировано навязчивое посредничество. Осуществление этого механизма для меня объясняется тем, что болезненное сомнение уже само по себе было навязчивым – точной противоположностью разумного, целесообразно направленного размышления перед принятием решения – и поэтому все более и более обострялось до навязчивой идеи. В малом масштабе уже у детей известно своего рода суеверие, согласно которому сомнительные случаи предпочтительнее всего решаются случайностью, пророческими знаками, выбором камня на мостовой при ходьбе, числовыми определениями, вопросом «в какой руке» и т. д.; отсюда оставшиеся суеверными взрослые приходят к навязчивым представлениям о внеземной помощи. Внеземное здесь представляет собой болезненную суть этого, потому что сомнение не может получить помощи ни из реальности, ни из собственной решительности, ни извне, ни изнутри, только из ниоткуда, т. е. из того, что находится выше того и другого, по ту сторону того, что в человеческих силах. Такое вырывание из сомнительного положения, конечно, само может произойти только навязчиво мертвым, бессмысленно-сверхсмысловым способом, словно недоступно опыту, недоступно переживанию: поэтому известные, устоявшиеся церемониалы, до мелочей повторяемые в неизменном виде, собственно, никак нельзя перешагнуть – это выразилось бы в катастрофическом уничтожении всего мира, а также человека, совершившего такое злодейство, и всего, что для него свято; потому что на кону стоит уже не просто запретное, но навязчивость как навязчивая вера.

Совпадение невроза навязчивости и религии Вы, к резкому недовольству многих, подробно разобрали еще до того, как в «Тотеме и табу» проследили церемониал веры и «магические» обычаи в поведении примитивных народов. Что касается истерии, людям было уже привычнее приписывать ее экзальтациям всяческое сходство с состояниями, вызванными религией. На самом деле большая часть того, что обычно называют религией, в необычайной широте и глубине занимает место посредине между болезнью и человеческой нормальностью: только там она могла бы быть исследована на своей собственной почве, поскольку только там можно увидеть, что в нормальном случае мы с рождения имеем нечто, религиозно способное перерасти в болезненное, и что, с другой стороны, в нем и тогда еще

содержится часть нашей человеческой нормальности – и именно поэтому в принципе остается излечимым. В религиозном плане разочарованиям, – т. е. влечениям в нас, с напрасной силой желания стремящимся к исполнению, – в некоторых обстоятельствах удается, без опасных частных усилений до невроза, помочь себе просто через принятие самой большой мечты за истину: если эту мнимую истину считают достаточно общезначимой, и если это опять же достаточно гарантировано ее протяжением до доисторических времен, когда менее четкое разделение воспринятого внутри и снаружи еще могло быть более общим. Мне кажется несомненным, что благодаря такому удобному повороту некоторые неврозы не состоятся; кроме того, нам стало ясно (в трудах, поводом к которым стала книга «Тотем и табу», появлению которых способствовали Г. Рохейм и др.), что состояния, известные нам сегодня только как болезненные, некогда были выражениями нормального общего расположения духа. Так, конечно, нередко толпа товарищей по вере снимает с сегодняшнего невротически диспонированного человека груз угрожающей патологической изоляции, в которую его забросило бы его личное творение бреда; тем самым исправленный и приукрашенный бредом мир для него действительно существует, и ему не нужно прятаться в тесный уголок, чтобы уйти от насильственно прорывающейся реальности; вместо этого он находится как бы в некоем заповеднике, где хищники еще ведут себя приветливо, – как бы близко к этому защищенному домену ни подступала местами самая жуткая глушь. В этом отношении можно было бы пропагандировать эту веру, если бы обратная сторона ее не казалась тем сомнительней. Потому что точно так же, как вытеснительский подход с целью перекрашивания реальных ужасов в розовый цвет мстит сбивающей с толку жутью, так этот фальсифицирующий подход – даже удостоверенный со всех сторон – мстит остатку невовлеченной реальности: обесцвечивая то, что в ней само по себе могло бы быть достойным жизни и любви. С любой клеветой на земное рождается дьявольское, любой небесный свет отбрасывает резкие тени преисподней, потому что, без этого, божественное выделялось бы неубедительно, превратилось бы в не имеющего тени Бога-неудачника, выдало бы первичную природу того, во что верят. Ведь сатанизация и обожествление всегда зависели друг от друга; божества обогащаются в результате добровольного человеческого обеднения, и только божественная милостыня делает это обеднение тотальным, фальсифицирует его в, скажем так, наступившее по закону природы. Нет права на блаженство без этой латентной трагедии, и нет воскрешений в вере без часов,

проведенных на кресте.

Положение вещей, в любом случае, оказывается немного разным, в зависимости от того, какие человеческие диспозиции при этом имеются в виду: склонные более к истерической конституции или к конституции невроза навязчивости. Для одного человека здесь нет ничего трагичного – для того, кто примкнул к вере только потому, что она была близка ему в силу позиции времени или воспитательных влияний, и для его оптимизма было естественным изначально предпочитать верить в самые приятные истины. Поэтому для него также естественно просто присесть отдохнуть в этом удобном кресле, и из таких «оставшихся сидеть», возможно, состоит численно самая большая община верующих во всем мире, потому что в любом бедствии они особенно сознают свою принадлежность и по своей природе охотно и легко поднимаются на значительную чувственную высоту, даже не подозревая ни о какой истерии. Подоплека остается банальной: своего рода ненамеренное злоупотребление тем, что другие силой собственной веры укрепили для всех и сделали удобным в обращении. От такого похода в магазин, когда не слишком дорого приобретается подушечка-думка или костыль, – от такой радостной банальности с сохраняющимся румянцем здоровья очень далек другой вид блаженства в вере. Ибо к нему относятся те, кто в сообществе принимающих на веру, пожалуй, преимущественно были творцами. Бог, его благодеяния и его помощь возникают только через рвение, с ним бог возвышается, украшается, прославляется, подобно тому, как невзрачная икона из жести или латуни становится внушительной благодаря своему золотому окладу или драгоценным камням в ее обрамлении. Тот, кто таким образом становится творцом своего творца, кто таким образом дает волю своей душевной производящей силе, через свою веру получает нечто более существенное, чем то, что могло быть обеспечено ему всем практическим внемлением молитвам: расщепление надвое в нем – напор влечений, аскетическое тщеславное желание совладать с ними – творчески замыкается, причем в самом производственном процессе, в самом обстоятельстве, что таковой стал возможным и смог объединить. Строго говоря, в религиозный мир вхожи только люди такого склада. Правда, о них нельзя просто сказать: наши желания подстраиваются под их Бога, каким они хотят его видеть; и здесь абсолютной сутью является глубина бессознательности, которая становится возможной, словно только через впечатление от бога, через человека. Сам себя он раскроет только в этом обратном воздействии божественности на него; данное человеку расщепление надвое творческой уверенности и прогрессирующей

тяги во все более сознательное в таких душах переживает свое преодоление в бессознательном акте, который именно в силу творческих одаренностей человека превращает его в принимающего.

Однако это лишь одна половина. Есть еще нечто потрясающее, причем именно эта единственно незлоупотребленная, абсолютно осуществленная вера годится только для человека сомнения. Это значит: то, что, веруя, подчиняет его собственнотворческому как порожденному бессознательно, должно оставаться немного искусственно выведенным из близи сознания, несмотря на то, что оно нашло для нее слово и форму одинаково с сознательно критикуемыми объектами; иначе – например, вместо воодушевления человека искусства произведением и творением произведения – верх одержало бы ужасное подозрение об истинном положении дел. Ведь в окружении всех представлений в совокупности образом может служить только земное, ведь Бога можно представлять только как своего рода соседа-великана из фантастического или реального бытия, как безмерно раздутое «повторение», также и в душе принятое только через самые ее человеческие состояния; все, что приписывают Богу, имеет свое повторение на земле: как просфора из пекарни, вино святого причастия, отжатое из земного винограда, откровение как издевательская дьявольская игра – так что это может ощущаться как обида, нанесенная Богу, возможное перепутывание, подмена его чем-то земным, человечным. Все прочие сомнения, какие могут возникнуть в смешанном обществе так называемых религиозных людей, даже еще по-доброму обеспокоенный душевный страх за излечение, выглядят маленькими и незначительными рядом с грандиозностью одного этого по-настоящему великого сомнения: подозрения, что променяв Бога, обидно предав его земному, вместо него мы обнимаем его противника. Потому что такое сомнение – и есть сама вера; вера – это только то, что нежно обволакивает это сомнение, а именно: сознавание, что такого мига, когда можно было бы вызвать Бога (когда он должен был бы предстать перед нами, словно человек), когда Бог должен был бы присутствовать, как какая-нибудь не вездесущая вещь, – что такого случая и мига быть не может. Сознавание того, что богослужение уже является обозначением для той дыры, для пробела в благочестии, в которой уже живет утрата и лишение, нужда в Боге из-за необладания им, в то время как, подытожим, Бог мог бы быть Богом лишь там, где в нем не «нуждаются»; сознавание, что то, что захотело бы им воспользоваться, было бы уже не «Богом», а чем-то, на что показывают пальцем, чтобы как-

либо сделать его видимым, приводя тем самым к земной путанице. Так религия в своем свойстве облегчать жизнь, если к ней относятся со всей серьезностью, выдвигает самое необычайное притязание к человеку притязание, которое только возрастает с каждым подношением, которым человек одаривает Бога, и тем не мене заставляет забыть за этим жизненные нужды. Для благочестивого человека, готового к откровению, Бог постоянно шьет свою шапку-невидимку, чтобы оставаться, не показываясь, сокрытым, и лишь именно благодаря этому бытийствуя. Все, что бы тут ни происходило, является глубочайшим переживанием, возможно, в самой первооснове, у пропасти человеческой души, но по-прежнему на краю здоровья: вера как близость к сомнению, обладание как близость к прощанию, и тем самым одновременно бессознательно преодоленное бредовое. Никогда ничто подобное не смогла бы умалить просветительская ясность, «бред» не смогла бы умалить «истина» в понятийном смысле. То, что там происходит, настолько является результатом самого небанального в нас, людях, что при виде этого мы непроизвольно в молчании согласились бы с утверждением одного древнего Отца Церкви: Nemo contra Deum nisi Deus ipse.

VI

Несмотря на то, что для меня проблема «набожного человека» относится к моим очень давним, почти пожизненным интересам, а Вы практически всегда отзываетесь о ней с неодобрением, в исследовательской точке зрения на нее мы все-таки абсолютно единодушны (как Вы лишь недавно написали: «единодушны, как в старые времена»). Но мне кажется, что порой я все же слышу Ваши недоверчивые размышления: не касается ли это совпадение мнений преимущественно только «религии обыкновенного человека», той, с которой так радикально расправляется Ваше сочинение «Будущее одной иллюзии»? Ведь и в нашем собственном лагере раздавались голоса, предостерегавшие не заходить так далеко, т. е. не ставить грубые проекции желаний в божественное на одну доску с его «одуховлениями», – ах, нет – даже «онауковлениями», с философскими и этическими преображениями религиозных содержаний. Но обо мне Вам хорошо известно, что едва ли что-то противно мне более, чем переоблачать Боженьку из его ставшего привычным домашнего одеяния в более пригодную для выхода в свет одежду, в которой его можно было бы представить и важным персонам. Это весьма

глупое занятие, поскольку все набожное приходит к нам не по милости наших самых просвещенных воззрений, а каждый раз только по власти наших самых инфантильных взглядов; поскольку самый грубый фетиш утверждает для себя почетное место рядом со всей эзотерикой развития истории религии (или ее запутывания), которая, все более рафинированно ставя Бога в один ряд с нашими, все более приспосабливаемыми к цели понятийностями, тем безнадежнее путает его с нами самими.

Поэтому вызывает сожаление то, что самые свободомыслящие из теологических направлений – и с недавних пор также снова модернистско-философские – застревают именно на этом пункте. В то время как Боженька угрожает ускользнуть от них, уже не сохраняет больше отчетливого присутствия, – поскольку он не может ни наивно заключить пакт с земным, ни в грубой действительности повторить земное в потустороннем, – он блуждает туда и сюда в поисках субстанции между отрекающимися от Бога иллюзионистами и принятием за истину, отрекающимся от главенства разума. Пока ему не приходится принять решение остаться в пути, а именно: сделать обратное тому, что Вы ему предлагаете, когда даете ему иллюзию, но отнимаете будущее; он отклоняет то, что он просто иллюзия, потому что он является если и не настоящим Богом, то Богом будущим. Этот становящийся, лишь постепенно оформляющийся Бог, ожидающий от человеческого разума того, что тот до сих пор как раз принимал от него, модернизировал в себе многое от старейшего Гегеля – когда-нибудь он должен стать действительным, поскольку обладает таким высоким разумом, каким в воображении наделяет себя человеческий род. Сила воображения, составляющая предпосылку любой веры, здесь в необычайно лестном раздутии была перекинута обратно на человеческий род: все, что только может так глубоко бессознательно происходить в подлинном процессе веры, неизбежная антропоморфизация, поднято здесь в приятную светлость сознания, поставлено перед приятно улыбающимся навстречу автопортретом. Таким образом, и сущностный смысл набожности оборачивается в свою противоположность: покойное пребывание в чем-то, что заключает нас в свои объятия, какими бы мы ни были, маленькими или большими, укрепленными в нашей бодрствующей Я-йности или надломленными, преобразуется в стремительную поступь во всем самодовольстве, – ведь нуждается же Бог для своего существования в нашем величии, следовательно, если уж не существует Бога, то как раз это величие существует. Постоянное подчеркивание того, как героически и грандиозно мы должны

жить для становления Бога, только еще более отчетливо показывает, что при этом компромиссе между верой и мышлением мы все время удаляемся от исходной точки всякой набожности: от заглядывания внутрь самих себя, которое превращается в насильственное поднимание глаз на самих себя и тем самым – пусть даже это последнее не осознается индивидом – выдает его самый сокровенный мотив, выдав себя уже в знаменитом восклицании Ницше: «Если бы Бог существовал, как бы свыкся я с мыслью, что я не Бог!». Однако названное направление является лишь отзвуком этого вопля, потому что насколько более глубоким, оттого что настолько глубже признанным, было то, что лишало мысли Ницше покоя: мученичество его вечного поиска замены Богу. В Ницше обнажается истина: сегодняшний или вчерашний человек, переданный его проницательно-сознательной понятийности, лишь постепенно начинает понимать, что он делал, когда «убивал Бога», он едва ли чувствует «трупный запах» этого и еще не стал способным на свое деяние. Ницше, как и во всем, сделал максималистский душевный вывод: он презрел, заклеймил этого фиксированного на отце и поэтому ставшего отцеубийцей человека, а с ним всю человеческую слабость (свою слабость, как если бы он принял всю ее на себя). Это вторглось и в выводы его философии, привело их к единственному пункту, где он из психологически направленного афоризма создает учение, а именно к пророческой мысли о возвращении. Ведь что он этим сделал? Он пересиливает тяжелейшую человеческую судьбу (свою судьбу) единственно возможной еще более тяжелой судьбой: в которой тяжелое, так никогда и не будучи преодоленным, вечно возвращается снова. Он был тем самым, кто словно декретировал это, кто хотел тем самым наложить руку «на тысячелетия», как «на воск», – потому что не должен ли был тот, кто так поступает, кто вынашивает такие мысли и закаляет их, быть сверхчеловеком? Здесь нужда, от которой решаются на это тяжелейшее деяние, подбрасывает ввысь к такому головокружительному высокомерию, что измерить эту нужду можно было бы только Богом, – с ней мы являемся Богом. Оправдавшим себя как господин, оправдавшим себя в отринутом, разгромленном, напрасно ищущем помощи человеке, которым мы точно так же являемся. (Уже в поношении христианства у Ницше проявляется его ужасающееся знание об этом беспомощном попрошайке, подобно тому как в «белокурой бестии», которой он поклоняется, проявляется его зависть к умению в безопасности влечений обходиться без Бога, без неимоверно затратных поисков Бога, которые в конечном счете должны проповедовать ничто,

чтобы это ничто перекричать.) Стать «создателем Бога», заплатив более низкую цену, – невозможно; и поэтому пропаганда таких амбиций гибельна.

Чудесно в этом следующее: то самое, что в таких великих людях через величие их откровенности гениально возвещает о внутреннем мире человека, что раскрывает эти тайны бессознательного переживания, то также уже говорит, мечтает и осязает с доисторического времени до наших дней в высказываниях простаков, когда они обращаются к своему Богу. Наивность, непосредственность, с которой они преподносят Богу свои желания и чаяния, делает их красноречивее, чем они есть, что едва ли случается с ними в других обстоятельствах, разве только в действительном сновидении. Те же образования из глубин, если они сформированы у «образованных» людей в поздние времена из повышенного сознания, застревают где-то по пути, на глубине между гениальностью и инфантильностью, и если их злейшие противоречия даже перед более сознательной «проверкой реальности» кажутся смягченными, приглаженными, то от противоречий их содержимого остается лишь след. Поэтому наша психоаналитическая манера исследования абсолютно правомерно продолжает черпать материал, словно из бьющего источника, из религиозного опыта и изображений религии как в жизни древних народов, так и в жизни отдельного человека (в первую очередь здесь нужно назвать «Бога собственного и чужого» Т. Райка, а также его труды о кощунстве), и эта работа психоанализа еще далеко не завершена. В «диалоге с божеством», как это можно было бы назвать, перед нами, как в книжке с картинками, неретушированно открываются только первая и последняя страница человеческой желаемости, и мы, наблюдатели, с трепетом воспоминания, думаем, что снова узнали то, что в нашем собственном раннем времени некогда точно так же беззлобно предательски выражало нашу душу: резко и просто, как предметы на детских рисунках, картина желания нашего внутреннего мира обнажена, мельчайшие детали имеют гигантские размеры, большое стало ничтожным, все наслоено друг на друга без какого-либо соблюдения перспективы, чтобы быть в одинаковой близости к сердцу отца, к выслушивающему уху, и все избавлено от препятствующего стыда, санкционировано и ускользает от моралистического размышления. В такой манере говорить с Богом иногда еще отчетливо проявляется проекция Бога как наивно-непроизвольный рефлекс из уверенности ребенка в излечении – из тварной уверенности, которая относится к своему тут-бытию с одобрением веры; сотню раз разочаровавшись и получив опровержения всяческими бедствиями, любая тварь все

же остается как дома там, где мы своим чересчур сознательным противопоставлением мира и Я оказываемся сбиты с толку. Если спросить о последнем пункте, из которого мы выводим нашу аналогичную изначальную уверенность человечества, то он точно так же заключается в том, что мы сотворены Богом и рождены матерью и тем самым, неразличимо, принимаем мир как самого себя, чтобы затем, из этой идентификации себя с ним, «любя», преодолевать все более ощутимые дистанции.

Представление о Боге также целиком и полностью представляет собой такую эротическую проекцию. В любимых родителях мы лишь потому видим такую громадную меру власти и доброты, что мы приходим в мир еще не отделенными от них: только поэтому их, как предшественников Бога, который впоследствии должен их заменить, мы любим с таким обожанием. Обожание – это не что иное, как покрывающее воспоминание из той темноты, в которую ускользнули наши изначальные впечатления, прежде чем мы постепенно научились все более четко разделять Я и мир. Поэтому с давних пор обожание выпадало на долю самого любимого, и даже после резкого опьянения органов чувств тайно становилось его ядром как его основное душевное содержание. Ведь подобно тому, как только наше рождение, будучи телесным фактом, делает нас нами самими, так в плотском в нас сохраняется только тот самый изначальный факт, исходя из которого, мы, любя, приходим к «ты», проходя вдоль наиболее равного человеку к последнему космическому обрамлению. Примечательно то, как сильно любое представление о Боге противится тому, чтобы быть понятым совершенно абстрактно, потому что тем самым оно якобы выскользнуло бы из эротического, – только потому, что это эротическое приводит его к осязаемости на плотскости его первозданности. Неслучайно часто как раз самые набожные среди людей ссылались на глубину соединения религии и половости. Несмотря на ужасное осуждение такого родства; несмотря на то, что между тем и другим стоит взаимная вражда, сладострастие все же не содержит ни просто загрязняющего добавления к религиозному, ни даже простой примитивности трактовки, оно скорее слишком глубоко, и навсегда зависимо друг от друга, сплетает молитву и пол. Ведь это связано с тем, что именно экзальтации, в своей чувственной силе наиболее мощно взрывающие нашу сознательную рассудочность, нигде больше не могут разгрузиться, кроме как за границей с телесным. Только там, где мы не превышаем среднюю меру аффективности, это включается в систему, которая аккуратно отделяет друг от друга духовные впечатления, душевные охваченности; иначе тело

принимает в себя слишком многое, любезно предоставляемое ему, в тех двойных переживаниях, что известны нам из полового, где плотское и душевное движение встречаются. Следовательно, именно там, где мы мним себя «избавившимися от плоти», в нашем выхождении из Самости, нас встречает беззлобное чистосердечие нашей плотскости, теплое единство того и другого, и дает нам в себе еще целый кусок пространства. От этого представления духовного рода оказываются менее всего рассексуализированными, однако лишь потому, что и сексуальность сочится из большей глубины, а не из тонких отдельных ручейков того, что из этого может стать для нас сознательным. Тогда лишаются смысла слова «вверху» и «внизу», то же касается высокого и низкого, одно всегда одновременно становится корнем другого; поднимаемся мы или падаем, испытываем обожание или сладострастие, в абсолютно законном переживании это является спорным только для внешнего наблюдателя, имеющего установку на различение как на единственный сознательно возможный расчет, вместо понимания: все бежит по кругу.

Фактически мы никогда не выходим из взаимосвязи одного с другим, и потому это «известно» нам наряду со всеми нашими сознательными различиями. Чистосердечное заступничество друг за друга, идентификация одного с другим, как это в один долгий миг бывает слишком свойственно живому существу, ребенку, началу человеческого рода, делает истиной слова Новалиса: первый человек был первым духовидцем, – а именно существом, храбро не верящим в простую различность внешнего и опыта, обретаемого на этом внешнем. Лишь постепенно обостренная сознательность разрывает это на две части: идентификация отступает за вынужденное прибегание к символическому образу. («Символ» в смысле нашей психоаналитической трактовки, для которой это означает: сделать угодившее в вытеснение воспоминание презентативным с помощью дополнительной части, в которой старается стать заметной значимость этого воспоминания.) Таким непрямым путем у человека (аналогично тому, как это происходит по патологическим причинам у вытесняющего и у больного, у которого на место «символа» мы ставим «симптом») по-прежнему сохраняется единство сознательной и бессознательно агирующей жизни; ему по-прежнему на более узкой полосе нейтральной почвы встречаются два разных опыта, как бы чуждо или враждебно они ни вели себя в другое время друг перед другом. Тут хотелось бы упомянуть Ференци, который (как всегда) глубже всех зрит в корень, когда говорит, что при образовании символа мы получаем радость не

только от того, что «ставим на одну доску сбережение интеллектуальных затрат» (т. е. не только преимущество экономии силы, как, например, при Вашей технике остроумия, но и), «возможно, за этим стоит особое удовольствие от узнавания… Тенденция узнавать ставшее милым во всех вещах внешнего мира, вероятно, также является источником образования символов». Мы уже давно не считаем (как это еще делает М. Пеллетье у Юнга), что «le symbole nest quune forme tres inferieure de la pensee» – мы, скажем так, признаем за ним его собственную логику, что лучше всего сформулировал швед И. Линдквист хотя предложение «А. не есть non-А.» в аллегорическом утрачивает свою логическую законность, к нему все же следует относиться только серьезно уже потому лишь, что многочисленные сходства между многими А. наказали бы его за ложь.

Пока символ является совершенно непосредственным последователем сохранившихся в нем в известной степени идентификаций, еще едва ли можно говорить о религии, она тут чересчур сильно привязана к предшествующей ей форме, к магии, которая в ритуалах и обычаях видит осуществленным то, что еще покоится в человеке как естественная предпосылка: конечную сопринадлежность противопоставленного чуждого мира со всеми его ужасными возможностями и человека. Религиозный ритуал и обычай объединяют обоих де-факто, являются осуществлением этого единства – не теорией или учением.

Где подлинное начало всех религий? Считается, что оно дано со спецификацией магической богочеловечности до какого-либо объективированного образования богов. Однако именно это одновременно является началом всех спорных моментов развития религии. Ведь что тут происходит, по сути? Постепенно оттачиваемые на противостоящем на мире познание и опыт осуществляют свое оформление Бога через привлечение реальных впечатлений, для этого берут в качестве образа внешнее, уподобляют богов тому, чего желают и что мечтают получить от внешнего. Непроизвольность – скажем: еще тварной, еще не окончательно отделившейся от внешнего – безопасности жизни заменяется принятием за истину, чем-то, что нуждается в сознательной вере, объективации чего представляют собой уже не просто непроизвольные отражения, а отпечаток опосредующих консистенций. Да и как могло быть иначе? Возрастающее знание о мире, такое чрезвычайно важное и неопровержимое, получает дополнительную задачу: в своих формах и цветах, кроме того, применяться для знания о сверхмире, которое почти даже противоречит «просто магическому» постольку, поскольку дает крайне немагические гарантии – дает именно потому, что при

этом речь идет уже не только о воздействии символа, и уж вовсе не о предполагаемой не-идентичности, а о «реально» опосредующих божественных поверенных.

Единственное роковое, что при этом произошло, возможно, остается даже не самым смущающим в этом неудержимо продолжающемся процессе. Потому как точно так же, как божества в завышенных ожиданиях помощи при желаниях проступают с все большей четкостью, так более ясным становится и отражение человеческих желаний: страх перед несчастьем, смертью, уничтожением. Если ребенок входит в новое бытие с томлением по материнскому лону и, тем не менее, также с пробуждающимся вожделением к жизни, вожделением к тому, чтобы все-таки утвердить себя, не быть снова отнятым от «мира», то, в нормальном случае, мы допускаем, что то и другое, день за днем, будет взаимно устранять друг друга до поддерживающей общности, – что жизнь, собранная из материнской экзистенции, превратится в жизнь отдельной экзистенции. Если же, как в религиях, где боги желания превращаются в персонажей, опасения также обретают позитивный облик, то из материнской темноты поднимается ужас перед уничтожением; «темный» означает здесь не пребывание в резерве в невидимой безопасности при отсутствии нужды в цвете, а превращение в оппонента всему светлому и цветному. Тут друг другу противостоят два вида божеств. Как там наши желания, так здесь дают себе волю наши страхи; как боги не держат свои щедрые обещания, так контрбожества угрожают уничтожением уже имеющегося. Если в религиях древнейшие из образов бога постоянно оказываются самыми пугающими, самыми мрачными, самыми жестокими, то так происходит не только потому, что они были свергнуты с трона богами-последователями, тем самым унижены и опорочены, но в этом кроется вообще прогрессирующее обращение к светлому бытия, к тому, что более соответствует сознанию, от чего уже последующие боги берут свою сущностную тональность. Однако вследствие обстоятельства, что то и другое постижимым образом закладывается в конструкцию необычайного, резко переходит в божественное, в человеке также появляется враждующая двойственность по отношению к действительности; скажем так, двукратность начала жизни (подступающая к человечеству в час рождения) враждует между собой, вместо того чтобы сглаживаться, поскольку ее беспомощность по отношению к сверхчеловеческому и внечеловеческому становится все более абсолютной.

Пожалуй, именно в этом пункте образование религии как

таковое особенно идет навстречу патологическому. Человек, поставленный между узкой сознательностью и широтой бессознательности, сжимает для себя эту широту в тесные ворота смерти и, с другой стороны, обманчиво удваивает это сознательно ограниченное в некий «невпопад» божественных предметностей. Тем самым одно смущающе переходит в другое, обменивается с ним своим исконным местом и человека, к чему бы он ни поворачивался, как бы он ни выбирал, именно как человека делает неправым. Потому что отсюда нет иного выхода, кроме того, в который постепенно впадают реки всех религий: томление по избавлению, учение об избавлении. Религии, имеющие личного основателя, надеются найти в своем основателе магического человека, который освободит от того, что уже недоступно больше средствам природы. Избавитель – это сохранившийся в них (видимый только с начала или с конца) старый маг; отчаянное расщепление надвое в нем прибегает к самому древнему спасению: к первоначальному слиянию человеческого с его самым первым лоном. Тут на избавителя перекладывается беспомощность, которую в конечном счете можно было чувствовать только как задолженность, как некий недочет существа – как вину в том, что мы стали людьми, как дерзость человеческой ситуации, отчаяние от того, что как и прежде продолжает окружать человека. То, к чему тут вожделеют как к томлению по избавлению, простирается так далеко, как самые подспудные конфликтные ситуации человечества вообще, и поэтому в ходе развития рассудка ниоткуда не может быть удалено полностью; однако там, где оно, кажется, отсутствует, это часто является лишь кажущейся «поверхностью», в буквальном смысле, в действительности оно заменено в глубине попытками вытеснения страха жизни, кумирами вместо образований бога, всем тем, что (как при практических или эротических преувеличениях) делает вид, будто, помогая, уводит за собой в другие, отклоняющие чувство сферы. Пропускание с улыбкой мимо ушей человеческой нужды в избавлении, как если бы она относилась скорее к внешним нуждам, которым однажды подверглись и при которых нам может помочь разум, а не суеверие, само по себе часто является обманчивым жестом, не иначе, как предохранительным жестом религиозного человека. Если бы кто-то действительно обходился поверхностным настроением, не заглядывая в глубины бытия, то он почти приблизился бы к тому, о чем Шопенгауэр говорил как о «гнусном оптимизме».

Однако наряду с этим продолжает существовать и другое: недовольство феноменом религии, поскольку она мешает

справляться с жизнью, хотя именно это и желала бы сделать. Потому что тут противостоят друг другу не столько «знание» и «вера», сколько потребность в действительности и потребность в самообмане, который, предвосхищая преодоление и набожно его опредмечивая, удерживает нас на расстоянии от первопереживания бытия, первопереживания, с которым нужно справляться, которое нужно преодолевать. Только само пережитое простирается вплоть до тех слоев, где жизнь и смерть соприкасаются, где они «предметно» становятся неважны. Поэтому время от времени, в терапевтических анализах, можно получить впечатление об упразднении привитых воспитанием или также выстроенных самостоятельно допущений веры вследствие выздоровления. Тут анализанду – причем как раз в силу его пиетета к тому, во что он верил, – словно становится до стыдного ясно, что он просто злоупотребил этим в целях своих болезненностей, что он насильственно вовлек их в нуждаемости своего невроза как его часть. Чрезвычайная нужда воздействовала тут как настоящая навязчивость к исполнениям желаний, в которые верят, – а более чрезвычайной нужды, чем невротическая, не существует, – но именно поэтому она одновременно воздействует на сопротивление выздоровлению: потому что она нуждается, vice versa, в отчаянии для удостоверения творения своего бреда. Когда с этим оказывается покончено, возникает не только негативность, но и освобождающаяся позитивность более сдержанной и более готовой позиции по отношению к бытию, нужду и блеск которого невозможно искусственно отделить друг от друга, поскольку в том и другом – сами мы.

Тем самым решается и вопрос, как привести к соглашению религиозные разногласия между анализандом и аналитиком: собственно, совершенно никак. Чем более добросовестно они идут в совместной работе к цели оздоровления, тем определеннее они стоят на одной почве, и значение таких вопросов отпадает. В жесткости или сухости блуждания по жизни, как бы далеко оно ни уводило в раздельные направления, они все же утоляют свою жажду из одного источника, – подобно тому, как животные пустыни на рассвете и в вечерних сумерках встречаются на одном краю оазиса.

VII

Там, где в процессе веры наивно-поэтически встают образы из религиозного, он граничит с процессом творчества искусства из

первоначальной стадии двух этих процессов, которая содержит их в себе еще неспецифицированными, слитыми воедино со всеми видами человеческого задействования; точно так же, как искусство со своей стороны граничит с магией и религией – своего рода заклинание того, властителями чего мы себя считали. Искусство в уже отделенном от этого смысле возникает только как заменяющее творение нашей безропотности перед такими магическими силами – в отказе от такого влияния на окружающую действительность, предстает как вторая действительность наряду с сохраняющейся первой. Всем произведениям искусства мы приписываем впечатления, которые не можем получить от внешней реальности, и которые, тем не менее, опосредуют нам нечто, что кажется объективно обоснованным, не просто субъективно приложенным. Ведь именно это в философских системах позволяет «эстетике» взлететь так высоко в метафизическое; к реальным средствам отображения, которыми должно пользоваться искусство, снова, исходя из сверхсмыслового, прикрепляется нужное значение, которое должно было быть утрачено в их исконном смысле. Если я говорю: мне кажется, что психоанализ не только исправляет это тайное намерение всей метафизики, но и в некоторой степени – пусть и другим путем – удовлетворяет его, то, пожалуйста, не опасайтесь, будто я хочу взвалить на психоанализ что-то, что он нести совсем не собирается. Признаюсь: мне безумно приятно взваливать на него это, поскольку это исходит из Ваших собственных указаний, которые Вы еще десять лет назад дали нам в «По ту сторону принципа удовольствия», и которые, исходя из заглубленной нижней половины метафизики, словно сделали ее фиктивную верхнюю половину излишней. Вам при толковании сновидений бросилось в глаза, что наряду с теми сновидениями, которые в безраздумной свободе сна готовы исполнять наши желания (если тлеющее внутри увещевание сознания не превратит их в сновидения страшного содержания), встречаются также сновидения, простирающиеся в первобытное, в своего рода доисторическое время сновидения, где, кажется, еще совершенно не принимались во внимание «мы», наша позиция удовольствия или неудовольствия, где словно в чистом автоматизме повторения еще просто отражается то, что происходило внутри. Этот глубже лежащий слой за нашим уже более соотнесенным с Я слоем, – этот слой, который всегда присутствует, пусть даже порой и не замечается нами (так же, как наши соотнесенные с удовольствием и неудовольствием сновидения бессознательно продолжаются в нас после периодического бодрствования), кажется, указывает нам на сферу того, что мы обычно называем

творческим в человеке. Потому как его появление должно простираться в первобытное, еще тварное, чтобы оставаться более вырванным из персонального как сознательное развитие к нашему практикологическому бытию; творящий человек искусства был бы хранителем изначальных впечатлений, которые не могут быть подавлены ни развитием, ни также сужением во все остальное, а еще пользуются, скажем так, навязчивостью к повторению. То, что называют «одаренностью в искусстве», вообще творческой деятельностью, было бы выворачиванием этого в произведение, во второй, новый вид действительности. И притом что каждый в конечном счете обитает в таком же глубинном слое, каждый был бы тронут произведением творящего, в его воздействии пережил бы себя со-деятелем его.

Сомневающимся в психоанализе доставило удовлетворение (как всегда, немного неверно понятое), когда Вы добавили кое-что по ту сторону принципа удовольствия и неудовольствия, пусть даже это добавление простиралось в глубину, а не в высоту; однако примечательно, что ту же характеристику демонстрирует и все то, что обычно величают «высоким удовольствием». Это каждый раз означает: по ту сторону наших промежуточных состояний Я-соизмеримого, направленного на персону, т. е. расширение границ, часто нечто, в результате чего «счастье и боль» включают в себя друг друга, часто «бытие вне Самости», ощущаемое как возвращение домой, к самому себе. Помимо мазохистического предоставления себя воле другого человека или помимо прочих патологий, откатывающихся назад к самой инфантильной безличностности, оно опирается уже на одно то обстоятельство, что темнота, из которой мы начинаемся, на самом деле шире, чем нам сознательно известно, и там, где эта изначальнейшая пассивность переходит в тем более усиленную акцию, мы говорим о творческих способностях. Из бессознательного одна часть посредине выступает как сознательно противостоящая реальностям, алчно схватывает их как средства выражения для этой новой, другой действительности, она даже целиком и полностью состоит в страстном побуждении к такому воплощению в действительность. Именно то, что бессознательное в искусстве приводит к такому возвышению, и означает для нас форму. Форма является не чем иным, как бессознательностью самого содержания, которое обычно (кроме патологического извращения) остается для нас недоступным, она – ничто рядом с ним: она потому обладает такой ранимостью к самому ничтожному вмешательству в нее, к мельчайшим изменениям в ней, что с ней прекращается «наличие» содержания. Она завладевает всем реальным, в

котором перед нами предстает видимый или постижимый противостоящий нам мир, и принуждает реальное к тому, чтобы – для каждого родственно чувствующего – выражать нечто другое как сам этот практически видимый и логически постижимый мир.

Поскольку мне кажется, будто психоанализ не совсем признает то, что было лишь намечено здесь, я еретически настроена относительно трех пунктов его трактовки искусства. Во-первых, относительно завышенного оценивания им дневного сновидения, – которое, конечно, и у человека искусства может быть особенно пластичным, но из которого, тем не менее, меньше всего можно узнать о проблеме искусства как раз потому, что больше всего оно умеет рассказывать о себе. Потому что на самом деле форма и содержание в нем – это две разные вещи: его сновидение томится именно по реальному исполнению различных его желаний, и только потому, что это исполнение не удается или откладывается, они соответственно фантазии оформляются во временное подсобное средство. Это не только по степени, но и по сущности отделяет его от произведения искусства: даже там, где в произведении искусства где-либо проникло подобное, можно отыскать искусственно мертвый пункт или слепое пятно (это является путеводной нитью и имеет важность для анализируемо произведения именно потому, что здесь она явно вступает на влеченческую подоплеку). Так, произведения искусства пронизаны всяческим сладострастием, и тем не менее там, где лишь капля его просочится наружу из замкнутого кругооборота, следует расплата, словно отмирание одного из членов совокупного организма. И точно так же для удачи материальность повода должна быть не только погружена в забытье, но и полностью израсходована: должна истлеть подобно похороненному и превратиться в другое, растительное; насколько иначе этот кусок земли охватывается в произведении искусства, по-новому, с любовью, и по-матерински до самой последней косточки.

Во-вторых, мне совсем не понятно в связи с этим выведение искусственного, человечески сотворенного вообще, из вытеснений: как бы часто (пусть даже всегда) они ни участвовали в качестве посредственного повода, через влекущее к выражению давления томления и неудовлетворения. Главным, тем не менее, всегда остается то, что в конечном счете не имеет целью реального исполнения желания, – скорее можно было бы сказать, что оно выходит из исполнений, из власти непроизвольной, неизбежной реализации вовсе еще не персонального. Тем самым оно образует прямую противоположность патологическому, которое «деградирует» инфантильное, отпугивается

вытеснениями обратно в отгораживающее: оно помогает изначальному смыслу переживания подняться в большую пригодность для сознания, словно соединяет верх и низ, протаривая новый путь, а на привычном пути желания не достигает никакой цели. Разве не является это также причиной того, почему для человека, творящего таким образом, – а также людей, рецептивно наслаждающихся сотворенным, – кажется устраненным то, что прежде пресекало их желаемости запретами и заповедями и что вне этого торжественного часа, этого, скажем так, безжеланно-безвоздушного пространства, притесняет их снова? Они сами это описывают: «Бессознательное становится Я-сообразным для одной такой констелляции, больше в его вытеснении ничего не меняется. Успех бессознательного при такой кооперации очевиден; ведь усиленные стремления ведут себя совершенно иначе, нежели нормальные, они делают человека способным на особенно: совершенное деяние». Этим улаживается и старый щекотливый вопрос о том, является ли для творца, в благодарность за его произведения, все человеческое сомнительное более дозволенным и приемлемым: это фактически вредит отдаванию себя прочим человеческим целям, и, сверх того, не так уж редко делает это в некоторой мере трагическим образом, когда человек как раз такого свойства, можно было бы сказать «одержимый совершенством», также вдвойне способен переживать страдания и вдвойне чувствителен по отношению к несовершенствам жизни и себя самого.

И к этому – к завышенному оцениванию социального в свершении искусства – привязывается моя третья ересь. Конечно, оно тоже заложено в саму ситуацию, примерно так же, как изначально и предпосылки магии, религии еще документируются в ней едино, нераздельно. Однако после начала спецификации человеческих видов задействования социальное исключается как назначение искусства, присоединяется к нему так же, как примешиваются и прочие человеческие движущие причины, такие как жажда славы, удовольствие от приобретения или другое. Творцом человек является только от торжества и от тяги своего произведения, и, какую бы сильную установку в остальном он ни имел к своим ближним, «этическую» или «эротическую», ни та, ни другая не участвуют в творении того, что стало произведением, они только опосредуют его «между произведением фантазии и внешней реальностью». Важно сказать себе это и в отношении эротического, – хотя это является единственным, что публика в любом случае охотно признает за человеком искусства. Но при этом думают об эротике в объектно-либидинозном смысле, тогда как источники, протекающие в такой близости к его

продуктивности, начинаются гораздо раньше и скорее всего еще отчетливо вскрываются у нас внутри ранних сексуальных фаз. Согласно нашей психоаналитической трактовке, постоянно можно обнаружить сильные связи так называемых талантов с кожной, оральной, анальной и также садомазохистической манерой выражения эротики, и мы допускаем, что она уже там сворачивает от тенденций к цели сексуальной зрелости, чтобы, по крайней мере частично, вместо этого доработать себя в направлении к духу, «сублимировать» («сублимация держит путь через Я», Фрейд). Там, где мы уже не можем ее сопровождать, она, пожалуй, сохраняет свою подлинную опору в изначальнейшем, в котором субъект и объект еще не различались, и постоянно представляет человека искусства как очень первично «нарцистически» депонированного. Вместо силы любви как просто вынужденного моста через различность основным эротическим качеством, следовательно, был бы недостаток дистанции, простая предшествующая любви форма, особенно длительное функционирование идентификационного механизма, – в то время как в остальном его дальнейшее развитие идет к объектно-либидинозному.

В этой соотнесенности ранней эротичности с уже направленным на дух сознательным нашего Я для творческого человека заключен поразительно аскетический момент: от его эротики частично ускользает плотское направление цели и развитие. Произведение – это их воплощение, он, скажем так, расплачивается им за спорную конкуренцию с богом, которую он ведет как творец действительности. Это богатство и обогащение, которое он за собой сохраняет, – даже несмотря на сужение его до того, что стало сознательным, – принуждает его чем-то поступиться, как того, кто в непромокаемом снаряжении ныряльщика достает с морского дна сокровища и поднимает их наверх, будучи соединенным с верхним миром, пока он творит, только через дыхательный шланг. Потому что там, где это не удалось, где поступились не полностью, там то, что хотело стать продуктивной силой, погружается в плотскую инфантильность эротики. Между этим плотским протеканием и избавляющим от нег производством охотно простирается целая область патологического, подобно паутине, поджидающей надоевшую муху. При этом вспоминаются рассуждения Ференци об известной мере «магической» манере выражения истерически состояний, умеющей из имеющихся в теле материалов черпать символы для того, что, вследствие вытесняющего огораживания от сознания, «делает продуктивной силу нашего эротического влечения внутри плотских границ»:

«Нормальное отделение органа реальности от плотских границ эротического центрального органа устраняется, и вследствие этого смешения истеричные люди становятся способными на большие свершения… При этом также проявляется часть органического основания, на котором построена символика в физическом… Феномены материализации также бросают свет на физиологический коррелят творчества искусства».

Колебание на этой границе между искусственной продукцией и соскальзыванием в плотское переживание однажды получило впечатляющее доказательство в описанном Р. М. Рильке в 1913 году в Дуино (изначально в «Inselal-manach», 1919, под заголовком «Переживание») кратком эпизоде: когда он, «прислонившись плечом к развилке раскидистого дерева», словно почувствовал, как в него переходит сущность дерева. Это остается «пережитым», в этом логизированном отчете, не превращаясь в поэтически испытанное, остается пережитым плотски, словно сомнамбульно, не переходя в обезличенное произведенческое, и поэтому занимает поэта и после этой первой записи в Испании гораздо позднее в письме, мудрствующим над этим пережитым. Происшествия между производством и субъективным самочувствием, схожие с теми, какие случались здесь в порядке исключения, характеризуют, к примеру, также многие экзальтации, которые мнят себя перешедшими в мистическое или романтическое, но, тем не менее, застревают в чисто иллюзионном собственной нуждаемости. Тогда они поставляют лучшие возражения для всех людей, презирающих искусство, подозревающих: быть человеком искусства означает за счет лжи выходить из холодного мертвого хаоса вещей, который мы старались упорядочить практикологически, вместо того чтобы поддаться такому более удобному самообману. Однако по отношению к любому удавшемуся произведению это возражение не попадает в цель: человек искусства берет свои ощущения из первоначальных впечатлений того, в чем мир и человек еще нераздельно составляют для него действительность, и именно эта действительность еще раз осуществляется в произведении.

Другое возражение имеет больший вес. Оно основывается на факте, что на этом пути творческого оформления есть граница, которая хотя не отпугивает обратно в полуплотские промежуточные состояния инфантильного происхождения, но зато гонит в противоположность – за границы человеческих предпосылок и жизненных установок вне произведения. В нормальной жизни мы зависим от впечатлений реального, мы подчинены им, но одновременно с ними вследствие

относительной нерасщепленности нас самих мощно подчинены самому бессознательному нажиму к самой ясно диспонирующей сознательности. В творчестве искусства это положение вещей почти полностью переворачивается, при этом действительность произведения требует, чтобы реальное для нее самой решительно и безоговорочно превращалось в просто прислуживающее средство выражения, – но чтобы, с другой стороны, этот самовластный человек искусства превращался в творение собственного бессознательного и пассивно следовал его нашептываниям. С известным правом искусство предстает в своей специализации, т. е. после своего выхода из самой первоначально человеческой целости, и эмансипируется само по себе, нанося некоторый ущерб человеку, – оно вовсе не является таким безобидным, каким может показаться нам только там, где мы не придаем ему особой важности. Таким образом, почти сбывается злая судьба, схожая с судьбой эроса, саморазумеющесть которого в первоначальном союз со всей прочей человечностью, с «высоким и низким», через его специализацию (при религиозных запретах) взлетела до романтических шпилей, которые очень красивы и также достаточно опасны для его включения в совокупность жизни; при этом такая совокупность должна вовлекать эрос (который ведь должен центрально выражать жизнь, как ничто другое) в отверженность вместе с простым насыщением физиологических потребностей.

Добавление творческого в «чистом произведении искусства» – скажем так, в произведении, стерильно дистиллированном до искусства, – может заходить так далеко, что творящий это произведение в своем человеческом бытии видит сам себя тоже сошедшим со своей человеческой позиции, лишившимся пяди земли, с которой он лишь на толику мог рискнуть двинуться вперед. Если прежде я привела описание маленького эпизода у Райнера Марии Рильке как пример того, что еще не стало искусством, то теперь Рильке должен выступить как главный свидетель опасности слишком далекого от него. Потому что сколько странностей ни характеризовали бы его случай, он все равно остается вариацией человеческой судьбы в искусстве как отклонением к грозящей человеческой трагике. Она открылась ему на граничном участке, где ангел диктовал ему его элегии. Почва искусства, кажется, слишком глубоко изрыта в томительной потребности встретиться с последней общностью обеих «действительностей». Экзистенция области ангела – уже не просто созданная как совершенно прекрасная видимость бытия – срывается в собственную экзистенциальность, он попадает в экзистенцию бога, но при этом не гарантирует также, как это

сделала бы последняя, благо человека; он является и должен являться – пусть и достижим он только на пути религии – божеством, которое не полюбит снова: потому что только так, когда человек стоит перед ним, лишившись всего имущества и всех прав, как потерянный сын, ангел удостоверяет свою собственную действительность, как созданную не человеком действительность простой видимости.

«Ангел» настолько обесценивает человека, что тем самым также делает его недействительным. При обесценивании человеку не просто остается лишь примитивно самое подспудное, как дрожжевой осадок под поднимающимся ароматом вина жизни, но из него выпивается сама жизнь, как если бы малейшего притязания ангела на реальность уже было бы достаточно, чтобы оспорить всю реальность человеческую. Теплая природная основа ее влечения со своей стороны опустошается от этого до чего-то кажущегося, принуждается к своего рода имитации духовного поведения, направленного на ангельское, до просто обезьяньего подражания ему, – горчайшая жалоба поэта относится к этой «обезьяне духа», сидящей у него на плечах, скинуть которую можно только с самим физисом, придавливающим к земле. Вся преданность относится к узурпирующему действительность ангелу, который, словно будучи зачатым и сотворенным в искаженной материнской утробе, сплел с собой центр любви: ангел стал любовным партнером.

Только тихо можно говорить о таком затаенном, как это болезненное прорывание элегий, продолжавшееся десять лет, как будто ему, словно перверсирующейся навязчивости к производству, противился человек, который должен был принести себя в дар этому как небывалое жертвенное животное: «потому что любой ангел ужасен». «Получилось», форма провозгласила последнее, она выдержала, – человек разлетелся на осколки. Тихо покоится произведение искусства в мире и обетовании, но лишь тонко висит над ним прозрачная пелена, скрывающая его последние осуществления и пугающую небезобидность того, что мы, в такой дружеской заинтересованности, называем «эстетикой».

В этом Райнер Мария Рильке открыл для себя то определение прекрасного, в котором – почти уже без надежды – все же предвосхищается робкое моление за людей: – «Ведь прекрасное – это лишь начало ужасного, что мы сейчас переносим, и восхищает нас тем, что не снисходит до нас для разрушенья».

VIII

Все «прекрасное» для нас «несравненно», как если бы «всемогущество мыслей», с которым мы пробуждаемся к жизни, в еще несломленной уверенности самого прабытия, в прекрасном навсегда осуществило фокус закрепления сторонности на явлениях, которые даже не могут охватить ее как нечто отдельное. Тем самым всесторонность, исходя из этих явлений, остается кажущностью при всем бытии, указанием на него, вместо реального обладания им; остается заглядыванием через дверь в сияющую рождественскую комнату, но не протягиванием руки к разложенным под светящимся деревом рождественским дарам для принятия их в частное практическое пользование; поэтому над нею остаются мир и сияние, превращающие для нас целое в вечное отображение непревзойденного, полностью недостижимого, несравненного.

Если рассмотреть нашу обычную человеческую манеру возвышать себя над несовершенствами и разочарованиями окружающего нас мира или внутреннего мира, то в каждом аспекте мы столкнемся со сравнением, с ранжированием, с тем, что хоть и вынуждено оставаться в суете недостаточного, но зато реально удостоверяет себя на предметном. Это мир ценностей. Они также берут начало в праситуации, в которой мы как сознательные, обособленные люди оказываемся словно отрезанными от пуповины материнского всебытия и в этой нужде стремимся к воссоединению: начиная с истории младенца, уже ставшей нам хорошей иллюстрацией к этому пожизненному состоянию, вплоть до всех наших самых поздних образований идеала, – не в последнюю очередь до образований идеала нашей собственной непревзойденности, какая первоначально еще казалась нам гарантированной в нашей неотделенности от самого основания мира. В Вашем «Введении нарцизма» уже в 1913 году стояло:

«Человек здесь, как повсюду в области либидо, оказался неспособен отказаться от однажды полученного удовлетворения. – К этому образу идеала относится себялюбие, которым в детстве наслаждалось действительное Я. Нарцизм представляется смещенным на этот новый идеал, который, подобно инфантильному, обладает ценными совершенствами».

Первичный нарцизм неотмененного упокоения в еще со-несущей изначальной полноте в известной мере превратился в движение распрямления, в хотение чего-то достичь, вместо естественного тут-бытия как бесспорно все содержащего. Образно я выразила это для себя так: горизонтальная линия переходит в вертикальную, высота которой должна точно равняться длине, которую она оставила. Как длина казалась бесконечной, так и

направление ввысь отныне, не зная покоя, поднимается в нескончаемое, но от момента к моменту снова и снова является ступеней в сравнении с теми, на которые поднялись вначале.

Мне очень хотелось бы здесь сделать упор на том, что, как мне кажется, постоянно несправедливо не привлекает к себе внимания. В частности, мне представляется, что в только что упомянутом принципиально заложен изначальный кусок человеческого счастья, даже человеческого ликования, которое обычно не слышат за нуждами стремления. Ведь не только «нужно», но и «хотелось бы» осуществлять и эту игру сил между отпусканием себя и торможением себя, хотелось бы учиться подниматься вверх. Между необходимостью зарабатывать и праздником, а не только работой в поте лица, есть здоровая, природная взаимосвязь. Лично для меня особенно живо воспоминание из детства, о том как самое первое притязание, чтобы все было «совершенным», – претворяется в действительность словно для какого-то торжества, для которого одновременно трудятся и наряжаются, которому радуются и которого ждут, долженствование же почти исключает эту радость и ожидание, во всяком случае не дает им строго и холодно прийти к изоляции. Первоначальная взаимосвязь рассматриваемого «горизонтально» и рассматриваемого «вертикально» сохраняется так определенно, как и наше сознательное бытие далее разыгрывается на лишь внешне отпущенной прапочве бессознательного, и только это обстоятельство дарит человеческому переживанию каждый раз свежие возможности счастья. Одновременно со снятием напряжения мы хотим пространства для воздействия обновленного раздражителя, как только поднимаемся из сумеречного бытия в направленное на сознание, в становящееся; мы не хотим ни перевернуться на челне нашей жизни, ни потерять ветер из парусов. Ведь с детства формируется компромисс желания настоять на своем и желания перемениться, здоровый, природный компромисс в начинающейся парной игре сознательного и бессознательного (которая в неврозах имеет столь неудачное смещение, лишена своей великолепной экономики взаимовыручки и уничтожающе расточительствует всей действительностью переживания). Склонность к «воссозданию прежнего» – я бы сказала: того, что фактически всегда продолжает воздействовать в бессознательном, – это изначальное выражение сил наших влечений вообще выражается также в удовольствии становления, в измененной, поменявшейся форме одобрения нами своего бытия. Ребенок, в нуждах страха и рождения разбуженный для бытия в этом мире становления, уже

сразу после этого испытывает другой страх: быть уничтоженным (афанизис Джонса), и только из того и другого сразу вырастает здоровый человек, который одновременно является корнем и стремлением ввысь, одновременно твердо стоит на земле и распускается в ветвях, листве и цветах. Если Вы, столь справедливо, исключаете у человека особую тягу к совершенствованию, то это лишь вследствие его морального обалгорнивания: ведь его влечение ввысь по сути не что иное, как одновременно его хотение снова объять то, к чему он изначально принадлежит.

Однако «моральное обалгорнивание» очень легко проскальзывает в эти внутренние положения дел по одной особенной причине: потому что нам так сложно не давать тому, что было достигнуто при нашем становлении, – сравнивающих оценок. Наверняка мы не ошибемся, если скажем, начало этому было положено в самое раннее время, – возникло много раньше, чем навязанные нам родителя: и воспитателями ответственности. Мне кажется, Джон очень хорошо пронаблюдал это в последних работах, где обнаруживает, что уже беспомощность совсем маленького человека, его неизбежные разочарования как таковые достаточны для того, чтобы он стал несправедливо относить к новому бытию. («Неудовлетворение изначально означает опасность, которую ребенок проецирует во внешний (как он привык поступать со всеми своими внутренними опасностями) и потом использует любой моральный отклик для усиления своего чувства опасности и для возведения охранных сооружений». Internat. Zeitschr. f. PsA. X 1928.) К примеру, чудовище-печь, о которую обжигается подползший ребенок, на самом деле превращается печь не только в достойного ненависти причинителя вреда, но и в несомненный авторитет, по сравнению с которым обжегшийся ребенок ощущает себя менее ценным, подчиненным ему – образец властности и совершенства, каким является человек, одним ударом сбрасывается с пьедестала. Продолжение этого, в приключениях чуждого мира, каждый раз заново запечатлевалось в нашей памяти благодаря Вашим установлениям, сделанным во всех случаях нашей практики: в привязанности к родителям или их заместителям чудовище-печь смягчается (в случае удачи) в пусть и строгого, но друга; в нем стираются, становясь дружественными, те самые черты, которые вследствие детского страха, беспомощности и ненависти казались особенно жуткими и жестокими; уподобляться им постепенно становится не только заповедью, имеющей полномочия к наказанию, но и желанием, уже почти заключающим в себе первый шаг к воссозданию единства с

материнским лоном или восстановлению сферы абсолютной отцовской власти. Пока из этой «вторичной» идентификации с родителями и воспитателями образуется любовь, в ребенке возникает самостоятельно наказывающая или хвалящая реакция на свои поступки, внутренний голос становится громче, консолидируется знаменитая совесть.

Вы с Вашей трактовкой этих процессов давно отошли от утилитаристской трактовки, в следовании которой Вас так охотно упрекают, например, от английского позитивизма, который любил выводить функцию совести из практических поводов, причины которых постепенно «забылись» бы и которые тем легче впоследствии было бы санкционировать. (Нужно лишь вспомнить о том, что с психоаналитической точки зрения уже простое «забывание» показывает, насколько это забытое далеко от случайности, насколько мало оно поддается просто историческому, анекдотическому, практическому объяснению.) Ваша дефиниция содержаний совести как «оставшегося от ряда предков осадка» никогда бы не смогла ввести кого-либо в заблуждение относительно того, что источник их протекал в либидинозном, в тяге и навязчивости человека к идентичности с противостоящим нам миром, и в этом имел свою глубину, следовательно, был не мелководнее, чем само либидо. Но не только это, хотя лет десять назад предмет Вашего исследования должен был распространяться преимущественно на проблемы либидо, Ваш интерес уже тогда затрагивал и «этические» вопросы, и вопросы об «идеале» как таковые; я помню, что среди наших ночных бесед 1912 и 1913 годов была одна, в которой Вы согласились со мной, что формирования идеала могут впоследствии воздействовать даже в «бессознательном» (тогда это еще был исключительный terminus для «резервуара вытеснения»), могут даже уходить «глубоко в соматическое». Ведь тогда уже были написаны Ваши слова о том, что к «бессознательному» может принадлежать и «часть порывов, управляющих нашим Я, т. е. сильнейшая функциональная противоположность вытесненного». (Ференци также работал над выявлением оценок сознания уже в бессознательном и чувствовал себя в этом единодушным с Вами, что отчетливо подчеркивается в его письме ко мне.) И исследования об этом все больше разрастались в главную проблему, пока на Конгрессе 1922 года не были обобщены Вами – словно новая программа – в словах: «мы не только аморальнее, но и моральнее, чем мы думаем».

Отзвук этого создал забавное недопонимание на ближайшие годы. Прежние упреки заглохли, и похвала лилась из уст всех тех, кто от имени морали и идеала был обижен Вашим равнодушием к

«высшему в человеке». Мало кто заметил, что Вы не превратили голос совести в оратора, отстаивающего «высокое и высшее», что этот голос, исходя из еще большей изначальности, чем прежде, стал лишь адвокатом и заступником наших влечений. Чем дальше продвигалось исследование нашей жизни влечений, тем более обнаруживались, уже погрузившиеся туда, также и части структуры нашего Я: старания Я сделать противостоящий нам мир безвредным и послушным через перенимание его оценок или, с усилением доверия, с любовью вовлечь его в себя. Для моралиста или метафизика голос совести звучит тем мистичнее, из чем большей дали он может быть услышан без реального моментного обоснования, то, что привязано к «без», на самом деле, словно дает ему умноженное от слоя к слою тысячью эхо воздействие, которое одновременно, кажется, приходит из ближайших к нам угрожающих преград и отвесных скал, как из бесконечности, и отправляет нас обратно в ничто нашей самой ранней беспомощности. (Очень метко истинное положение дел подмечает А. Штэрке: «Идеалом, к которому, кажется, стремятся, является… образ интроецированного прошлого раздражителей: он лежит позади нас и не манит, а гонит».) И таким образом «категорическим императивом совести является неизменный императив влечений». В частности, Александер не раз освещал задачу ментора добродетели в нас с большей четкостью: эта задача – поддерживать добродетель, для того чтобы мы не руководствовались влечениями во вред себе. Точно как в первоначально беспомощном страхе, она внушает нам послушание, но и там, где послушание стало частью нас, где оно, кажется, так сильно относится к приказывающей инстанции в нас самих, оно все же представляет только целесообразный окольный путь, каким мы скорее всего можем прийти к нашим исполнениям. Это рождает такую двусмысленность, что Александер с полным правом может говорить о шпионстве, о «старом интроецированном кодексе законов», который, кажется, служит защитным механизмам, но лишь для того, чтобы оказывать помощь желаниям влечений. Тем самым он подчеркивает всю родственность этого с невротическим механизмом, в котором на нас, кажется, возложено страдание как пеня, заранее выплачиваемая за возможность копить новые долги. Тот, кто вызывает в нас чувство вины и потребность в наказании, является таким укрывателем и полицейским в одной персоне, поскольку и наши этические идеалы следуют только из борьбы нашего внутреннего самоутверждения с жизненными тормозами. (Ср. подтверждение Шильдера в его «Психиатрии»: «Голос совести одновременно показывает нам наши собственные предпочтения и

склонности: таким образом, Идеал-Я имеет строение» схожее с невротическим симптомом. – Таким образом, Идеал-Я построено по формуле компромисса».)

Эта близость патологического к нашим самым завышенным оценкам быстрее всего искореняет недопонимание, согласно которому мы будто бы имеем перед собой освященные ими императивы. К примеру, человек с неврозом навязчивости, ad absurdum доводящий навязчивое мытье, разоблачая наши методы наведения чистоты как жалкую небрежность, должен был бы стать для нас единственно последовательным учителем в серьезном отношении к заповедям; и, как и здесь, осуществление всех «долженствований» означает, что они должны были бы закончиться для него отчаянием и нежизнеспособностью, если бы мы не поддерживали наше внутреннее равновесие небольшими рассроченными платежами вместо полной суммы. У меня сохранилось незабываемое воспоминание, подтверждение которому я потом еще неоднократно встречала у других детей: воспоминание о том, как глубоки обида и смущение, когда, будучи ребенком, понимаешь, что сами родители мыслят далеко не так непреклонно, как внушают это своим детям, видишь, что они даже растроганно улыбаются тому, что в беспрекословном послушании было выполнено буквально, тогда как ты вложил в это такие большие усилия. Они ведь не хотят вырастить «ребенка-эталон», само название уже вызывает улыбку: слишком строгой формулировкой они лишь хотят гарантировать хотя бы какую-то меру неизбежно нужного. Синим линиям в школьной тетради впоследствии предназначено исчезнуть, любым помочам суждено быть отброшенными при самостоятельной ходьбе. Если изначальный, крайне целесообразно направленный авторитет не сносится своевременно, он не только перестает отвечать своему назначению, но и ведет к самым загадочным поломкам в уже удавшейся части новостройки сущности: то, что поначалу было природным внешним воздействием, поддержкой и каркасом для еще незаконченного, то потом исподтишка угнездится в готовом, как домовый гриб, о котором никто не знает, где он прячется; к инстанциям при процессе совести, перенятом «Сверх-Я» и «Идеале-Я», прикрепится «чувство вины» и «потребность в наказании», которые, выходя из сумрака инфантильности, умеют воздействовать с большей мистичностью как раз благодаря своему отдалению от трезвой ясности собственного суждения. К этому добавляется еще то, что они прямо-таки препятствуют покорности их заповедям – насколько они тут и там хотели бы быть полезными: потому что никакое влечение в нас как таковое не уступает долженствованию; как бы мы, признавая и осуждая

его, ни оформляли наши действия абстинентно от влечения, оно все же остается в нас только с тем большей силой, как если бы мы, более добродушно, дали ему известную свободу, – что Вы тоже подчеркиваете. Этот «разбойничий вертеп» в наших сердцах расчищается и превращается в более мирное местопребывание, если направление влечения самостоятельно, ради собственного удовольствия, доработало себя, видоизменилось на присущих ему возможностях влечения; только так анализ воздействует на «сублимацию», и только этот позитивный поворот может так называться – эта доработка (по terminus Тауска, исключающего опасность включения в «сублимирование» понятия ценности в уже чисто языковом отношении) из собственной сущности, или, согласно словам Спинозы из его «Этики», мы счастливы не потому, что мы обуздываем наши страсти, но эти страсти меркнут от нашего счастья; и, согласно еще более великолепным словам Спинозы, единственным совершенством является… радость.

Не знаю, возможно, я обманываюсь, но мне кажется, будто наш психоанализ не делает всех выводов из этого положения вещей. Александер по большей части указывает на проблему здоровья, правильно почувствовав, что мы в обследовании больного должны фиксировать внутренние фактические обстоятельства в таком понятийно четком разложении только по причине их большей патологической наглядности. Но и для него они еще слишком сохраняют свою консистенцию данных фактических обстоятельств. Конечно, и здесь линия здоровья и болезни расплывчата, однако бесконечно важным остается то, принимаем ли мы, например, нашу потребность в наказании (если она вдруг появляется) как мертвый привесок – почечную оболочку, оставшуюся висеть на растущем растении, – или как угрозу увянуть снова. В нормально созревающем человеке соответственно природе инфантилизмы должны терять свою логику, свое выражение; они должны в конце концов исчезнуть под полуденным солнцем жизни, как колеблющиеся полосы утреннего тумана. Те остатки, что могут сохраняться, не должны производить впечатление таблички с окончательно застывшей надписью. «Сверх-Я», посаженное в нас требованиями внешнего, должно увядать по мере того, как в нас самостоятельно расцветает то, что мы одобрили либидинозно и созревающим суждением, исходящим от Я; однако оно слишком сильно влилось в наши соки, подгоняющие наш собственный рост и плодоношение, чтобы продолжать парить над нами как «Идеал-Я» и либо подавлять нашу неполноценность, либо подстегивать ее в сверхнапряжении. Конечно, мы не можем не застревать в тысячах «чувств вины», которые обязательно складываются из нашего

богатого запаса ошибок и слабостей, но, по сути, это честное раскаяние не отличается принципиально от сожаления о том, что мы не обладаем достаточно греческим носом или мускулами, как у Шмелинга; это также убедительно демонстрируется тем обстоятельством, что оно постоянно признается как «раскаяние» только после «эгоистичных» действий или размышлений, тогда как столь же сильное сожаление может установиться после так называемого самоотверженного действования, если оно чересчур неуместно, незаторможенно, в своем влеченческом эгоцентризме дает себе волю посреди других притязаний влечений. Конечно, в нас беспрестанно происходит борьба различных притязаний влечений, и чем богаче человек наделен ими, тем более жесткой становится борьба, и конечно, совершенно верно еще в Библии об этом написано, что наши мысли «одна на другую жалуются и одна другую обвиняют», – это просто их нормальное взаимное воспитание, подобно тому, как подавляющее число детей воспитывают друг друга, указывают друг другу место между собой. Их приспосабливание друг к другу – подобно тому как в организме легкие, селезенка или печень за любое превышение власти должны были бы расплачиваться болью или болезнью – психически постоянно заново переходит в несговорчивое столпотворение; обиженное влечение набрасывается на победившее влечение, пока последнее, основательно израненное, не станет «раскаивающимся»; но все это следствие жизни и здоровья, а не долгов и ущербов; над этим лежит великая невинность жизни – яркое отражение малодушия и высокомерия больного навязчивостью, который настолько важно и надменно верит в обязательность своего наказания, что, по его убеждению, поезд должен сойти с рельсов и принести гибель всем пассажирам, если он сидит в поезде среди них.

Там, где моральные императивы слишком сурово и непрактично обходят природу наших влечений, она, интактно здоровая, даже несмотря на абсолютную веру в авторитет еще победоносно выступает против них, как против клеветы (сравни с этим, например, восхваление в старосербских песнях героя, который, после христианизации, будучи уверенным в небесном наказании как в неизбежном естественном следствии, «принимает его на себя», чтобы дальше отваживаться на любимые грехи). Нельзя забывать, насколько поношения и уговоры, исходящие от «Сверх-Я» и «Идеала-Я», возможно приравнять к неулаженным остаткам инфантильных впечатлений, инфантильных страхов, и насколько дорога к чувству вины и раскаянию чересчур легко сворачивает на невротические ложные пути. Если послушание признанному авторитету становится чересчур успешным, то

граница с патологическим уже не слишком далека, – это значит: подавление влечения уже само, правда, скрыто, выражает возвращение вытесненных влеченческостей, поскольку и свершенное послушание нигде больше не может взять способности к свершению, кроме как из инфицированной и обиженной им силы влечения. Совершенно в соответствии с Вашим «принципом реальности» как простым окольным путем, на котором «принцип удовольствия» в нормальном случае догоняет лишь сам себя, нам остаются притязания, согласно которым мы выступаем; мы ни в коем случае не покидаем нашу землю – мы можем только мнить это в патологическом бегстве от нас самих.

Из-за этого последние оценивания, абсолютизированные и этические, не могут обойтись без заключения пакта с конечной ценностью всех ценностей – с религиозной (Эккехард: «Есть только Одна ценность – Бог»), ведь где-то же их авторитет должен быть словно закреплен вне их соответствующих содержаний. Как родительская строгость сочетается с родительской нежностью, чтобы сделать строгость более эффективной, так в истории человечества задачей всех религий стало подменять беспокойство нравственных требований стабильным божьим царством. Это справедливо как для заурядной школьной морали, так и для самых философских абстракций, от грубых вспомогательных средств поощрения и наказания до самой аскетической преданности обожаемым императивам. Лишь с трудом удается понять, почему этики некогда могли считать, что их абсолютизация долженствования может проводиться без религиозно закрепленного владения и обладания, их безустанное пособничество – без милостивого вознаграждения. И тем более в этическом речь не может идти только о какой-нибудь специальной заповеди или запрете, к которому преувеличенно сгребают все авторитетное из метафизики совести, но речь целиком и полностью идет об ответственности человека перед своей жизнью – перед совокупной широтой бытия, включая все его многообразия и малозначимые вещи; потому что по меньшей мере в этом пришлось бы согласиться с этиком, в этом он был бы прав: ничто не остается просто практически важным или важным на данный миг, все в необозримой взаимосвязи друг с другом рождает нашу манеру держать себя по отношению к жизни – содержит нас в себе и держит нас. Любой самый удачливый – что означает: оставшийся здоровым – человек веры также постоянно был полностью проникнут тем, что этическое требование ставит перед ним бесконечную и непрекращающуюся задачу, которой он поэтому в своем состоянии человека не способен соответствовать тотально, а лишь через «дарующую милость Божью». Если убрать

грубую наглядность религиозного языка, – проецирующую Бога из того, что для нас бессознательно, – получается, что мы неизбежно брошены в водоворот всей реальности и нам ничего не остается, как плыть в нем. Если это, несомненно, означает пересекать на шаткой лодке океан, то таково наше человеческое положение – ничем не поможет, если мы будем воображать, будто самый мощный пароход тянет нас на буксире к несуществующим местам назначения: это могло бы разве что отвлечь нас от наблюдений за ветром и погодой. В чем меньшем убавлении мы входим в «требование часа», в имеющийся фактический момент, в условия от случая к случаю, вместо того чтобы руководствоваться томом предписаний, директив (написанных человеком!), в тем большей привязанности к целому мы как раз действуем, более живо влекомые тем, что вмещает в себя все и также нас, – даже если это в нашей высовывающейся сознательности охватывает вместе с нами также все ошибки и промахи. Если для кого-то это называется аморально надменным произволом, то инфантильно послушное соблюдение облегчающих предписаний с большим правом называлось бы удобной моральной халтурой! Ведь что делал человек, когда он вообще отваживался принимать решения, выбирать, оценивать? Он совершал свой самый строгий, самый связанный, поскольку автономный, поступок – не расчетливую, несмотря на методику ее осуществления, а созидательно фонтанирующую в нем акцию quand meme, при любом риске узаконенную его простирающейся над ним самим всесущностью, которая говорит: я тоже сюда отношусь, я не только противостою враждебной борьбе. – Слишком дерзко сказано? – Да, потому что самое дерзкое, что мы изобрели, – это превращение нас в людей, и тем самым оценивающий человек представляется самым возвышенным приключением жизни.

IX

Если рассматривать процесс оценивания, присущи всем прочим процессам сознания, в его особенности, то он отчетливо отражает специфический характер самого осознания: как происшествия, которое мы можем охватить лишь в удвоении – как происходящее одинаково и извне, и изнутри. Почти не имеет значения, как мы это себе иллюстрируем (вынужденно исходя из односторонности): говорим ли мы при проблеме осознания о том, при чем мы сталкивались с сопротивлением извне, или по-другому: отталкивала ли изначальная акция того, что позднее станет «нами», со своей стороны, остальное от себя как избыток и

противостояла такому процессу как нечто самостоятельное. Нашей манере речи, выросшей на осуществляющейся сознательности, это знакомо лишь как двойное понятие, но уже там, где мы говорим о менее участвующих в сознании процессах, двойное непроизвольно соединяется в одно: (например, мы отличаем неорганическое от органического как отсутствие раздражимости («irritability») и как отсутствие реакции на впечатления и понимаем под этим абсолютно одно и то же). Только в более сложном (уже уподобившемся нашему собственному сознанию) двойное снова разделяется для нас; во всех промежуточных положениях психического переживания оно поймано в свою логическую противоположность, несоединимость; и, самое большее, только в экзальтированных состояниях, в «превышениях» патологического или же созидательно превосходящего личное Я-чувство одно перестает отделяться от другого, охватывает др. друга в бессознательности. Опять же при всех этих обстоятельствах дела нам скорее всего вспоминается эротического проблема, вопрос, почему мы «нарцистически» не остаемся с собою, а бросаемся в любовные излияния, издержек чувств, в объектную отнесенность: обособившийся человек и там лишается того, что – будучи направленным на ее обособление – стало избыточным, и все же одновременно и тождественно выражает это в навязчивости к тому, чтоб еще, скажем так, обнимая, поглотить в себя противостоящее. Мысля и любя, мы способны проследить это только в своем пребывании в каком-либо состоянии – это по Вашим словам, «крайне примечательное и все еще недостаточное признанное отношение противоположное в бессознательном», которое делает так, что в конечном счете как сознательно схваченное, так и бессознательного кроющееся за этим, в равной мере остаются для нас ней следованными… («бессознательное дается нам в данных сознания так же неполно, как внешний мир в данных орган чувств», и «как физическое, так и психическое необязательно в действительности должно быть таким, каким оно и представляется» (Фрейд)). Сознательность, из одоления бессознательным, из опасности растворения во вселенском: в известной мере спасаясь бегством вперед, отпускает себя из вселенскости, при этом не покидая ее позади себя – это лишь деление мира на мир перед нами и мир за нами.

Между обоими мирами проходит эта разделительная черта; отмель, из-за которой разделенные ею воды намечают, как они сопринадлежны, и без которой они просто снова устремились бы друг сквозь друга; тропа через девственный лес, которой, кажется, нет никакого дела до самого леса, поскольку она полностью

истребила его на своем узком следе. Вставая на этой тропе перед нами, ревностно трудясь над выкорчевыванием ради продвижения вперед, наш мир одновременно лишает действительности то, что, тесня нас, с обеих сторон стоит вокруг нас. Акт мышления сам по себе является актом отодвигания, создавания дистанции, без которой мы не смогли бы концентрировать внимание, актом холодности и негации всего прочего, ради оставленной отдельности, которая тем самым предстает сверхзагруженной, либидинозно акцентированной, завышение оцененной. Мы договариваемся об этом со всеми в какой-либо степени способными к сознанию существами, без наличия которых не было бы внешней реальности, какой мы ее себе по-человечески представляем, а было бы только то воссозданное единение внутреннего и внешнего, Самости и окружающего мира, которое мы думаем, что замечаем в «самых несложных» – для нас – живых существах, и так охотно принимаем за градацию от «низшего к нам, высшим». Чтобы утвердиться в этом своем достоинстве, мы в мышлении стараемся по возможности избежать тех источников ошибок, которые, расстраивая, могли бы вмешаться из равной нашему существу основы, мы ускользаем от этой изначальной действительности путем возведения нашей понятийной картины мира, которая тем самым поддерживает в бодрствующем состоянии фикцию двойственности между ней и нами, но, тем не менее, представляет собой только пространство для игры сознания внутри бессознательно охватывающего. Уже из ранних писем я помню, с какой радостью думала, что имею право понимать Ваш трактат, что без (хотя тогда Вы называли его еще просто резервуарной частью) расширенного терминологически более важного может считаться не только рудиментарностью, ненужным остатком развития, а «психической действительностью», охватывающей, остающейся за спиной сознания. Ведь осознавать означает не только убегать, но и снова бежать навстречу в ослабевающих образах: все более ослабленных в своей понятийности и все же правильных только внутри этого убежавшего от них, мнимо оставленного за спиною, внутри того, что становится видом спереди для кого-то другого. Тогда (в апреле 1916 года) я писала Вам:

«Для меня здесь расположены точки, в которых я чувствую общность взглядов, которые еще год или два назад я бы не отважилась высказать; я и сейчас хочу идти вместе с Вами шаг за шагом очень-очень осторожно, чтобы ничего не “переинтерпретировать” для себя и не лишить себя таким образом радости действительной встречи».

Если пытаться психологически описать для себя процесс мышления, то он становится лучше считываемым, так сказать, обретает лапидарный шрифт опять же, как при прочих процессах, в патологических пояснениях. «Если мы не ищем причины определенных чувственных ощущений, как другие причины, в самих себе, а перекладываем их наружу, то и этот процесс заслуживает называться проекцией», говорите Вы по случаю описания параноика, который в бегстве от своих побуждений, в которых он не сознается, видит их проецированными во внешний мир в фигуре преследующих его врагов. (Совершенно в Вашем духе один из Ваших учеников – Walder: Mechanismen und Beeinflussungsmoglichkeiten der Psychosen, Internat. Zeitschr. f. PsA. X, 1924 – отмечает, что наше «сознание в целом являет собой не что иное, как рационализацию. Не только ошибочное суждение вследствие комплексности, но и наше истинное суждение и правильное познание должны пониматься как рационализация и проекция».) Такая близость к этому патологического не дает забыть, насколько мы, мысля, удерживаемся в «нормальности» – словно между угрозами обвала справа и слева – только благодаря актам осторожности и осмотрительности. Когда мы слышим об ухудшениях у людей с больным рассудком, об их неологизмах, негативизмах, стереотипах, персеверациях и т. д., нас не случайно охватывает трепет, ведь эти слова лишь перефразируют заходящее чуть слишком далеко (отчасти в запинании, отчасти в отсутствии торможения) использование мыслительной активности, немного менее осмотрительное манипулирование также и нашим балансиром при этом. Подобно тому, как в моральных вещах невротик с навязчивостью показывает нам, как вялы и компромиссны, как несерьезны наши старания следовать запретам и заповедям, так и здесь нас охраняет только компромисс, золотая середина; он ведет к системе мышления с целью договориться и прийти к соглашению с нами подобными, ведет к «истине» как к равенству ценностных загрузок того, что мы проецируем из бессознательного, – т. е. (Фрейд) из представлений о вещах, которые образуются там, окаймляются в словесные представления, понятийные разжижения, абстрагирующие отображения. Поэтому Вы также подчеркиваете, что равным образом то, что мы называем памятью, «нужно строго отделять от следов воспоминаний», т. е. от того, что еще не полностью обработано в традиции мышления; сознательность, с Ваших слов, возникает «на месте следа воспоминания», – «отмеченная той особенностью, что процесс возбуждения в ней не оставляет после себя продолжительного изменения его элементов, а словно испаряется в феномене осознания». Так,

благодаря условностям нашего мышления мы достигаем того, что не только можем, как нам заблагорассудится, игнорировать более глубокую действительность, но что даже все вытекающие пробелы, кривизны, добавления и исключения на нашей картине мира кажутся нам позитивными, принадлежащими к «истине». Только если мы мыслим слишком «абстрактно», мы немного замечаем опасность «пренебречь связями слов с бессознательными представлениями о вещах, и нельзя отрицать, что тогда наше философствование в выражении и содержании обретает нежелательное сходство с манерой работы шизофреника».

Разумеется, психологическое обращение проблемы реальности в теорию познания не должно затрагиваться даже издали, однако психологически все же можно отметить, не живет ли во всех нас предчувствие характера бегства мышления от глубже основывающейся действительности, из которой мы только потому выходим такими высокомерно уверенными, как сознательные отдельные существа перед «реальным» противостоящим нам миром, что мы и там осуществляли «изначальное вытеснение», или, если смотреть извне, были им охвачены. Нужно учитывать необычайное сверхакцентирование, сверхценностность, которые практически и фактически присущи понятию «реального» в нас: «реального» в смысле обратном просто «субъективному», которое как менее «реальное» отступило за него; мне всегда казалось, будто в этом выражается нечто вроде нечистой совести – в частности, «утаенное знание» об обстоятельстве, что мы, будучи одним и тем же с этим внешним, все же отделили его от себя и противопоставили себе; наше сверхакцентирование позволяет противопоставленному со смыслом «реального» вернуть себе часть отнятой у него действительности; мы словно можем что-то в этом исправить. Даже в так называемом наивном реалисте последнее из этого еще может говорить о том, почему растворение реальности в видимости, будь то философски в духе Беркли и др. или в представлении индийцев о простой «пелене майи», или еще как-либо, не укладывается у него в голове как «очевидная бессмыслица»; возможно, это остающееся бессознательным, понятийно ложно рационализированное, но тайно воздействующее негодование на то, что пришлось обмануться насчет целого, которое мы изображаем вместе с реальным, и которое точно так же рушится, если мы реальное, как будто самих себя, превращаем в единственно позитивное. В нашем принятии реального кроется непризнанный вид почитания даже мельчайшей вещи реальности, почитание, словно заколдованного

принца, королевский титул которого делает его равным нам по рангу – абсолютно равным по происхождению. И тайная уверенность – в этом не раскрываемом из сознания, даже практически принципиально абсурдном для сознания как разделительной черты между внутренним и внешним, сущностном равенстве субъективного и реального – не естественна ли эта уверенность для сущностей, которые не могут не иметь собственное «реальное» бытие как тело? Которые все, что влеченчески, субъективно, побуждает и пронзает их, все же получают только на кровавой дороге своей плотскости в сознание? Которые само свое мышление знают задействованным только для его различений и проекций вследствие силы влечения и недостаточности подогрева, которые мы не можем сознательно проследить далее, чем до телесной емкости их? Как бы должны были мы то, что подводится к нам восприятием инструментов наших органов чувств, – как на совокупном внешнем, так и на нашем собственном малом, – не записать, с одной стороны, на счет сверхсубъективной действительности, с другой же стороны, на счет содержащейся в ней сверхреальной действительности нас самих? Как должны были бы мы, смотря на одну четверть луны, не чувствовать ее включенной в округлость полной луны? В обоих направлениях нам как вдвойне дано, так и тотально отнято (выражаясь словами Гёте: «В субъекте есть то, что есть в объекте, и еще кое-что сверх этого; в объекте есть то, что есть в субъекте, и еще кое-что сверх этого». Естественнонаучные труды).

То, что Вы (в «По ту сторону…») пишете о сознании как «предохранении от раздражителей», которое должно оберегать нас от прорыва внешних впечатлений, помогая расслаблять и отбрасывать чересчур сильные из них, Вы уже демонстрировали нам и относительно предохранения от раздражителем, направленного вовнутрь, к которому тонически привязывается и сохраняется в – недоступным для нас – глубинах влеченческое, воспринимаемое нами через собственное тело. Следовательно, там, где о нашей субъективной, персональной интактности печалятся так же мало, как о «рассеявшихся» в процессе сознания внешних впечатлениях, – там нет ни сознательности, ни «нашего» влечения. То, что обозначается нами как «влечение», страдает особенной трудностью, несвойственной чистой формалистичности понятия сознания: влечение является тем содержательным, которое по отношению к формальной разделительной черте сознательности остается в неприятном парении, не закрепляясь прочно и единственно ни наверху, ни внизу. Поэтому Вы и называете это неодобрительно «пограничным понятием между физическим и психическим», и

фактически, по крайней мере до сегодняшнего дня, биологи и психологи только перебрасывают «влечение» друг другу, причем каждый раз в момент, когда на него смотрят и хотят зафиксировать, оно находится в воздухе, неспособное приземлиться где-либо полностью. Я помню, что однажды, увлекшись этим, написала Вам: «Это будто тема для сказки». Ведь скачок, который приходится делать «влечению» между реальным и субъективным, – как неотрывно присущему плоти для нашего мышления и одновременно как нашему внутреннему последнему, конечному пункту всего психического, – является приемом метода нашего сознания, который, пожалуй, может заставить задуматься. На нем и в нем внешнее и внутреннее неконтролируемо поворачиваются вокруг себя, как вращающаяся дверь, и если мы последуем дальше, он обернется от этого в чистую демонию, отпускающую Я, которая в извечнейшем, самом далеком от мыслей уже не знает отмененности всебытия и Я-бытия. И мы опять, внутри человеческого мира, оказываемся рядом с выпавшим из сознания психотиком, который в своих сдвигах к улучшению так характерно, на «органическом языке» – в словообразованиях, заимствованных у органов его тела, – учится договариваться с Я других людей.

Но и в области абсолютнейшей нормальности происходит так, что влеченческое вынужденно входит в сознания немного неуместно. Нам не удается мыслить «очищение от влечений», отвернувшись от источников ошибок, в которые стекают капли нашей влеченческости, свободно от аффектов, стоя перед разумом и восприятием: потому что эта противоположность аффективному, достаточно нелепо, как раз привязана к аффективному в своем совершении, и, с другой стороны, мы при задействованиях нашего влечения и тенденциях опять же не можем не представлять их себе, мысля. Эта взаимная привязанность кажущихся чуждыми друг другу противоположностей так отчетливо выдает их родство, что «амбивалентность» в первооснове вещей может выглядеть такой бесконечно глубокой лишь на краю поверхности сознания. Как бы то ни было, задействования нашего влечения – если они не хотят выпасть из мира – должны смириться с «проверкой реальности» посредством строгости порядков сознания; тем не менее, при этом наши мыслительные категории в своем поведении не лишены сходства с упомянутым шпионством наших моральных предписаний: они пускают в ход самую тяжелую артиллерию в конечном счете лишь для того, чтобы побрататься на поле принятия решений. Ведь проверка реальности здесь тоже оказывается просто вынужденным окольным путем для

достижения желаемой цели удовольствия. Вполне можно сказать: наш способ мышления – по сравнению с нашими более обусловленными влечением жизненными методами, которые более необдуманно выламывают двери и при этом чувствительнее ушибаются, – соответствует даже еще более наивной методике, которая делает вид, будто в своих более строгих порядках соответствует превосходству в охватывании, в то время как, скажем так, изначально она оставляет половину того, что нужно охватить, а другую половину провозглашает искусственным целым. В выставлении реального наружу как того, что вне нас, лишь скрыто старание снова понятийно овладеть им, одновременно вывести его из раздробленности подобно тому, как ребенок, играя в мозаику, безошибочно «выкладывает» перед собой некий ландшафт. Провоцированный в акте мышления разрыв на отдельности в своем собственном способе уже сам сшивает места разрыва; мы делаем мыслительный процесс похожим на осуществление любви: понятийно поглощая утраченные взаимосвязи – ведь и о мозге мыслителя говорят как об «эротизированном органе» не только иллюстративно. Точно так же логико-критическое исследование хотя и является противоположным полюсом творческой фантазии, все-таки содержит в себе аналогию к тенденция ее оформления, от которых самое мельчайшее отдалением словно вода в капле, закругляется в совокупный образ, в гуру; разве не является сам наш понятийный язык только словно еще большим разведением разделенного, пока он где-нибудь все же не предстанет образно «конкретным чтобы его можно было спрессовать в логичную схему Однако еще более поразительно наши способы познания уподобляются нашим способам, направленным на влечение в частности нашим способам самого непроизвольного оценивания, в третьем пункте (хотя именно там они должны оставаться наиболее принципиально разведенными). Не ничего, что выдерживало бы наше оценивание неизбежнее чем то, что называется «истиной» и ее исследованием. И это основывается не единственно на практически необходимом и важном в ней, также не только на метафизически значимом завышенном оценивании, а на непроизвольном чувстве зависимости нашего человеческого достоинства от этого; раза не приводили даже Вы сами доказательство этому, пророни при этом выражение «постыдный», в Вашем разъяснении иллюзий, которыми мы противоречим любому проникновению в разум и рассудок, – хотя, пожалуй, никогда никто не был более далек от того, чтобы устанавливать смысл ценности какой-либо «истины» иначе, чем по-деловому трезво. Как же тогда обстоит дело с этим нашим оцениванием

истины в отношении нашей «человеческой ценности»? Ничто не является нам более родным, чем как раз принципиально самое резкое разделение мышления и оценивания, познания и желаний – настолько резкое, насколько оно вообще возможно сознательно. Тем не менее, делая это предпосылкой, ради чистого результата познания, мы тем самым высказываем лишь опять же превосходящую ценность познания для нас: для нашего человеческого отношения к самому познающему. В то время как мы пытаемся удержать в стороне наши прочие влеченческие суждения об акте познания, его оценивание само по себе не является источником ошибок, которого удалось избежать, но из него как раз вытекает усердие познающего поведения как такового.

Мне кажется, что этому переплетению мышления и оценивания прямо таки предназначено весьма отрадное решение, а именно: то, что для нас, – существ, рожденных для сознания, – также наше прочее более соответствующее влечению поведение только благодаря этому приходит к полному человеческому задействованию – облачается в слова для нашего вида переживания. Поэтому очень серьезно обстоят дела, когда, – как это иногда происходит в последнее время, – установку мыслителя укоризненно очерняют как вредящую истинно живому, как губительную для него. Тот, кто, созданный для ходьбы, отказался бы от своих ног, тем самым должен был бы поступиться не только ходьбой, но и здоровым функционированием всего своего организма. Наоборот: нас все наше существо в целом побуждает только тем сильнее вышагивать в реальном противостоянии данному мышлением миру, потому что и те самые тенденции в нас, которые охотнее пролетели бы мимо этого, ни на каком другом пути не найдут дорогу к конечной цели своего собственного мира. Разве не захватывающе размышлять о том, что только в ограниченной мышлением, реально отчужденной действительности мы помогаем претвориться в действительность нашему требующему внутреннему миру? Почему, например, эротическое переполнение должно полностью вылиться только на ограниченном, недостаточном отдельном объекте, чтобы привести к зрелости свое переживание; или как взлеты творческой фантазии должны собирать всю силу из самых недр на точное служение хрупкому материалу – как и видение может без остатка соответствовать мельчайшее части этого, дабы оно жило?

Мы ведь не просто соглашатели, как в неврозе – мы не только, как в нормальности, дополняем наши односторонности и обретаем для них нечто большее, – мы сами «являем собой» «человека со своим противоречием», который только в своих

трениях плодотворно переживает себя как сознательный человек. Когда я приблизилась к Вам, только тогда с Вашим глубинным исследованием, у меня осуществилось это переживание. Потому что сначала оно осуществилось у Вас в Вашем собственном творении так мощно, что все мы смогли получить его в дар от Вас. Для Вас, в рациональности Вашей манеры мышления, через непрерывную последовательность исследовательской установки – именно благодаря ей! – как раз то, что было бессознательно скрыто прежде обнажилось до осознаний неслыханного рода. Для меня, двигавшейся туда с другой стороны, через Вас внутренним событием стала противоположная ситуация: только вслед за Вами ставшее сознательным явилось мне как смысл и ценность того, к чему бессознательно стремились.

Написанное здесь, конечно, выражает это лишь условно, причем не только потому, что очень сильно уступает Вашей выразительности, которая, кажется, повелевает словами, но и потому, что нечто очень мощное при этом заглушает мой голос, так, что слова почти становятся лишними и ничего больше не остается, – ничего-ничего-ничего, – кроме благодарности.

Геттинген, весна 1931 года, Лу
Перевод – М. Бочкарева